

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ъ

М О С К В А

4 . 9 . 2 . 7

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. АЛ. ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i> , продолжение	5
2. А. СЕРАФИМОВИЧ.—Дора, отрывок из романа „Борьба“	228
3. Э. БАГРИЦКИЙ.—Папиросный коробок, <i>стихотворение</i>	35
4. ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.—Баллада будней, <i>стихотворение</i>	37
5. МИХАИЛ ПРИШВИН.—Зеленая дверь, <i>роман</i> , окончание	38
6. ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ.—Ход коня, <i>поэма</i>	67
7. А. АРОСЕВ.—Две республики, <i>повесть</i> , окончание	75
8. Н. УШАКОВ.—Эстония, <i>стихотворение</i>	118
9. МИХ. ГОЛОДНЫЙ.—Песня борцов, <i>стихотворение</i>	119
10. АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ.—Семка, <i>рассказ</i>	120
11. АЛЕКСАНДР МАКАРОВ.—Торжество Арлекина, <i>рассказ</i>	146
12. П. РАДИМОВ.—Коромысла, <i>стихотворение</i>	158
13. ПЕТР ОРЕШИН.—Песня морского вала, <i>стихотворение</i>	159
14. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Всенародное покаяние, <i>стихотворение</i>	160
—	
15. П. Е. ЩЕГОЛЕВ.—Пушкин и мужики, окончание	162
16. БОРИС КУШНЕР.—Движение вещей	189
17. В. ВЕРЕСАЕВ.—О книжной пыли, о комплиментах Рузвельта и о двух великих русских революциях	204

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

18. А. ЗАПРОВСКАЯ.—Иоганнес Р. Бехер	218
19. Д. ФРИМЕН.—„Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти“	223
20. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ.—Графические искусства и культурная революция	227
21. ФРОЛ СКОБЕЕВ.—Литературный ларек	233
22. ПУТЕШЕСТВЕННИК.—Уездные очерки	236

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

	<i>Стр.</i>
Д. ГОРБОВ.—„Печать и Революция“, №№ 1—6 за 1927 г.	243
А. ЛЕЖНЕВ.—А. Ульяновский „Пришедшие издалека“ . . .	246
ЯК. БЕННИ.—Л. Пасынков „Голубой цветок“	246
ВИКТОР ГОЛЬЦЕВ.—Иван Вольнов „На рубеже“ . . .	247
Н. ЗАМОШКИН.—А. Чапыгин „На лебяжьем озере“ . .	247
ЛЕВ ЯКОБСОН.—Б. Эйхенбаум „Литература“	248
Содержание журнала „Новый Мир“ за 1927 год	250

Хождение по мукам

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

Хлопнули двери, затихли бешеные шаги главкома, а в комнате начальника штаба все еще молчали. У Соколовского дрожали углы глаз, Телегин упорно глядел себе под ноги.

Начштаба проговорил примиряюще басовито:

— Могу вас уверить, товарищи, если бы я подписал приказ, — несчастье могло бы принять крупные размеры.

— Какое несчастье? — кашлянув, хриповато спросил Соколовский. Начштаба странно взглянул на него:

— Я говорю о всей армии...

— Что такое?

— Я не имею права раскрывать военные тайны перед комиссаром полка. Не так ли, товарищ? За это вы первый должны меня расстрелять... Но мы зашли слишком далеко. Вопрос касается чести главкома... Хорошо... Берите все на свою ответственность... Я скажу...

Он подошел к карте, утыканной флажками. Соколовский и Телегин, придвинувшись, стали за его спиной. Видимо, близость горячего дыхания двух ртов была несколько неприятна начштабу, — лопатки его под рубашкой задвигались. Но он спокойно вытащил из кармана штанов грязную зубочистку, и изгрызенный кончик ее скользнул по карте от трехцветных флажков в южном направлении в густое расположение красных.

— Вот где белые, — сказал начштаба.

— Где, где? — Соколовский вплоть придвинулся к карте, бродя по флажкам ослепшими глазами. — Но это же Тихорецкая...

— Да, это Тихорецкая, наш главный узел. С его падением путь на Екатеринодар свободен...

— Не понимаю... Мы считали, что белые севернее, по крайней мере, верст на...

¹) См. „Новый Мир“, кн. 7, 8 9 10 и 11 с. г.

— То мы считали, товарищ комиссар, а не белые... Тихорецкая в настоящий момент находится под концентрическим ударом. У белых аэропланы и танки. Это не прежняя корниловская банда... Они действуют по внутренним линиям, наносят удары, где хотят. Инициатива в их руках... Будет чудо, если Тихорецкая продержится хотя бы сутки...

— Севернее Тихорецкой у нас железная дивизия Думенко, — сказал Телегин...

— Думенко разбит...

— А Жлоба?

— Разбит...

Соколовский дернул шеей, опять придвинулся к карте:

— Вы очень выдержанный человек, товарищ, — сказал он. — Я бы не был так спокоен на вашем месте... Вы как-будто уже примирились с падением Тихорецкой... Тот разбит и тот разбит. — Он повернулся к начштабу. — А наша армия?

— А мы ждем распоряжения главковерха. У товарища Калнина, видимо, свои расчеты... Штаб армии ведь не может, стуча кулаками, требовать у ставки наступления, — как вы думаете? Война не митинг.

Начштаба тонко улыбнулся. Соколовский, не дыша, глядел в его толстое, спокойное лицо. Одну минуту Телегину стало жутко. Но начштаба выдержал взгляд.

— Вот какие дела, товарищи, — сказал он, возвращаясь к столу. — Вот почему я не имею права снять ни одной части с фронта, хотя бы это казалось совершенно разумным и необходимым... Наше положение весьма не легкое. С падением Тихорецкой мы оказываемся в мешке: море — на западе, на севере — немцы, на востоке — противник... Итак, возвращайтесь немедленно в свою часть. Все, что я вам сказал, пока не подлежит оглашению. Наша задача сохранить полное спокойствие в армии. Передайте, чтобы были готовы каждую минуту к выступлению... Что касается полка «Пролетарской свободы», — за участь его можете не тревожиться, я получил успокоительные сведения...

Брови начштаба сдвинулись над крючковатым носом. Кивком головы он отпустил посетителей. Соколовский и Телегин вышли из кабинета. В соседней комнате дежурный чистил ногти, стоя у окна. Он вежливо поклонился уходящим.

— Сволочь, — прошептал Соколовский.

Когда вышли на улицу, он схватил Телегина за рукав:

— Ну? Что ты скажешь?

— Формально он прав. А по существу саботаж, конечно.

— Саботаж... Нет... Тут игра страшнее... Я вернусь, застрелю его...

— Брось, Соколовский, не глупи...

— Я уверен... Пусть и меня расстреляют...

— Все равно — нельзя... А что в армии тогда начнется? — паника...

— Измена, я тебе говорю — здесь измена, — бормотал Соколовский, — Гымзе каждый день доносят, — в штабе армии пьянство, девок, Сорокин пьяный, комиссаров разогнал, начштаба ему и буфет,

и девочек поставил, веревки из него вьет. А поди, подступись. В армии Сорокин — кумир, чорт его знает, любят за храбрость, — свой человек. А начштаба, ты знаешь, кто такой? Беляков, царский полковник... Понял — какой узел?

Начштаба тронул колокольчик, в дверях отчетливо появился дежурный.

— Узнайте, в каком состоянии главком, — сказал Беляков, сурово глядя в бумаги.

— Товарищ Сорокин в столовой. Состояние в полградуса.

Дежурный ждал, когда у начштаба появится усмешечка в углу рта, тогда улыбнулся и он:

— С ним — Зинка.

— Хорошо. Ступайте.

Беляков прошел в отделение службы связи. Просмотрел телефонограммы. Подписал четко-мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. Крепкую красную шею начштаба перехватила складка. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.

Посреди комнаты у стола, покрытого развернутыми газетами и уставленного грязной посудой и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо его было все так же мрачно. Прядь темных волос падала на мокрый лоб. Расширенными зрачками он уставился на Белякова. Сбоку него на табуретке сидела Зинка, положив ногу на ногу, так что видны были подвязки и кружева, и перебирала струны гитары. Это была с виду совсем еще молоденькая девушка с очень яркой окраской синих глаз и влажных губ, с тоненьким и решительным носиком, со спутанными высоко поднятыми русыми волосами, и только две морщинки у рта, правда, едва приметных, придавали ее нежному лицу выражение зверька, умеющего кусаться. По документам она была родом откуда-то из Омска, дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил, не верили и в то, что ей 18 лет, ни в ее фамилию (Валенкова), ни в имя Зинаида. Но она отлично писала на пишмашине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательно, хотя и с фальшивинкой. Сорокин обещался собственноручно застрелить ее из парабеллума при первой попытке разводиться в штабе белогвардейскую гниль и плесень. На том и успокоились.

— Хорош, нечего сказать, — проговорил Беляков, качая головой и на всякий случай держась около двери. — В какое ты меня ставишь положение? Являются два явных цекиста, требуют, грозят митингами, и ты немедленно перекидываешься на их сторону... Чего проще, иди к аппарату, телеграфируй в Екатеринодар, немедленно тебе пришлют еврейчика, он тебе сформирует штаб, он с тобой в одной постели будет спать, ходить с тобой в сортир, мысли твои возьмет под учет... Ужас какой!.. У главкома Сорокина уклон к диктатуре. Ну и иди под кон-

троль... А меня уволь... Расстрелять меня ты можешь, но в присутствии подчиненных грозить себе револьвером не позволю... Ты срываешь всю дисциплину... И так чорт знает, какая у нас каша...

Продолжая глядеть на начштаба, Сорокин протянул руку, большую и сильную и, промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его рот, усы вз'ерошились. Он взял бутылку и налил две стопки:

— Садись, пей.

Беляков покосился на кружево Зинкиных панталон, подошел к столу. Сорокин сказал:

— Не будь ты умен — быть бы тебе в расходе... Дисциплина!.. Моя дисциплина — бой. Ну-ка, поди кто из вас, подними массы... А я поведу и дай срок, — никто не может, один я... И я раздавлю белогвардейскую сволочь... Мир содрогнется...

Ноздри его захватили воздух, багровые жилы запульсировали на висках:

— Без комитетчиков и Кубань вычищу, и Дон, и Терек... Мастера они петь в Екатеринодаре, цекисты, вояки... Диктатор!.. Сволочи, трусы... Ну, так что же, — я на коне, в бою, я — диктатор... Я веду армию в кровавый бой...

Он протянул руку к стакану со спиртом, но начштаба быстро опрокинул его стакан:

— Довольно пить...

— Ага... Приказываешь?

— Прошу, как друга...

Сорокин откинулся на стуле, несколько раз коротко вздохнул, начал оглядываться, покуда зрачки его не устались на Зинку. Она провела ноготком по струнам:

— Дышала ночь, — запела она, лениво подняв брови.

Сорокин слушал, и жилы сильнее пульсировали на висках. Поднялся, зайдя сзади Зинки, запрокинул ее голову и жадно стал целовать в рот. Она перебирала струны, затем гитара соскользнула с ее колен.

— Вот это другое дело, — добродушно сказал Беляков, — эх, Сорокин, достану я тебе одну книжку. Жалко, ты читать ленив. Биографии великих полководцев. Замечательная книжка. Слава, женщины и победы...

Зинка, наконец, освободилась и вся красная низко нагнулась, беря гитару. Яркие глаза ее блеснули из-под спутанных волос. Кончик языка облизнула припухшие губы. Повела плечами:

— Эх, яблычко, сбоку зелено...

— А знаете, что, друзья, — начштаба хлопнул ладонями, шибко потер их, — у меня припасена заветная бутылочка, не раздавить ли?

Он оборвал, подавившись словом. Рука с растопыренными пальцами повисла в воздухе. За окном ударили выстрелы, загудели голоса.

Зинка с гитарой, точно на нее дунули, вылетела из комнаты. Сорокин нахмурился, пошел к окну...

— Не ходи, я раньше узнаю, в чем дело, — крикнул начштаба.

Скандалы и стрельба в расположении ставки главкома были обычным явлением. В состав сорокинской армии входили две группы: кубанская — казачья, ядро которой было сформировано самим Сорокиным еще в прошлом году, и другая — украинская, собранная из остатков отступившей под давлением немцев, украинской Красной армии. Между кубанцами и украинцами шла затяжная вражда. Украинцы плохо держали фронт на чужой им земле, и мало стеснялись насчет фуража и продовольствия, когда случалось проходить через станицы. Кубанцы, природные воины, смеялись над неповоротливым украинским мужичьем.

Драки и скандалы происходили ежедневно. Но то, что началось сегодня, — оказалось более серьезным. С криками мчались конные казаки. От заборов и садов перебегали испуганные кучки армейцев. В направлении вокзала слышалась отчаянная стрельба. На площади перед окнами штаба валялось несколько убитых, и дико кричал, ползая по пыли и крутясь, раненый казак.

В штабе начался переполох. Еще с утра сегодня телеграфная линия Тихорецкая — Сосыка — Старо-Минская не отвечала, а сейчас оттуда посыпался ворох сумасшедших донесений. Можно было разобрать только, что белые уже заняли Тихорецкую и, быстро двигаясь в направлении Сосыки — Уманской, гонят перед собой спасающиеся в панике эшелоны красных. Передние из них, докатившись до ставки, начали грабеж на станции и в станице. Кубанцы открыли стрельбу. Завязался бой. Полетели зловещие слухи о близости белых, разжигая злобу.

Сорокин вылетел за ворота на рыжей, рослой, злой кобыле. За ним — полсотни конвоя в черкесках, с вьющимися за спиной башлыками, с кривыми саблями. Сорокин сидел, как влитой, в седле. Шапки на нем не было, чтобы его сразу узнали в лицо. Красивая голова откинута, ветер рвал волосы, рукава и полы черкески. Он был все еще пьян, решителен, бледен. Глаза глядели пронзительно, взор их был страшен. Пыль тучей поднималась за скачущими конями.

Близ вокзала из-за живой изгороди раздались выстрелы. Несколько конвойцев громко вскрикнуло, один покатился с коня, но Сорокин даже не обернулся. Он глядел туда, где между товарными составами кричала, кишела и перебегала серая масса бойцов.

Его узнали издали. Многие полезли на крыши вагонов. В толпе махали винтовками, орали. Сорокин, не уменьшая хода, перемахнул через забор вокзального садика и вылетел на пути, в самую гущу бойцов. Коня его схватили под уздцы. Он поднял над головой руки и крикнул:

— Товарищи, соратники, бойцы! Что случилось? Почему паника? Кто здесь шкурники и паникеры? Выходи вперед...

— Нас предали! — закричал голос.

— Командиры нас продали! Сняли фронт! — закричали голоса... И вся многотысячная толпа на путях, на поле, в вагонах и на крышах заревела:

— Нас продали... Армия вся разбита... Долой командующего! Бей командующего!

Раздался свист, вой, точно налетел дьявольский ветер. Завизжали, поднимались на дыбы лошади конвойных. К Сорокину уже протискивались искаженные лица, черные руки. И он закричал так, что сильная шея его раздулась:

— Молчите! Вы не революционная армия... Стадо бандитов и сволочей... Я требую выдать мне шкурников и паникеров... Выдать мне белогвардейских шептунов...

Он вдруг толкнул кобылу, и она, махнув передом, врезалась глубже в толпу. Сорокин, перегнувшись с седла, указал пальцем:

— Вот он! Разведчик... Я его знаю...

Невольно толпа повернулась к тому, на кого он указал. Это был высокий, с длинными усами и большим носом, худой человек в солдатской шинели. Он побледнел, растопырил локти, пятясь. Знал ли его, действительно, Сорокин, или жертвовал им, как первым попавшимся, спасая положение,—неизвестно... Толпе нужна была кровь. Сорокин выхватил кривую шашку и, наотмашь свистнув ею, ударил усатого человека по шее. Кровь сильной струей брызнула в морду лошади.

— Так революционная армия расправляется с врагами народа!

Сорокин опять толкнул кобылу и, помахая окровавленной шашкой, страшный и бледный, вертелся в толпе, ругаясь, грозя, успокаивая...

— Никакого разгрома нет... Разведчики и белые агенты нарочно раздувают панику... Это они толкают вас на грабеж, срывают дисциплину... Кто сказал, что нас разбили? Кто видел, как нас били? Выходи! Ты, что ли, сукин сын, видел? Товарищи, я водил вас в бой, вы меня знаете... Требую немедленно прекратить грабеж! Все по эшелонам! Сегодня я поведу вас в наступление... А трусов и шкурников ждет расправа народного гнева...

Толпа слушала. Дивились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего командарма. Еще рычали голоса. Но уже сердца разгорались. То там, то там слышалось:—«А что ж, он правду говорит... И пусть ведет... И пойдем»...—Появились поспрятавшиеся было ротные командиры, и по немногу части стали отходить к своим эшелонам. Сорокин стоял теперь на коне у колокола, на перроне. Лицо его осунулось. Исподлобья он следил за посадкой. К семафору, навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулеметные заставы. По всей линии полетели телеграммы самого решительного содержания, — остановить панику.

Все же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней в районе станции Тимашевской удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление. Красные двинулись двумя колоннами на Выселки и Кореневку. Отрезали и разбили группу белых, идущих на Екатеринодар, и приблизились на пятьдесят верст к Тихорецкой. Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели рослую фигуру Сорокина на рыжем коне. Он вел войска, и они, забыв о недавней панике, дрались, как черти, разметая деникинские банды. Казалось, он одной своей страстной волей повернул судьбу войны, спасая Черноморье. ЦИК'у Северо-Кавказской Республики оставалось только официально признать за ним главенство в военных операциях.

Но успешное наступление продолжалось недолго. Красные войска, в особенности украинские части, многочисленные по составу, легли тяжелым бременем на население станиц. В то время много не думали,—решали быстро. И кубанские станичники от советов качнулись к Деникину, хорошо платившему за фураж и продовольствие и строго каравшему за самочинные реквизиции. Взбунтовалось несколько прифронтовых станиц. И белые в то же время сильным ударом прорвали фронт. Армия Сорокина снова в беспорядке покатила на юг за Кубань и Екатеринодар.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В те же дни начала июня, когда деникинская армия выступила во «второй кубанский поход»,—над Российской Советской Республикой грянула новая гроза.

Чехо-словацкие войска, численностью около сорока тысяч бойцов, взбунтовались почти одновременно по всей линии движения их эшелонов,—от Пензы до Ново-Николаевска.

Непосредственной причиной бунта был приказ Троцкого чешскому командованию сдать оружие. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще в шестнадцатом году, дрались с немцами на Стоходе и под Тарнополем. Немецкое и австрийское правительства об'явили их вне закона. Их ставка была одна,—на победу союзников и на революцию в Австрии. Поэтому вначале они тяготели к революционным кругам, признавшим верность Антанте.

После Брестского мира, испуганные появлением в Москве германского посла, чехо-словаки стали требовать отправки их во Францию на фронт. Советское правительство ни в каком случае не могло согласиться вливать свежие силы в империалистическую войну. Когда появился приказ о разоружении,—чехи поняли это, как прямую выдachu их австро-германскому правительству. Нашлись политические круги, укреплявшие в них это убеждение. Противосоветские организации, от правых эсеров до монархистов, облизывались, глядя на отлично экипированные по заграничному образцу, хорошо вооруженные

чешские эшелоны, медленно (по одному эшелону в сутки) продвигавшиеся на восток. Мечтали—призвать чехов, образовать фронт по Заволжью, опиравшийся левым флангом на донских казаков атамана Краснова, правым на оренбургское и уральское казачество. У заволжских политиков кружилась голова. Но чехи пока еще осторожно держались в стороне от мало им понятной российской политики.

Двадцатого мая в Пензу, где находилось около четырех тысяч чехов, вошел интернациональный полк мадьяр. В Пензу в то время была эвакуирована из Петрограда часть экспедиции заготовления государственных бумаг с печатным станком. Положение было очень щепетильное. Мадьяры решительно потребовали от чехов приведения московского приказа в исполнение.

Посылать именно мадьяр было большой ошибкой. Австрийская имперская власть веками раздувала вражду между Венгрией и Чехией. Враги сошлись лицом к лицу на пензенском вокзале. Чехи кинулись к пулеметам, залегли под колесами вагонов. Мадьяры отступили и открыли артиллерийский огонь по поездам. Заметались по городу комиссары. Началась паника. Возникли, как из-под земли, добровольческие офицерские части. Чехи пошли в контр-наступление и заняли Пензу. Через три дня, захватив печатный станок, они отступили к Волге, на Сызрань.

Так началось восстание. Эсеровские, думские и офицерские организации, а впоследствии Англия и Франция,—учли новую силу. Образовался фронт, быстро, как пожар, охвативший колоссальные пространства Великороссии. По деревням полетели слухи, что чехи-то, мол, чехи, а, может быть, это те же немцы явились на расправу, и пришли они с господами, и теперь революции конец,—будет всеобщая порка. Мужички, пока что—притаились. Красноармейские части, разбросанные по городам, плохо связанные и недисциплинированные, попали под двойной удар: извне—свирепых чехов, и изнутри—мстящих обывателей. Широко полилась русская кровушка.

Доктор, Дмитрий Степанович Будавин, лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Улица была пуста. Белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов, пыльные зеркальные окна пустых магазинов, ненужные вывески и асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью.

Направо, куда глядел доктор, на площади торчал деревянный с выцветшими лохмотьями обелиск, прикрывший памятник Александру Второму,—сбоку него стояла пушка, и кучка обывателей, ленивых, как червяки, бросали булыжники, что-то копали, явно бессмысленное. Тут были и протоиерей Словохотов, и краса и гордость самарской интеллигенции нотариус Мишин, и владелец гастрономического магазина Романов, и бывший член земской управы Страмбом, и когда-то большой барин, седой красавец помещик Куроедов. Все —

клиенты Дмитрия Степановича, партнеры в винт. Когда-то по этой площади на лихачах летали... Настроеньице у них, должно быть,—хи-хи... А мордатый красноармеец, поставив винтовку между ног, сидит, курит на тумбе, поплеывает жидкой слюнкой...

Пушки за рекой Самаркой ухали. Тихо позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор ехидно кривил рот, стучал ноздрей в седые усы. Пульс у него был—сто пять. Значит, жила еще в нем старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно. Как раз напротив, на той стороне улицы, на досках, прикрывавших разбитое зеркальное окно ювелирного магазина Ледера, бельмом белел приказ Ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элементам города Самары.

На пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека в шляпе «здравствуйте-прощайте» из кокосовой мочалки, и в летнем пиджачке довоенной постройки. Человек крался вдоль стены и, поминутно озираясь, подпрыгивал, как-будто над ухом его выстреливали. Мочального цвета волосы его висели до плеч, висела неживая борода, лицо, несмотря на жару, было бледно и вытянуто.

Это был Говядин, земский статистик, некогда безуспешно попытавшийся пробудить в Даше — «красивого зверя». Он шел к Дмитрию Степановичу, и дело, видимо, было настолько серьезно, что последним усилием он пересиливал страх пустой улицы с заколоченными окнами и уханье орудийных взрывов.

Увидев доктора в окошке, Говядин сделал отчаянный жест, обозначающий: «Ради бога, не смотрите, за мной следят». Оглядываясь, прижался к стене под объявлением Ревкома, затем кинулся через улицу и скрылся под воротами. Через минуту он постучал в докторскую квартиру с черного хода.

— Ради бога, закройте окно, за нами следят,—громко прошептал Говядин, входя в столовую.—Спустите шторы... Нет, лучше не спускайте... Дмитрий Степанович, я послан к вам...

— Чем могу служить?—насмешливо спросил доктор, присаживаясь за стол с прожженной и грязной клеенкой.—Садитесь, рассказывайте...

Говядин схватил стул, кинулся на него, поджав под себя от дурной привычки ногу, и, брызгаясь, громко зашептал в самое ухо доктору:

— Дмитрий Степанович... Только что на конспиративном заседании комитета Учредительного собрания проголосовано предложить вам портфель товарища министра здравоохранения.

— Министра?—переспросил доктор, опуская углы рта, так что весь подбородок собрался решительными складками.—Так, так. А какой республики?

— Не республики, а правительства... Мы берем в свои руки инициативу борьбы... Мы создаем фронт... Мы получаем машину для печатания денег... С чехо-словацким корпусом во главе двигаемся на

Москву... Созываем Учредительное собрание... И это—мы, понимаем—мы... Сегодня был страшный бой... Эсеры и меньшевики требовали все портфели. Но мы, земцы, отстояли вас, провели ваш портфель... Я горжусь. Вы согласны?

В это, как раз, время так страшно ухнуло за речкой Самаркой,—на столе зазвенели стаканы,—что Говядин вскочил, схватившись за сердце:

— Ну и чехи...

— Бум-бух!—громыхнуло опять, и, казалось, совсем рядом застукал пулемет. Говядин, совсем белый, снова сел, подвернув от неврастения ногу.

— А это красная сволочь... У них пулеметы на элеваторе... Но сомневаться нельзя,—чехи берут город... Они возьмут город...

— Хорошо, я согласен,—пробасил Дмитрий Степанович.—Хотите чаю, только холодный?..

Отказавшись от чаю, в забытьи Говядин бормотал:

— Во главе правительства стоят патриоты, честнейшие люди, благороднейшие личности... Вольский, вы его знаете,—присяжный поверенный из Твери, прекраснейший человек... Штабс-капитан Фортунатов... Климушкин—этот наш, самарский, тоже благороднейший человек... Все эсеры, непримиримейшие борцы... Ожидают даже самого Чернова,—но это величайшая тайна... Он борется с большевиками на севере... Офицерские круги в теснейшем блоке с нами... От военных выдвигается полковник Галкин... Говорят, что это новый Дантон... Словом, все готово. Ждем только штурма... По всем данным чехи назначили штурм сегодня в ночь... Город поднимается, как один человек... Я—от милиции... Это ужасно опасно и хлопотливо... Но надо же воевать, надо жертвовать собой...

За окном раздались громкие и нестройные звуки военных труб,—«Интернационал». Говядин согнулся, лег головой на живот Дмитрию Степановичу,—соломенные волосы его казались неживыми, как у куклы.

Солнце закатилось за грозовую тучу. Ночь не принесла прохлады. Звезды затянуло мглой. Орудийные удары за рекой стали чаще и громче. От рваных разрывов дрожали дома. Шестидюймовая батарея большевиков, стоящая за элеватором, отвечала в тьму. Стучали пулеметы на крышах. За Самаркой, в слободе, куда вел деревянный мост, слабо хлопали выстрелы красноармейских сторожевых охранений.

Туча напозвала, ворча громовыми раскатами. Наступала непроглядная темень. Ни одного огонька не виднелось ни в городе, ни на реке. Только мигали зарницами орудия.

В городе никто не спал. Где-то в таинственном подполье непрерывно заседал комитет Учредительного собрания. Добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам, одетые и воору-

женные. Обыватели стояли у окон, вглядываясь в ночную жуть. По улицам перекликались патрули. В промежутки тишины слышались уныло-дикие свисты паровозов, угонявших составы на восток.

Глядевшие в окна видели извилистую молнию, перебежавшую от края неба до края. Мрачно осветились мутные воды Волги. Проступили очертания барж и пароходов у пристаней, лесистые края За-волжья. Высоко над рекой, над железом крыш появились—громеда элеватора, трубы мельниц, острый шпиль лютеранской кирки, прозрачные арки костела, белая и скучная колокольня женского монастыря, по преданию построенная на деньги бродячей монашки Су-санны.

Расколось небо. Налетел ветер, поднялись клубы пыли, пороша в глаза красноармейцам. Страшно завывало в печных трубах. Чехи шли на штурм.

Чехи наступали редкими цепями со стороны Кряжа на железнодорожный мост и мимо салотопенных заводов на слободу. Пересеченная местность, дамба, заросли тальника задерживали продвижение. При всем том они, видимо, не стремились терпеть больших потерь людьми.

Всю ночь слышался бой за Самаркой. Ключем к городу были оба моста—деревянный и железнодорожный. Артиллерия большевиков, на площади за элеватором, обстреливала подступы. Ее тяжкие удары и вспышки поддерживали мужество в красных частях, не слишком уверенных в опытности комсостава.

В конце ночи чехи пошли на хитрость. Близ элеватора в бараках жили остатки польских беженцев с женами и детьми. Чехам это было известно. Когда их снаряды стали рваться над элеватором, сшибая пулеметчиков,—поляки высыпали из барачных помещений и заперлись в поисках убежища. В темноте кричали дети, бегали женщины, моля Иисуса и Марии, попадали под скачущие зарядные ящики.

Артиллеристы гнали их от пушек матюком и банниками. Когда шестидюймовки, приседая, стреляли короткими рылами в тучу,—оглушенные и ослепленные беженцы рассеивались. Но вот, от амбаров побежала новая толпа женщин. Они кричали:

— Не стреляйте, проше пане, не стреляйте, умоляем, не губите несчастных!

Со всех сторон они окружали орудия. Артиллеристы размахивали банниками:

— Уходите, бабы проклятые, не до вас тут, сволочи!..

Но странные польские женщины уже хватались за банники, за колеса пушек, плотно брали под руки, тяжело висли на одуревших от дыма и грохота артиллеристах, вцеплялись им в бороды, валили на мостовую... Под кофтами у баб были мундиры, под юбками—галифе...

— Ребята, это чехи, мать их...—закричал кто-то, и голову ему

разнес револьверный выстрел... Одни боролись, другие кинулись бежать... А чехи уже снимали замки с орудий и отступали, отстреливаясь. И, затем, как сквозь землю, ушли в щелях между амбарами.

Батарея была выведена из строя. Пулеметы сбиты. Чехи продолжали наступать, охватывая засамарскую слободу до самой Волги. Так продолжалось до рассвета.

На утро ушли тучи. Сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича. Доктор сидел у стола, тщательно одетый. Глаза его провалились,—он не ложился спать. Полоскательница, поднос и блюдечки были наполнены окурками. Иногда он вынимал сломанный гребешок и причесывал на лоб седые кудри. Каждую минуту он мог ожидать, что его позовут к исполнению общественных обязанностей. Оказалось, что он был сатанински честолюбив.

Мимо его окон по Дворянской улице тянулись раненые. Они шли, как по вымершему городу. Иные садились на тротуар у стен, кос-как перевязанные окровавленными тряпками. Глядели на пустые окна,—но не у кого было попросить воды и хлеба. Кол в пузо,—только и могли ждать проклятые большевики.

Солнце разжигало улицу, не освеженную ночной грозой. За рекой бухало, ахало, стучало. Пролетел автомобиль, наполнив Дворянскую облаками известковой пыли,—мелькнуло перекошенное лицо военного комиссара с черным ртом. Автомобиль промчался вниз через деревянный мост и, как рассказывали потом, был разорван вместе с седоками артиллерийским снарядом. Время останавливалось,—бой казался нескончаемым. Город не дышал. Женщины общества, уже одетые в белые платья, лежали, закрыв головы подушками. Комитет Учредительного собрания кушал утренний чай, сервированный владелицей мукомольной мельницы. В подпольи лица министров казались трупными. А за рекой бухало, стучало, ахало...

В полдень чехи бросились на предмостные укрепления. Защитники были переколоты. Двое—красноармеец и командир—побежали к среднему пролету, чтобы поджечь подрывные шашки. И оба упали на щелястые доски железнодорожного моста, пронзенные пулями. Чехи перешли на городскую сторону, к вокзалу, и открыли огонь в тыл по слободе.

Дмитрий Степанович подошел к окну и, засопев, раскрыл его, не в силах дольше сидеть в сизом дыму табака. На улице уже не было ни одного раненого. Многие из окон приоткрывались,—там косил глаз из-за шторы, там металось взволнованное лицо. Из под'ездов выглядывали головы, прятались. Как-будто было похоже, что нет больше большевиков... Но частая стрельба за речкой... Ах, как было томительно!..

Вдруг—чудо—из-за угла появился, постоял с секунду и пошел посреди улицы длинноногий офицер в белом, как снег, кителе с талией под лопатками. По голенищу его была шашка. На плечах горели полднемным солнцем, неистовым счастьем золотые корнетские погоны...

Что-то забытое шевельнулось в сердце Дмитрия Степановича, как-будто он что-то вспомнил, на что-то вознегодовал,— с непонятной живостью он высунулся в окно и крикнул офицеру:

— Да здравствует Учредительное собрание!

Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно:

— Там увидим...

А изо всех окон высывались, звали, спрашивали:

— Господин офицер... Ну, что? Мы взяты? Большевики ушли?

Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви. И впрямь,— где-то малиново звонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрестке. Дмитрия Степановича схватила за рукав пациентка, дама с тройным подбородком, от искусственных цветов на ее громоздкой шляпке пахло нафталином:

— Доктор, глядите же—чехи.

На скрещении улиц, окруженные женщинами, стояли с винтовками на перевес два чеха, один сизо-бритый, другой с черными усами. Напряженно улыбаясь, они быстро оглядывали крыши, окна, лица.

Их шегольские фуражки, френчи с кожаными пуговицами и нашитым на левом рукаве отличительным щитком, крепкие сумки и патронташи, их решительные нерусские лица,— все вызывало восторг, почтительное удивление. Эти двое будто свалились на Дворянскую улицу из другого мира.

— Ура!—закричали в толпе несколько чиновников.— Да здравствуют чехи! Качать их! Берись!

Но чехи, ошестившись, отскочили от протянутых рук. Бой еще не был кончен. Всего в какой-нибудь версте за рекой красные части погибали под концентрическим огнем. Дмитрий Степанович, протиснувшись и сопя, взглянул на братьев-славян:— Действительно, решительные ребята!— и поспешил на конспиративную квартиру, где его ожидали высокие обязанности.

В подполье у мукомольши было пусто,— только табачный перегар, пустые стаканы, и в конце стола спал блондин, уткнувшись в изрисованные большевистскими рожами бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечо. Блондин с сильным вздохом поднял бородатое лицо с блуждающими спросонья светло-голубыми глазами:

— В чем дело?

— Где правительство? — строго спросил Дмитрий Степанович. — С вами говорит товарищ министра здравоохранения.

— А, доктор Булавин, — сказал блондин. — Фу, чорт, а я заснул... Ну, как в городе?

— Не все еще ликвидировано. Но это конец. На Дворянской — чешские патрули.

Блондин раскрыл зубастый рот и захохотал:

— Здорово! Жалко, я не могу отлучиться. Ах, чорт, ловко! Быстры они на руку, братушки... Значит, правительство соберется здесь, ровно в три. Если всё будет благополучно, — к вечеру переберемся в лучшее помещение...

— Простите...— У Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка.— Я говорю с членом ЦК партии?!.. Вы не Авксентьев?

Блондин ответил жестом, как бы говорящим: «Что ж тут поде-лаешь»... Зазвонил телефон. Он схватил со стола трубку.

— Идите, доктор, ваше место сейчас на улице... Помните, мы не должны допустить до эксцессов... Вы — представитель буржуазной интеллигенции, — умерьте их пыл... А то, знаете, — он подмигнул, — будет неудобно в дальнейшем...

Доктор вышел. Весь город теперь вывалил на улицы. Здоровались, как на пасху. Поздравляли. Сообщали новости...

— Большевики тысячами кидаются в Самарку... Дуют вплавь на эту сторону...

— Гольшом, сам видел, как лягушки...

— Ну и бьют же их...

— А потонуло сколько... Гибель...

— Совершенно верно, — ниже города вся Волга в трупях...

— И слава создателю, я скажу... За грех это не считаю...

— Верно, собакам собачья смерть...

— Господа, слышали? — пономаря с колокольни скинули...

— Кто? Большевики?

— Чтобы не звонил... Называется — хлопнули дверью... Я еще понимаю — кого-нибудь, но пономаря за что? Факт...

— Куда вы, куда, папаша?

— Вниз. Хочу амбар посмотреть. Цело ли...

— С ума сошли. На пристанях еще большевики. Убьют...

— Господа, слышали, сербы, военнопленные, восстали в казармах, раздобыли оружие, соединились с чехами...

— Ай да сербы! Вот где соединение славян... Уррра!

— Дмитрий Степанович, дождались денечка!.. Вы куда такой озабоченный?

— Да вот — избрали товарищем министра...

— Поздравляю, ваше превосходительство...

— Ну, пока еще не с чем... Пока Москвы не возьмем...

— Э, доктор, нам бы подышать свежим воздухом, и на том спасибо...

В толпе воинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого... Решительным шагом прошел отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины. Толпа сворачивала с Садовой на Дворянскую мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами, особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу...

— Что такое? Что случилось?

— Господин офицер, в этом дворе большевики, двое, за дрo-вами...

— Ага... Господа, проходите, проходите...

— Куда это офицеры побежали?

— Господа, господа, никакой паники...

— Чекистов нашли!

— Дмитрий Степанович, отойдем, все-таки, а то, как бы...

Раздались выстрелы. Толпа шарахнулась. Побежали, роняя шапки. Дмитрий Степанович, запыхавшись, снова очутился на Дворянской. Он чувствовал ответственность за все происходящее. Дойдя до площади, он прищурился на обелиск, прикрывавший памятник Александру Второму. Протянув руку, сказал сердито и громко:

— Большевики готовы уничтожить все русское. Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Снимите же с него эти глупые доски и это гнусное тряпье. Мы должны дать достойный отпор коммунистам, покушающимся на нашу национальность...

Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойкие парни в русских рубашках и кортузиках — по виду приказчики — закричали:

— Ломай! Долой жидовское засилье...

Раздался треск срываемых с памятника досок. Дмитрий Степанович пошел дальше. Толпа редела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору, со стороны Самарки, бежал почти голый человек в одних мокрых подштаниках. Темные волосы падали ему на глаза. Широкая грудь была татуирована. Несколько женщин, завизжав, бросились от него к воротам. Он вдруг вильнул и кинулся к спуску, вниз к Волге. За ним бежали, растянувшись, еще трое, потом еще и еще, — мокрые, полуголые, запыхавшиеся... На улице закричали:

— Большевики! Бей их!

Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, к пристаням. Дмитрий Степанович заволновался, тоже побежал, схватил какого-то хилого человека без ресниц, с извилистым носом:

— Я министр нового правительства... Бегите... На углу Заводской — чешский патруль... Скажите им, — немедленно... сюда нужен пулемет...

— Не понимай по-русски, — с неудовольствием ворочая языком, ответил хилый человек... Доктор оттолкнул его... Нужно было спешить, действовать... Он сам пошел разыскивать чехов с пулеметом... И вот, у чугунного под'езда, где наполовину сшибленная, висела красная звезда, увидел еще одного большевика, — дочерна загорелого человека с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нем была разорвана, из пятнышка на плече ползла кровь. Показывая мелкие зубы, он по-собачьи вертел головой, огрызался, — видно, страшно было умирать...

Толпа напирала на него. Особенно женщины визжали неистовые слова. Многие размахивали зонтиками, палками, стиснутыми кулаками... Тут же на ступенях крыльца отставной генерал Чижиков силился перекричать, махая на большевика лиловыми руками. Огромная фуражка ползала по его плечи, под дряблой шеей мотался орден:

— Решительнее, господа... Это комиссар... Без пощады... У меня у самого сын большевик... Такое горе... Прошу, господа, найдите, приведите ко мне моего сына... Здесь же при всех убью. Убью моего сына... А с этим не должно быть никакой пощады...

«В данном случае вмешательство бесполезно», — взволнованно подумал Дмитрий Степанович, чувствуя, что нечем дышать, так весь воздух, неподвижный и горячий, был насыщен запахом бабьего тела... Отойдя, он оглянулся... Крики затихли... Там, где только что стоял раненый комиссар, взмахивали трости и зонтики... Стало совсем тихо, слышались только удары, Чижиков глядел с крыльца вниз, слабо, как дирижер, помахивая рукой над сползшей на нос фуражкой.

Дмитрия Степановича догнал нотариус Мишин, он был в грязном балахоне, застегнутом до шеи, лицо опухшее, в пенсне не хватало стеклышка:

— Убили... Заколотили зонтами... Ужасно — эти самосуды... Ах, доктор, а говорят, что делается сейчас на берегу Самарки, — ужасно...

— В таком случае, идем туда... Вы знаете — я в правительстве...

— Знаю, радуюсь...

Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в шесть человек и потребовал сопровождать себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрестках стояли чешские патрули. Нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и город, и вообще Россия, которая опротивела чехам за годы плена хуже горькой редьки. Но все же они были очень галантны:

— Мадам, мы дюже гарно любим вашу родину, но вам нужна хорошая республика...

— Ах, господа чехи, если бы вы знали, как нам надоела революция!

— Ах, господа чехи, вы должны нам помочь.

— Ведь Россия большая-большая, богатая-богатая, — и вам будет хорошо и нам...

Когда на Дворянской, сидя в обыкновенной извозчицей пролетке, появился сам командующий чешским отрядом, капитан Чечек, пражский красавец с тоненькими усиками, — женщины, напугав насмерть извозчика, остановили лошадь и забросали спасителя цветами... Он роскошно улыбался, прикладывая руку в перчатке к козырьку. Тысячи народа кричали «ура»...

А на грязном берегу Самарки чехи и добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из окруженной слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Красные, успевшие еще перебежать через деревянный мост и переплывшие наискосок Самарку, садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов. Многие сотни мертвецов уже уплыли в Волгу.

На перевернутой гнилой лодке сидел Говядин, рукав его был перевязан трехцветной лентой. Мочальные волосы мокры от пота. Глаза, совсем белые, невидящие—точками зрачков—глядели на солнечную реку. Дмитрий Степанович подошел к нему, окликнул строго:

— Господин помощник начальника милиции, мне было сообщено, что здесь происходят эксцессы... Желание правительства, чтобы...

Доктор не договорил, увидев в руках Говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошипел сухим горлом, беззвучно:

— Вон, еще один плывет...

Он вяло слез с лодки и подошел к самой воде, глядя на стриженую голову, медленно плывущую наискосок течения. Человек пять парней с кольями подошло к Говядину. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторопного квасника в опрятном фартуке, в суконном картузе, со штопором за поясом, непонятно, по какой бойкости уже успевшего выехать с тележкой на берег: — «А вот кислые щи, баварский квас на чистом сахаре». — Доктор обратился к офицерам с речью о прекращении излишней жестокости. Он указал на Говядина и на плывущую голову. Давешний длинноногий ротмистр поднял винтовку и выстрелил. Голова ушла под воду.

Тогда Дмитрий Степанович, чувствуя, что он, все-таки, сделал все, что от него зависело, вернулся в город. Надо было не опоздать на первое заседание правительства, — «Комуч'а». Доктор пыхтел, поднимаясь в гору, пылил башмаками. Пульс был не менее ста двадцати. Перед взором его разворачивались головокругительные перспективы: поход на Москву, малиновый звон сорока сороков, — чорт его знает, быть может, даже и кресло президента... Ведь революция такая штука: как покатится назад, не успеешь оглянуться, — всякие эсеры, эсдеки, смотришь, луж и валяются с выпущенными кишками у нее под колесами... Нет, нет, довольно левых экспериментов!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дождливое ростовское утро Екатерина Дмитриевна сидела в низенькой гостиной за фикусом у зыбкого столика на одной ножке и, сжимая в кулаке мокрый от слез платочек, писала письмо сестре, Даше.

В пузырьчатое окошко хлестал дождь, на дворе мотались акации. От ветра, гнавшего тучи с Азовского моря, колебались на сырой стене отставшие обои.

Катя писала:

«Даша, Даша, моему отчаянию нет границ... Вадим убит. Мне сообщил об этом вчера хозяин, где я живу, подполковник Теткин. Я не поверила, спросила — от кого он узнал. Он дал адрес Валерьяна Оноли, корниловца, приехавшего из армии. Я ночью побежала к нему в гостиницу. Должно быть, он был пьян, он втащил меня в номер, стал предлагать вина... Это было ужасно... Ты не представляешь, что здесь за люди... Но такого я еще не видала... Я спросила: — «Мой муж убит?»... — Ты понимаешь, — Оноли его однополчанин, товарищ, вместе с ним был в сражениях... Видел его каждый день... Он ответил с издевательством: — «Как повашему, — это называется убит, когда я сам видел, как его ели мухи?»... — Потом он сказал: — «Рощин у нас был на подозрении, счастье для него, что он погиб в бою»... — Он не сказал ни про день, в какой это случилось, ни про место, где убит Вадим... Я умоляла, плакала... Он крикнул: — «Не помню — где, кто убит». — И предложил мне себя взамен... Ах, Даша!.. Какие люди!.. Я без памяти убежала из гостиницы...

«Я не могу поверить, что Вадима больше нет... Но не верить нельзя, — зачем было лгать этому человеку? И подполковник говорит, что, видимо, — так... От Вадима с фронта за все время я получила одно письмо, — коротенькое и непохожее на него... Это было на второй неделе после пасхи... Письмо без обращения... Вот, слово в слово:

...«Посылаю тебе денег... Видеть тебя не могу... Помню твои слова при расставании... Я не знаю — может ли человек перестать быть убийцей... не понимаю — откуда взялось, что я стал убийцей... Стараюсь не думать, но, видимо, придется и думать и что-то сделать... Когда это пройдет, — если это пройдет, — тогда увидимся...»...

«И — все. Даша, сколько я пролила слез. Он ушел от меня, чтобы умереть... Чем мне было удержать его, вернуть, спасти? Что я могу? Прижать его к сердцу изо всей силы... Ведь только... Но он и не замечал меня в последнее время. Ему в лицо глядела революция. Он ненавидел ее, боялся, она стояла перед ним страшным призраком... Ах, я ничего не понимаю... Нужно ли нам всем жить? Все разрушено... Мы, как птицы в урагане, мечемся по России... Зачем? Если всей пролитой кровью, всеми страданиями, муками вернут нам дом, чистенькую столовую, знакомых, играющих в преферанс... Так мы и снова будем счастливы? Прошлое погибло, погибло навсегда, Даша... Жизнь кончена, пусть приходят другие...» ..

Катя положила перо и скомканным платочком вытерла глаза. Потом глядела на дождь, струившийся по четырем стеклам окошка.

На дворе гнулась и моталась акация, как-будто сердитый ветер трепал ее за волосы. Катя вспомнила, снова начала писать...

«Вадим уехал на фронт. Настала весна. Вся моя жизнь была, — ждать его. Как печально, как это никому не было нужно... Я помню, перед вечером глядела в окно. Распускалась акация, большие почки лопались. Суетилась стайка воробьев... Мне стало так обидно, так одиноко... Чужая на земле, чужая для земли... Прошла война, пройдет революция. Россия станет уже не той... Воюем, гибнем, мучаемся. А дерево распускается так же, как прошлой весной, как много весен назад... И это дерево, и воробьи — вся природа — отошли от меня в страшную даль и там живут своей, уже непонятной нам жизнью... Мне кажется, что и это — связь наша с природой — отходит, или отошло уже невозвратно...

«Даша, зачем же все наши муки? Не может быть, чтобы напрасно... Мы, женщины, ты, я, — знаем свой маленький мирок... Но то, что происходит вокруг, — вся Россия, — какой это пылающий очаг... Должно же там родиться новое счастье... Если бы люди не верили в это, разве бы стали так ненавидеть, уничтожать друг друга... Я потеряла все... Я не нужна себе... Но вот, — живу, потому что стыдно, не страшно, а стыдно пойти положить голову под паровоз, привязать на крюк веревку. Подумаешь, — такой червячек, а туда же лезет шеей в петлю...

«Завтра уезжаю из Ростова, чтобы ничто больше не напоминало... Поезда ходят хорошо, у нас ведь немцы... Поеду в Екатеринослав... Там есть знакомые. Мне советуют поступить в кондитерскую... Может быть, Даша, приедешь на юг и ты... Рассказывают, — в Питере у вас очень плохо...

«Вот разница, — женщина никогда бы не покинула любимого человека, будь хоть конец мира... А Вадим ушел... Он любил меня, куда был в себе уверен... Помнишь в июне в Петербурге, — какое солнце светило нашему счастью... Не забуду до смерти бледного солнца на севере... У меня не осталось от Вадима ни одной фотографии, ни одной вещицы... Как-будто все было сном... Не могу, Даша, не могу понять, что он убит... Наверно, я сойду с ума... Как грустно и ненужно прожита жизнь»...

Дальше Катя не могла писать... Платочек весь вымок... Но, все же, нужно было сообщить сестре все то обыденное и обыкновенное, что больше всего ценят в письмах... Под шум дождя она написала эти слова, не вкладывая в них ни мысли, ни чувства... О стоимости продуктов, о дороговизне жизни... «Нет никаких материй, ниток... Иголка стоит полторы тысячи рублей, или два живых поросенка... Соседка по двору, семнадцатилетняя девушка, вернулась ночью голая и избитая, — раздели на улице. Главное охотятся за башмаками»... Написала про немцев, что они вежливо обращаются с населением, в городском саду военная музыка каждый день, а хлеб, масло, яйца увозят поездами в Германию... Простона-

родье и рабочие ненавидят их, но молчат, так как помощи ждать не откуда. На Дону жестоко расправляется атаман Краснов. На севере в Воронежской губернии формируется добровольческая армия, где какой-то генерал Иванов порет мужиков шомполами, отнимает весь хлеб... На юге Деникин победоносно идет по Кубани...

Все это ей рассказывал подполковник Тетькин. Он очень мил, но, видимо, тяготится лишним ртом... А жена его, уже не стесняясь, говорит об этом Кате... Написала также о том, что переделала свое синенькое платье, вышло очень мило... «Теперь, по крайней мере, есть в чем выйти на улицу... Пригодится, когда буду служить в кондитерской... Позавчера мне минуло 27 лет, но вид у меня... Да — бог с ним... Теперь это не важно... Не для кого»...

И снова взялась за платочек.

Это письмо Катя передала Тетькину. Он обещался с первой оказией переправить в Питер. Но еще долго, по Катином отъезде, носил его в кармане. Сообщение с севером было очень трудно. Почта не действовала. Письма доставляли особые ходоки, отчаянные головы, и брали за это большие деньги.

Перед отъездом Катя продала высокие башмаки и свое второе платье. Теперь у нее оставалась, уже на самый черный день, одна вещьца, — изумрудное колечко, дорогая память. Его подарили Кате в день рождения. Это было давно, до войны, в вечернее петербургское утро. Оно отошло в далекую память, такую далекую, что ничто уже не связывало Катю с тем голубоватым в солнечном тумане городом, где пролетела ее молодость... Пошли на Невский, — Даша, покойный Николай Иванович и Катя... Выбрали колечко с изумрудом. Она надела на палец зеленый огонек, и только его унесла из той жизни...

На вокзал Катю проводил Тетькин, растрогался, прощаясь. Она села в жесткий вагон, у окна, узелок с заштопанным бельцом положила около себя. Поплыли заливные луга, донские плавни, дымы на горизонте, туманные очертания непокорившегося немцам Батайска. Под обрывистым берегом — полузатопленные рыбацьи деревни, как игрушечные мазаные хаты, сады, перевернутые баркасы, мальчишки, идущие с бреднем. Потом молочной пеленой разостлалось Азовское море, вдали — несколько косых парусов. Потом — погасшие трубы таганрогских заводов. Степи. Курганы. Брошенные шахты. Огромные села на склонах меловых холмов. Коршуны в синем небе. Печальный, как эти просторы, свист поезда. Хмурые мужики на станциях. Железные каски немцев...

Катя смотрела в окно, согнувшись, как старушка. Должно быть, лицо ее было такое печальное и прекрасное, что какой-то немецкий солдат, сидевший напротив, долго глядел на эту чужую русскую женщину. Худое и умное, в никелевых очках, усталое лицо его тоже словно подернулось печалью.

— Виновные понесут расплату за все, мадам, настанет время, — негромко сказал он по-немецки. — Так будет у нас, в Германии, так

будет во всем мире: великий суд... Социализм — таково будет имя судьи... Пролетариат — имя прокурора...

Катя не сообразила сначала, что обращаются именно к ней, — подняла глаза на строгие очки, немец покивал ей дружески:

— Мадам говорит по-немецки?

— Да.

— Когда человек много страдает — утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает, — сказал немец, подбирая ноги под лавку и опуская лоб, так что глаза его теперь смотрели на Катю поверх очков. — Я много изучал историю человечества. После долгого затишья мы снова входим в полосу катастроф. Вот мой вывод. Мы присутствуем при начале гибели великой цивилизации. Однажды арийский мир уже пережил подобное. Это было в четвертом веке, когда варвары разрушили Рим. Многие готовы провести параллели с нашим временем. Но это не точно. Рим, то-есть цивилизация арийского мира, был разложен идеями христианства. Варвары разорвали уже только труп Рима. Современная цивилизация будет переорганизована социализмом. Там было разрушение, тут будет созидание. Наиболее разрушительными идеями христианства были: равенство, интернационализм и моральное превосходство бедности над богатством. Это были идеи варваров, кормивших чудовищного паразита, Рим, утопавший в роскоши. Вот почему римляне так боялись и так преследовали христиан. Но в христианстве не было созидательной идеи, оно не организовывало труда. На земле оно довольствовалось только разрушением, а все остальное обещало на небесах. (Прямой рот немца усмехнулся.) Христианство — это был только меч, разрушающий и карающий. И даже на небесах, в идеальной жизни, оно не могло обещать ничего, кроме вывернутого наизнанку иерархического, классового и чиновничьего строя римской империи. Таковы были его основные ошибки. В противовес ему Рим выдвинул идею порядка. Но тогда самый беспорядок, — всеобщий хаос, — и был заветной мечтой варваров, ожидавших часа полезть штурмом на стены Рима. Час этот настал. На месте городов задымились развалины. Трупы лежали по дорогам, распятые на земле кольями, раздавленные телегами варваров. Спасения не было, потому что Европа, Малая Азия, Африка пылали от края до края. Римляне, как птицы, метались по мировому пожару. Их умерщвляли варвары, в лесах раздирали дикие звери, они гибли в пустынях от голода, зноя и стужи. Я читал рассказ современника о том, как Проба, жена римского префекта, бежала ночью в лодке с двумя дочерями из Рима, куда ворвались германцы Аллариха. Плывая по Тибру, римлянки видели пламя, пожиравшее вечный город. Это был конец мира...

Немец развязал вещевой мешок, со дна его достал об'емистую, в потертой коже, записную книжку и некоторое время, со сдержанной улыбкой, перелистывал ее:

— Вот, — сказал он, пересаживаясь на Катину лавку, — чтобы вам лучше представить — каковы из себя были римляне перед гибелью, послушайте одно место из Аммиана Марцелина. Он так описывает этих владык вселенной:

«Длинные одежды из пурпура и шелка развеваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных. Сопровождаемые свитой в пятьдесят человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, мчась по улице с необыкновенной быстротой. Если кто-нибудь из этого блестящего класса входит в бани, обычно соединенные с магазинами, ресторанами и местами для прогулок, — он повелительным тоном требует, чтобы предметы общего употребления были отданы в его исключительное пользование. При выходе из бани он надевает перстни и пряжки с драгоценными камнями и облекается в дорогой хитон, полотна которого хватило бы на двенадцать человек. Затем следуют верхние одежды, которые льстят его самолюбию, при этом он не забывает принять величественную осанку, которой нельзя было бы простить и великому Марцеллу, завоевателю Сиракуз. Впрочем, иногда и он предпринимает смелые походы с огромной свитой слуг, поваров, клиентов и отвратительно обезображенных евнухов в свои итальянские поместья, где забавляется охотой на птиц и кроликов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, он имеет храбрость переплыть на раззолоченной барке озеро Лукрин, отправляясь на свою приморскую дачу, он сравнивает потом это путешествие с походами Цезаря и Александра. Если муха проникнет за шелковую занавеску палубы, или сквозь складки упадет луч солнца, он оплакивает свое бедствие, сетуя, что не родился в странах киммерийских, где вечный мрак. Лучшими гостями у знатных считаются паразиты и льстецы, умеющие рукоплескать каждому слову хозяина. Они смотрят с восторгом на мраморные колонны комнат и мозаичные полы. За столом птицы и рыбы необыкновенной величины вызывают всеобщее удивление. Приносят весы, чтобы удостовериться в полновесности этих яств, и в то время, когда благоразумные гости отворачиваются от такой сцены, паразиты требуют нотариуса, чтобы составить протокол в достоверности подобных чудес»...

— Да, sic transit...—сказал немец, захлопывая записную книжку.— И эти люди пошли бродить в поисках пропитания по дорогам и разрушенным городам. А волны варваров продолжали катиться с востока, опустошая и грабя. В какие-нибудь пятьдесят лет от римской империи не осталось и следа. Великий Рим заростал травой, среди покинутых дворцов паслись козы. Почти на семь столетий опустилась ночь над Европой. Это произошло потому, что хри-

стианство могло разрушать, но не знало идеи организации труда. В заповедях ни слова не говорится о труде. Их моральные законы применимы лишь к человеку, который не сеет, не жнет, а за которого сеют и жнут рабы. Христианство стало религией императоров и завоевателей. Труд остался не организованным и вне морали. Религию труда принесут в мир вторые варвары, которые разрушат второй Рим. Вы читали Шпенглера? Это римлянин от головы до пят. Он прав лишь в том, что для его Европы закатывается солнце. Но для нас оно восходит. Ему не удастся увлечь за собою в могилу мировой пролетариат. Лебеди кричат перед смертью. Так вот, буржуазия заставила Шпенглера кричать лебедем... Это ее последний идеалистический козырь. У христианства сгнили зубы... У нас они железные... Ему мы противопоставляем социализм, организацию труда и распределение средств производства... Нас заставляют воевать с большевиками... Ого!.. Вы думаете — мы не понимаем, кто толкает нашу руку и против кого? О, мы гораздо больше понимаем, чем это кажется... Раньше мы презирали русских. Теперь мы начинаем удивляться русским и даже уважать их...

Протяжно свистя, поезд шел мимо большого села, — мелькали крепкие избы, крытые железом, длинные ометы соломы, сады за полисадами, вывески лавок. Рядом с поездом по пыльной дороге ехал мужик в военной рубашке без пояса и в бараньей шапке. Раздвинув босые ноги, он стоял в небольшой телеге на железном ходу и крутил концами вожжей. Сытая, рослая лошадь заскакивала, сиюсь перегнать поезд. Мужик обернулся к вагонным окнам и что-то крикнул, широко показывая белые зубы.

— Это Гуляй-Поле, — сказал немец, — это очень богатое село.

*(Дальнейшие части романа будут напечатаны в 1928 году)
в „Новом Мире“*

Д о р а

Отрывок из романа „Борьба“

А. СЕРАФИМОВИЧ

Отряд спотыкался в темноте, в раз'езжавшейся грязи, в выбитых по колено промоинах, полных осенней воды, и сек косой дождь, и раз'езжались ноги, и сосед с трудом видел соседа. Не знали, была ли впереди отряда головная часть с пулеметами или давно рассеялась, либо пошла по другой дороге и потерялась. Был ли хвост, или давно пропали и походные кухни, и весь обоз.

Дора шла среди дождя, ветра, среди солдат, невидимо чмокающих в грязи, и сама с трудом вытаскивала грубые отяжелевшие от воды солдатские сапоги. Обмокшая свисшая шинель била по коленкам, и с грязной размякшей фуражки сбегала вода по стриженным волосам за ворот, холодя тело.

Отряд шел, невидимо шатался в грязи. Упорно сек косой, тоже невидимый дождь. И неизвестно, сколько прошли, и неведомо, когда остановятся... нельзя было закурить,—все мокро.

Кто-то сказал:

— Ежли Махно налетит,—всем крышка.

Ему не ответили. Так же чмокали налившиеся сапоги, резал ветер, сек холодный дождь, и ничего не было видно, и не было этому конца и краю.

Солдатик, рядом чмокавший по грязи—лица его она не могла разобратить,—сказал:

— Слышь, товарищ Дора, садись у повозку, в ногах правды нет. Ей-бо уйдешь. Пойдем, посажу. Ваши все едут.

Она мотнула мокрой головой,—он этого не видел в дождевой мути, и сам себе сказал:

— Ну и норовистая девка.

И опять все то же чмокание, все так же мокро сечет, все так же тянется за всеми отчаяние дошедшей до края усталости.

А когда пришли на ночевку и забрались в сухие, теплые домишки городка,—как-будто ничего этого не было: ни бесконечного иссеченного дождем мрака, ни раз'езжающейся под ногами склизкой

дороги, ни безграничной усталости. Весело ужинали, заливалась двухрядка, взрывами вырывался хохот, как-будто каждую минуту не мог налететь Махно и вырезать всех.

А в школе, где расположился политотдел, набились солдаты. От махры не продохнешь. Наваливаются друг на друга. От мокро-высыхающей одежды туман. Маленькая фигурка Доры в солдатских штанах, сапогах и гимнастерке совсем потонула среди солдат.

— Ну, что вам сыграть?—говорит она, приподняв черно-кудрявую головку.

— Товарищка Дора, вали Грыгу.

— К чортовой маме твоего Грыгу! Вали, товарищка Дора, Хóвена.

— Да ну, надоед с своим Хóвеном. Опять же немец. Вали Жопéна.

Смеющееся и ласковое лицо Доры становится серьезным и далеким. Она берет аккорд, играет 7-й вальс Шопéна.

Солдаты слушают, изредка потягивая из кулака цыгарку, смотрят, не спуская глаз, по мелькающим по клавишам пальцам. Любят Дору, берегут. А давно ли ругались при ней матерно, косвенно относя к ней, харкали, топали и сморкались, чтоб заглушить ее игру. Сколько ей бороться пришлось с ними! Она победила.

И она оглядывается: сзади, как за всяким человеком, тянется иссиня-длинной тенью ее прошлое...

.

Пирамидальные тополя, украинские тополя вознеслись в сверкающее небо. Догоняя, впились в синеву и белые колокольни. А домишки, свиньи, вонь дворов, тонкий запах акаций, украинский говор, визг и крики еврейской детворы,—все это перепуталось, замоталось, потонуло в бесконечно мутном горячем мареве стелющейся над городом пыли.

Сквозь далекую голубизну музыкально блестит Днепр.

На улице роются свиньи. Из-за заборов ласково пахнет сирень.

— Та цур тобі!.. от ледащая животи́на... Тпрусь... шоб тобі по-вылазило!..

— Вей мир!..

В гигантских облаках пыли степенно возвращаются домой коровы. Старый солидный, деревянной стройки, двухэтажный дом, а на парадной полинялой двери медно позеленевшая дощечка, а на ней черно-полопавшаяся надпись:

Помощник присяжного поверенного

Иосиф Моисеевич

Розельман

прием от 4—8 вечера.

Когда обсядут в столовой в нижнем этаже громадный стол,—а по стенам утки вниз головами из папье-маше, раскрашенные, и во весь

пролет стены тяжкий дубовый ковчег, которому сто лет и в котором на сто человек посуды,— так когда обсядут всей семьей, как-будто базар открылся,—смех, говор, перебивают друг друга, зассорятся, вспыхнут, опять смех, опять сыплют торопливой речью друг другу. Все говорят по-русски, только р чуть картавится, и волоса курчавые, больше черные.

Да всех не загонишь сразу за стол—из гостиной тоже несется говор, смех, то запоют, или рояль заговорит, или виолончель грудным человечьим голосом, человеческим грудным глубоким голосом... Отчего ж так впивается в сердце и больно и сладко впивается в сердце этот томительный голос?

А из столовой раздраженно:

— Да... идите же, все уже холодное...

И когда, наконец, все усядутся, и стихнет отзвучавшая гостиная, так ведь по столу из конца в конец почти не видно друг друга, как-будто растянулись и потерялись на другом конце улицы—вед двадцать человек семейка, двадцать два! Прислуга русская, подает, принимает тарелки, давнишняя, лет тридцать в доме, повязана засаленным платком, и концы назад, старый член семьи, ворчит:

— Хйба то порядком? За стиль усели, а воны га-га-га, та цымбалы, та у музыку, а все стыне. Хйба ж порядок?

Как только дело касается еды, она хозяйин и распорядитель в доме.

Двадцать два человека!

Во-первых, две бабушки, тусклые, слезящиеся, равнодушно глядят перед собою, и на пергаментных лицах запечатлено: «Мы все сделали, о, Иегова,—вот поколение!»...

Когда изредка их пергаментные губы прошуршат, молодежь их не понимает—по-древне-еврейски.

Хозяйка в черной наколке, и ленты подрагивают; и на лице печать: принесла восемнадцать, выходила одиннадцать, и берегла, и бережет, и будет беречь, как наседка.

Черные ленты гордо подрагивают: у каждого талант. Либо отлично учится в гимназии, либо отлично кончил университет, либо отлично торгует лесом, и каждый либо поет, либо на рояли, либо скрипка, виолончель,—большой деревянный дом, как старый огромный музыкальный ящик, и прохожие по улице уж привыкли: проходят мимо, задерживая немного шаг, сквозь окна несутся музыкальные голоса.

А возле хозяйки, на стуле, болтая недостающими ножками, крохотный кудрявый цветочек—самая маленькая. Черненький, лохматенький цветочек. Да какой же живой! Да какой же непоседливый! Верно, оттого светятся две искорки, две тоненькие точки, смеющиеся и лукавые, светятся из-под темно выгнутой ресницы неизбывной шаловливостью, дразнящим смехом!

Любимица!..

Все ее любят, и младший брат, изо всей семьи один социал-демократ. А отец ему:

— Чем хочешь будь, хоть самим Вельзевулом, только не попадайся. А лучше, если бы занялся вместе с Соломоном.

И Соломон, старший брат, отлично ведет большое лесное дело, и он не пройдет мимо, чтоб не потрепать черно-кудрявый цветочек.

И сестры, и другие братья, и тетки, и бабушки, и знакомые, и прислуга, и водовоз, который каждый день привозит бочку с водой,— все. И отец, сидящий, благообразное лицо, в котором — мудрость, опыт прожитого. И это всегда спокойное, размеренное лицо, и оно трогается улыбкой, когда возле черненький шаловливый цветочек.

Дом полон музыкального смятения, но никто не обращает внимания на эти не умирающие с утра до глубокой ночи музыкальные голоса,—привыкли.

Но иногда вдруг все остановится в доме, затихнет, все остановятся, где кого ни застанет, приложат палец к губам:

— Тссс!.. тише!

На цыпочках подбираются к гостиной, вытягивают шеи, и слушают, заглядывают в гостиную, показывают друг другу с засветившимися лицами.

Видят: черненький цветочек отражается в черном зеркале рояля, и ножонки беспомощно не достают до педалей. А пальчики крохотно ползают по белым смеющимся клавишам, и странно, не по-детски послушно сочетаются глубоко звучащие внутри струнные голоса.

— Да ведь только три года!.. крошка!

Толпятся все в дверях, и светло в доме от улыбок.

— Дора!!

Ее подхватывают, и смеющийся солнечный черненький зайчик радостно и ревниво перебрасывается с рук на руки.

Этот музыкальный цветок куплен смертью родного человека, близкого; любимого, куплен смертью дяди. Брат матери, кантор.

Красивое, румяное, чуть излишне полное лицо, чуть апоплексическое лицо, и шея короче, чем нужно, и сам полный; черные горящие глаза. Иногда задыхается. И бархатный баритон. Бархатный баритон в потрясающе-мрачных древне-еврейских напевах, полный мрачной скорби тысячелетних страданий народа, избранного народа. С замиранием слушали евреи, слушали богатые евреи в синагоге своего знаменитого кантора. За тысячи верст приезжали и, поворачиваясь друг к другу, говорили:

— Только еврей, только еврей такой голос имеет.

На еврейских концертах он выступал. Стены ломались, в синевато-тусклой густоте меркло электричество, и евреи сидели на спинах друг у друга. А потом дико рушился обвал криков, аплодисментов, грохот сдвигаемых стульев—начинался шабаш восторга.

Нет, он не был целомудренно-правоверным кантором — любил жизнь, красоту, безумно любил власть своего голоса, и его любили женщины.

Как все еврей-интеллигенты, он исполнял религиозные обряды для окружающих, для окружающей массы. И когда наматывал на голову ремень с выдававшимся на лбу кубиком заповедей, усмешка играла в сердце—Иегова был далеко за пределами разумности, но он все-таки надевал смешную полосатую хламиду для массы — ведь он был кантор. Только когда подымался пронзительно-тонкий, как визг, древний хор детских голосов, и его мягкий бархатный голос удивительно вливался в их танцующую ткань, все забывалось—и Иегова, и его история, и канторство. Печаль, печаль и отчаяние, и горе, и тьма тысячелетий—неумирающего неискоренимого народа—дрожали, все заслоняя.

Этот тонкий визг свивающихся детских голосов!

И у слушателей шевелились волосы, и ползли мурашки.

За тысячи верст приезжали богатые евреи слушать своего знаменитого кантора.

И вдруг все пошатнулось. Десятки антрепренеров охотились за ним для своих оперных театров. Он подписал контракт, уехал. В дни его выступлений в громадном городе билеты брались с бою, и барышники чудовищно наживались.

Через полгода затосковал, порвал контракт, вернулся. Еврейство богатое от него отвернулось, от него, оскверненного соприкосновением с гоями и их нечистой сценой,—не видать ему канторства, как своих ушей.

Он жил все с тою же улыбкой жизнерадостности. От мала до велика ломились в зал, когда давал концерт. А червячек точил сердце—крохотный червячек, и сердце иногда задыхалось.

Сестра была беременна последней беременностью—сорок семь лет. И он ждал, ждал и в напряженном ожидании считал дни.

Нет, не потому, что у евреев тысячелетнее поверье: если родится у сестры последний мальчик, старший в роде будет долго-долго жить, то-есть, он, дядя новорожденного, будет долго-долго жить, будет жить. Если девочка—он... умрет.

Пустяки! Давно откачнулся от предрассудков, от суеверий родного народа, но... если бы... если бы племянник, если бы мальчик!

Дни убегали, точно проносилось в вагонное окно полотно, телеграфные столбы, будки, переезды. И однажды тоненько и беспомощно завякало крохотное существо.

Если б мальчик!.. ему, старшему в роде, дяде... жить тогда...

Акушерка вышла и сказала:

— Поздравляю с племянницей.

Он потемнел и отвернулся к окну. Нет, он не суеверен. Он давно равнодушен к обрядам религии отцов, а тем паче свободен от суеверий, но почему же, почему... племянница, а не племянник!?

Почему?!

Дни бежали, напоенные заботой, трудом, радостью миновавших огорчений. Жил город, светило солнце, как всегда,—чудесна жизнь, ибо звучала музыкой, ибо пестрела искусством.

Жизнь прекрасна, но... почему же не мальчик, а племянница?!

Глядь, а он над обрывом, и сам не знает, как попал. Бестолково сбегают деревья; блестит поворот реки. В медленной задумчивости уходит домой.

Шумный концерт. Чудесно звучит бархатный голос. Взрывом плещущие волны аплодисментов. Светится среди множества лицо любимой, среди множества, но почему же, почему?

Кончился концерт. Надо домой. Глядь, а он над обрывом... Зеленые внизу верхушки; излуцина реки блестит... Над обрывом — одинокий, и тоненько, тоненько, как комариное пение, то, о чем не хочет думать.

И как ни сопротивлялся всем своим разумом, всем своим образованием, знанием, его сломило: маленькая крошка пришла в мир, чтоб вытолкнуть его из жизни — двое они не поместятся, он должен уступить. Он?!.. а голос? а солнце? а зелень сбегających деревьев? а синие дали? а этот старый дом, где поколения прошли? а лицо любимой, лицо любимой, озаренное среди множества?..

И где бы ни был, какое бы дело ни делал, чем бы важным ни был занят, в конце концов очутится над обрывом, под откос сбегают вершины, блестит река.

Нет, так дальше нельзя, нет сил. И он... сдался.

Последний раз взглянул на зеленеющее море, на синеву, на дальний блеск и пошел к... маленькой, которой он еще не видел.

Мать, нагнувшись над корытом, плескала на маленькую теплой прозрачной водой, а маленькая в корыте карячила пухлые перевитые личочками ручонки и ножонки, как жучек, положенный на спинку, и глядела на дядю переспелыми вишенками. У него мучительно и сладко перехватило на секунду приостановившееся сердце: никогда не было детей, и еще... и еще... не поместятся в этом мире... тесно...

Э, вздор!

Сестра подняла на него сияющие глаза:

— Посмотри!.. посмотри!..

Он неподвижно стоял и смотрел. Выкупали, завернули в простынку, и с светящимся лицом мать стала кормить. Ребенок торопливо сосал, причмокивая, взглядывал черносливовыми глазками и обминал мякотьные ноготки о материнскую грудь.

Он взял у матери, неловко держа в руках. Вдруг почувствовал—стала таять черта, отделявшая его от этого тепленького комочка, неловимо затаенная черта отчужденности.

— Живи, расти, дочь моей сестры. Да будет тебе счастье!

В нем проснулся тысячелетний еврей. И сказал вдохновенно, высоко подымая ребенка:

— Передаю тебе все, чем одарила меня судьба! Передаю тебе мой голос, его красоту и послушность, и его неодолимую власть над людьми. Передаю тебе всю власть, какую дает над человеком человеку искусство. Будь счастлива, займи мое место!..

Ребенок завёл глазки и чему-то улыбался во сне. Мать с восхищением смотрела на брата. А у него большие черные глаза налились грустной ласковостью.

Через неделю умер от разрыва сердца.

С этих пор все стали ждать, все—и бабушка, и мать, и отец, и братья, и сестры, и прислуга, и знакомые,—все стали ждать, с восхищением глядя на крошку. Да нет же, молодежь не была суеверна, а где-то в глубине неосознанно ждать стали.

А черненький цветочек рос, развивался и смотрел на окружающий мир широко открытыми глазами, в которых искорки.

И мать говорила отцу:

— Надо учительницу.

А он:

— Слишком мала.

А она:

— Ну, как же... скоро четыре года.

— Мала...—и ласково трепал ее кудри.

— Как же мала? Когда появится голос, она должна уже знать рояль. Ведь же она сама играет. Ну-у?

И ей стало десять лет и пятнадцать, а голос не появлялся.

И постепенно страх и недоумение поползли по дому. А дядя? А его благословенный подарок родившейся крошке перед смертью? и разве не Иегова говорил его устами?!

И все поняли: у нее голоса нет и никогда не будет. И глаза бабушек покрылись пеплом смерти и отчаяния...

.



Папиросный коробок

Э. БАГРИЦКИЙ

Сыну Всеволоду

Раскуренный дочиста коробок,
Окурки под лампою шаткой...
Он гость — я хозяин. Плывет в уголок
Студеная лодка-кроватька...

— Довольно! Пред нами другие пути,
Другая повадка и хватка!
Но гость не встает. Он не хочет уйти;
Он, пальцами чище слоновой кости,
Терзает и вертит перчатку...

Столетняя палка застыла в углу,
Столетний цилиндр вверх дном на полу,
Вихры над веснушками зреяли, —
Из гроба, с обложки ли от папирос
Он в кресла влетел и к пружинам прирос,
Перчатку терзая — Рылеев...

— Ты наш навсегда! Мы повсюду с тобой,
Взгляни!

И рукой на окно:

Голубой

Сад ерзал костями пустыми,
Сад в ночь подымал допотопный костяк,
Вдыхая луну, от бронхита свистя,
Шепча непонятное имя.

— Содружество наше навек заодно! —

Из пруда, прижатого к иве,
Из круглой смородины лезет в окно
Промокший Каховского кивер...

Поручик! Он рвет каблуками траву,
Он бредит убийством и родиной,
Приклеилась к рыжему рукаву
Лягушечья лапка смородины...

Вы тени, тени от лампы!
 Вы мокрая дрожь
 Деревьев под звездами робкими...
 Меня разговорами не проведешь,
 Портрет с папиросной коробки...

Я выключил свет — и видения прочь!

На стекла, с предательской ленью,
 В гербах и султанах надвинулась ночь,
 Ночь Третьего Отделения...

Пять сосен тогда выступают вперед;
 Пять виселиц, скрытых вначале,
 И сизая плесень блесит и течет
 На мокрой и мыльной мочале...

В калитку врывается ветер шальной,
 Отчаянный и бесприютный, —
 И ветви над крышей и надо мной
 Заносятся, как шпицрутены...

Крылатые ставни колотятся в дом,
 Скрежещут зубами шарниров,
 Как выкрик:

— Четвертая рота — кругом!
 Упрятанных в ночь командиров...
 И я пробегая сквозь строй без конца
 В поляны, в леса, в бездорожья...
 ... И каждая палка хочет мяса,
 И каждая палка пляшет по коже...
 В ослиную шкуру стучит кантонист
 (Иль ставни хрипят в отдалении)...
 А ночь за окном, как шпицрутенов свист,
 Как Третье Отделение,
 Как сосен качанье, как флюгера вой...
 И вдруг поворачивается ключ световой.

Безвредною синькой покрылось окно,
 Окурки под лампою шаткой.
 В пустой уголок, где от печки темно,
 Как лодка, всплывает кроватка...

И я подхожу к ней под гомон и лай
 Собак, зараженных бессонницей:
 — Вставай же, Всевóлод, — и всем володай
 Вставай под осеннее солнце!
 Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
 Ты встал на пороге веселых времен!
 Прими ж завещанье:
 Когда я уйду
 От песен, от ветра, от родины,
 Ты начисто выруби сосны в саду,
 Ты выкорчуй куст смородины!..

Баллада будней

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Шестой этаж. Окно под крышей.
Сквозь кисею молочный свет.
Там, где горошек в узкой нише,
Бежит по жердочкам все выше,
Снимает комнату поэт.

Внизу — игрушечные люди,
Коты, бульжники двора,
Бренчанье вилок по посуде,
Возня ребят в песочной груде,
Шарманка с самого утра.

Все так обычно, так знакомо:
Заката розовый миткаль
Глядит с обрушенного дома
В окно, где дочка управдома
Терзает старенький рояль.

Стучит сапожник по колодке,
Строгает плотник, поет актер,
Девушка щурит взор короткий,
И вот старик в косоворотке
Проходит медленно во двор.

Склоняя профиль безобразный
К костлявой скрипке у плеча,
Он вдруг взмахнул рукою грязной,
И «Травиата» неотвязно
Заныла, зла и горяча.

Густеет день. Бормочут клены,
Столяр застыл у верстака,
Сквозь мир, как окна, запыленный
Проходят: «Яблочко», «Буденный»
И «Волга—русская река».

Старик за песней водит руку,
Поет обман, зубную боль,
Разрыв, свидание, разлуку,
Нечеловеческую скуку,
Перегоревший алкоголь.

И вдруг, разбив аккорд, как чашку,
Спускает скрипку, весь дрожа,
Пока в измятую фуражку
Пятак, завернутый в бумажку,
Летит с шестого этажа.

Зеленая Дверь

Роман

МИХАИЛ ПРИШВИН

(Окончание¹)

Яйцо без соли

Отто давно уже работал на заводе, когда коротенькая правда немецкого пива явилась в сознании Алпатова в сокровенном своем значении, как самый тяжкий грех. Но, с другой стороны, грехом оказывалась и эта большая правда русского интеллигента, так повертывалось, что именно самый большой грех человека—перескакивать через коротенькую правду маленького человека и вырабатывать законы великой правды, не считаясь с простым существованием. Но, как и в сновидениях, суть бывает не в узорных фабулах, которые так легко пересказать, а в непередаваемой боли и сладости, сопровождающих все явления сновидений, так и тут всякая мысль о большой и коротенькой правде сопровождалась чувством личной ответственности. Такое тяжкое состояние духа в Германии называется катценяммером, и у рабочих людей бывает в понедельник и день этот у них называется с и н и м.

Страдают от катценяммера, конечно, все, но больше, конечно, те, у кого больше зарождается при этом всяких вопросов: всякая надежда во время катценяммера, зарождаясь, тут же и погибает в роковом конце, всякое желание, всякая мысль, быстро повертываясь, сопровождается чувством греха и смерти. Алпатов схватился было за самое последнее и, казалось ему, за самое независимое и бескорыстное желание увидеться с своей тюремной невестой, и в тот самый момент, как только он подумал об этом, голос рока ответил ему: «Не видать тебе ее, как ушей своих». И после того показался ему друг его Ефим — с глазами страдающего Белинского, с улыбкой от сатира Щедрина, и Алпатов прочел в этих глазах упрек за коротенькую

¹) См. „Новый Мир“, № 11 с. г.

немецкую правду, и в улыбке — полное уничтожение блажной и недостойной революционера мечты о невесте с закрытым лицом и музыкальным голосом. Суровый голос рока почти по-человечески вслух в этой же комнате как-то из стены Ефимовым голосом проговорил еще раз:

— Не видать тебе ее, как ушей своих.

И Алпатов быстро вскочил.

Не умываясь, не одеваясь, он подходит к столику и начинает откровенное письмо к Ефиму:

«Дорогой Ефим, я живу у рабочего социал-демократа, вчера своими глазами видел Августа Бебеля...».

Написав эту фразу, Алпатов останавливается, пораженный одновременно и правдой и ложью даже этой коротенькой фразы: это совершенная правда, он живет у настоящего социал-демократа, он видел действительно вчера живого Августа Бебеля, и в то же время эта коротенькая правда действительности не соответствует правде первообраза рабочего-революционера и Бебеля — вождя мировой катастрофы. И самое ужасное, что маленькая виденная им правда совсем не колеблет первообразов рабочего движения и мировой катастрофы: все будет совершенно так, как сложилось в России, капитал очутится в руках немногих лиц и будет взят сознательной массой рабочих. Коротенькая правда не колеблет большую правду, а только себя самого, Алпатова, как участника мировой катастрофы: вот что самое ужасное! Потому Алпатов и не пишет, а кусает, сплющивая, деревянный кончик пера. Снова катценяммер заключает свое роковое звено, и Алпатов обвиняет себя в самом презренном, что он когда-то с таким гневом бросал народникам: коротенькая правда оказывается просто мещанством, идеологией мелкого буржуа...

Вдруг позвонили в передней, постучали, и затем в двери показалась рука Мины с письмом. Алпатов взял открытку и прочитал ответ адресного стола: «Русская фрейлейн Ина Ростовцева живет на Фридрихштрассе, № 14, в квартире № 12, у пасторши Вейсс».

Вмиг исчезли все наводнения катценяммера, и обыкновенное бытие, заключенное в точном адресе, является Алпатову таким же священным чудом, волшебством, счастьем и силой, как горсточка золота, полученная голодным поэтом, который не знал, что поэма его гениальная...

Он быстро одевается, не забыв приколоть красивый жетон стрелкового общества, и выходит к Мине поскорее выпить кофею.

— Вы очень бледный, — сказала ему, улыбаясь, Мина, — я вам приготовила сегодня черный кофе с лимоном, это очень помогает от катценяммера.

— Есть болезнь, — ответил Алпатов, — против которой не помогает черный кофе с лимоном.

— Какая же это болезнь?

Никому бы в России даже в шутку Алпатов не сказал бы это слово не только по-русски, но и по-французски, слово это казалось ему достаточно пошлым, чтобы шутить, но по-немецки, и Мине, болезнь свою он решился назвать, и ответил:

— Любовь.

— Ну, какая же любовь, когда вы еще и не осмотрелись в Берлине.

— Моя невеста, — ответил Алпатов, — из России, она здесь и будет учиться вместе со мной.

— Учиться с невестой! — воскликнула Мина, — значит, у вас в России с невестами учатся? Почему же вы вчера нам всем это не рассказали, всем бы это было очень интересно узнать.

И Мина стала спокойно спрашивать о родителях невесты, о средствах, и сколько времени продолжается их роман. Будь это вчера, конечно, Алпатов не стал бы об этом разговаривать с Миной, но с точным адресом невесты в кармане ему было очень приятно разговаривать и представлять себе, что у него, как у всех. Он рассказал Мине, что родители его невесты очень богатые и знатные люди, что она их единственная дочь, и воспитывалась в Смольном, и кончила там с шифром. А Смольный создан императрицей Екатериной Великой для воспитания образцовых матерей. Конечно, образование в Смольном вполне достаточно для женщины, но в России модно заграничное образование и дает высшее положение в обществе.

Мина прониклась большим уважением к словам Алпатова и сказала:

— Да, если так, то все это очень и очень даже хорошо. Вы, вероятно, давно знакомы с невестой и, очень может быть, вместе росли.

С точным адресом невесты в кармане Алпатов осмелился немного приблизиться к правде и ответил Мине:

— Я невесту свою видел только раз в жизни, в тюрьме через две решетки, и лицо у нее было закрыто густой зеленой вуалью. Я помню только голос ее, очень музыкальный, и по этому голосу должен отыскать ее в Берлине.

Мина, бегая по хозяйству в комнате, была похожа на птицу в клетке, но от слов Алпатова остановилась и покатила со смеху: она поняла, что и весь рассказ его о невесте — выдумка, и он так ловко ее обманул.

— Но почему же, — спросил Алпатов, — это невозможно, ведь вы тоже любите Отто не за усы и бороду, вы полюбили его душу и о душе его сказал вам его голос, вспомните его первый шопот, первые слова. Вы не забыли еще, это было в прошлом году: у вас любовь тоже сразу явилась, любовь всегда является сразу, как стрела.

Мина покраснела. Она совершенно согласна, любят, конечно, за душу, но как же это: всё-таки усы должны быть у мужчины.

И шаловливо сказала немецкую поговорку:

— Поцелуй без усов — все равно, что яйцо без соли.

Правда немецкого пива

Алпатов под'ехал к дому № 14 на Фридрихштрассе, устроил свой велосипед у швейцара, и добрался было по лестнице почти до самой квартиры пасторши Вейсс, но в последний момент ему пришло в голову, что визит его ранним утром покажется очень странным и что так не делают люди: надо явиться позднее. А в университете теперь как раз` должна происходить имматрикуляция новых студентов, и, наверно, если только Ина будет учиться в Берлине, он встретится с ней, и все выйдет как бы случайно. Все это было очень разумно, и Алпатов скрыл от себя, что просто сбобел.

В университете Алпатов долго мучил канцеляристов справками, на какой факультет записалась Ина Ростовцева, но везде, на всех факультетах имени этой русской не оказалось. Во время этих справок с Алпатовым разговорился молодой студент из Саксонии, Адольф Мейер, и с интересом стал расспрашивать его о России.

— Мои родители очень бедные люди, — откровенно объяснил он Алпатову, — и я подумываю по окончании курса выкинуть какую-нибудь штуку, в роде как вы это делаете.

— Какую же штуку? — спросил Алпатов.

— В роде того, чтобы поехать в Россию и оттуда вернуться богатым человеком на родину.

— Это можно, — сказал Алпатов.

Мейер очень обрадовался и предложил Алпатову вместе где-нибудь в столовой позавтракать и выпить кружку пива.

— У меня и так от вчерашнего страшный катценяммер, — отнекивался Алпатов.

Но Мейер уверил его, что кружка пива совершенно вылечивает от катценяммера и что именно для этого и создан синий понедельник. Алпатову и самому захотелось полечиться и, главное, поскорее как-нибудь провести время до приличного часа визита в квартиру пасторши Вейсс.

Студенты вышли на улицу и спустились в одно из бесчисленных берлинских пивных подземелий.

— Вы будете изучать философию? — спросил Мейер.

— Философию, — ответил Алпатов, — а вы?

— Я тоже философию.

Студенты чокнулись за философию с обыкновенными словами: про з и т и м о й н.

Мейер свою Саксонию очень любит, в Берлин он приехал только на один семестр, побродить, как делают многие студенты. А учиться, конечно, спокойней, дешевле и лучше в Саксонии. Там, в Иене, теперь читает Геккель, в Лейпциге — Оствальд и Вундт.

Чокнулись за Саксонию.

— А в России, — сказал Мейер, — наверно, хорошо служить, — оттуда можно вернуться богатым человеком.

— Не знаю, — ответил Алпатов, — немцы от нас редко возвращаются: мы, русские, почему-то часто бежим из России, а немцы живут, им там хорошо.

После того Мейер предложил тост за Россию, и стал усиленно звать Алпатова учиться в Лейпциге: там читает политическую экономию знаменитый Бюхер. Но Мейер не знал, чем именно Бюхер так прославился, и Алпатов стал ему рассказывать о замечательной работе Бюхера «Работа и Ритм». Алпатов рассказывал о сочетании труда и музыки не прямо по Бюхеру, а как идея Бюхера в этот момент в ожидании свидания с Иной Ростовцевой преломилась в нем: ведь его упование на будущее счастье трудового человечества сходилась с музыкальным голосом тюремной невесты. Увлекаясь больше и больше, Алпатов делает смелый вывод из книги Бюхера: очень может быть, что и самый рост органической жизни на земле сопровождается тайной музыкой, поэты и композиторы, вероятно, и передают нам этот ритм, вот пример: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Мейер с изумлением слушает, кажется, он таких интересных людей еще никогда не видал.

— Вы изучаете философию, — спрашивает он, — а по какой же специальности?

— Моя специальность, — отвечает Алпатов, — вероятно, и будет политическая экономия.

— А что вы с этим будете делать в России?

— Я социалист.

— А это имеет в России применение?

— Это везде необходимо знать: история человечества теперь кончается неслыханной катастрофой. Вы-то разве этого не чувствуете?

— Мои родители, — конфузливо ответил Мейер, — бедные люди.

— Но вы находите же возможным для себя изучать философию; значит, имеете время думать?

— Я изучаю ее для педагогики, я буду этим заниматься.

— А педагогика вам для чего?

— На это спрос везде, учитель всегда может получить приличное место.

Алпатов не унимался:

— Для чего вам приличное место?

— Место для чего? — удивился Мейер, — а как же я без приличного места могу добиться приличной жены?

Алпатов откинулся к спинке своего стула, и с негодованием отрезал:

— Как вам не стыдно всю свою духовную деятельность посвящать какой-то бабе, при том еще вам неизвестной, и с единственным атрибутом: «приличная»?

Мейер очень смутился.

— Но как же иначе-то быть, — сказал он, — родители мои небогатые и очень почтенные люди, мое высшее образование берет их последние достатки, в будущем я должен во всяком случае быть не ниже их по своему положению, и это возможно только... вы же сами это понимаете, наше положение в обществе определяется приличной женой, и ей нужны для этого деньги. Так живут у нас все трудящиеся люди, скажите, как же это решается у вас, социалистов?

— У нас это решается, — ответил Алпатов, — не индивидуально, а общественно. Семейный и половой вопрос — только часть общего социального вопроса, мы сначала изменим условия экономические, общественные, а потом будем и лично устраиваться по-новому в этих условиях.

— Но если так случится, что ваша природа мужчины потребует удовлетворения раньше, чем создадутся благоприятные для новой жизни общественные формы?

— То же и с вами может случиться, — у вас может явиться приличная невеста, а приличное для нее содержание вами еще не будет достигнуто. Скажите, как найдете вы в этом случае, а потом и я вам отвечу.

Мейер улыбнулся и сказал:

— Студенты обыкновенно у нас много танцуют в веселых кабачках с девушками, и обыкновенно это бывает портниха, а когда студент кончает курс, то женится на своей любимой невесте.

— Это двойная бухгалтерия, — ответил с негодованием Алпатов, — и такая гадость!

Мейер очень сконфузился и даже покраснел.

— Научите же меня, — стал он просить Алпатова совершенно искренно. — Я, право, не знаю, как же иначе быть? Вы лично, простите меня, разве еще совершенно не имеете в этом потребности?..

Алпатов сильно покраснел и смущенно стал смотреть в стакан с пивом. Мейер даже испугался и взял его за локоть.

— Ну, простите, простите меня, добрый камерад, за нескромность, уверяю же, я не вашим личным интересуюсь.

— Нет, отчего же, — поднял глаза Алпатов, — мне кажется, я люблю одну девушку... и это мне не мешает. Я даже в этом чувстве как-будто вижу силу, не допускающую мысли о другой: вы назвали другую, кажется, портнихой?

— Не надо, не надо сердиться, — воскликнул Мейер, — понимаю, все понимаю теперь — мы маленькие люди, наше чувство на-двое: одно для портнихи, другое для невесты; у нас так делают все. Но вы большой человек, вы герой, я только у Шиллера это читал и думал — в жизни этого не бывает: вы хотите жить одним чувством. Вы сильный человек. Но как вы думаете, если произойдет мировая перемена, то и мы тоже будем, как большие сильные люди?

Алпатову стало подозрительно, не смеется ли над ним собеседник, и он испытующе поглядел на него: немец смотрел гла-

зами чистого кролика. Тогда Алпатов стал говорить ему по всей правде:

— Вы очень ошибаетесь, считая меня за особенного и великого человека, все наши русские исследователи народной жизни, Достоевский, Толстой, Тургенев, и с ними вся наша интеллигенция, наши отцы, матери признают, что великое рождается в малом и незаметном, оно живет в массах, и великий человек выделяется только тем, что берет на себя от масс большое поручение. Вот что, а вы хотите составить мораль как-будто отдельно, для больших и для малых.

— Вот именно, — ответил Мейер, — все великие люди во все времена заботились о малых и им давали добрые законы обыкновенной жизни, более легкие, чем для себя. Не будем спорить, мне теперь все ясно, вы идете по пути великих людей, но еще не успели приготовить законы жизни для маленьких.

Ничего не было в открытых чистых глазах Мейера, кроме желания служить честно коротенькой правде, которая в России называется мещанством.

Но они расстанутся, конечно, друзьями, они, конечно, будут встречаться и, может быть, даже готовиться вместе к зачетам по общим предметам. На улице, провожая Мейера, Алпатов разглядел, что ноги у него от детского рахита были немного кривые, трудно было представить его танцующим с веселой портнихой, но в будущем виднелась отчетливо его прогулка в воскресный день по Тиргартену под руку с своей анштендиге фрау.

«Может ли кто-нибудь со стороны сказать о моем будущем?» — подумал Алпатов, садясь на велосипед.

И, сильно нажав на педали, помчался между экипажами к невесте, как стриж в брачном полете.

Совершенный вздор мещанской жизни, услышанный им от Мейера, его удивление от рассказа о работе Бюхера сильно ободрили Алпатова. Невеста ему стала представляться совершенно реальной в сравнении с фантастической приличной женой, и потому он без робости поднялся по лестнице и уверенно позвонился в квартиру пасторши Вейсс.

На звонок скоро выходит девушка и отвечает, что русская фрейлейн уехала в Иену.

— Давно ли уехала? — спрашивает Алпатов.

— Всего час назад, — ответила девушка.

— Но, может быть, она скоро вернется в Берлин?

— Нет, — ответила горничная, — фрейлейн сказала, что совсем не вернется в Берлин.

— И адрес свой в Иене не оставила?

— Я спрошу сейчас фрау Вейсс.

Голос пасторши Вейсс раздался из невидимой комнаты:

— Ничего не оставила!

А из другой какой-то таинственной комнаты бил и другой вещий голос:

— Не видать тебе невесты, как ушей своих.

Саксонская фея

Далекий друг мой, не удержусь от соблазна передать вам кое-что из близкого, что сейчас окружает меня. Помните сынишку моего, о котором я говорил вам вначале, что сорок девушек выбрали его старостой: он теперь кончил свою школу и готовится в «вуз». Я прочитал ему эти письма к вам и просил его высказаться о романе Алпатова с Иной Ростовцевой, а по возможности представить мне, как отнеслась бы новая молодежь к моему рассказу. Он ответил мне скоро, что лично его рассказ очень волнует, и верней всего потому, что он догадывается немного и о моей личной жизни, но современной молодежью такой рассказ не будет понят, они скажут: «Это не любовь, а только воображение». Долго мы спорили, он приводил мне множество примеров реальной любви в современности, и я каждый раз доказывал, что все его случаи тоже основываются на воображении, только в сторону нежелательную для творчества на земле хорошего, сильного и умного человека. Но, сказав так, я испугался плена своих лет: ведь все отцы, часто в юности называющие себя материалистами и реалистами, в отношении своих детей потом становятся идеалистами. Итак, очень возможно, что и эти новые реалисты, чурающиеся воображения в любви, готовят для своих детей какой-то новый идеальный сюрприз. Отбросив в сторону дурные возможности в современности, я стал вместе с моим сыном искать тот хороший смысл его реализма, из которого потом каким-то образом получается «идеализм», и мы вместе с ним решили, что этот реализм есть настойчивое требование современной молодежью новых форм быта, согласного с новой необыкновенной эпохой.

— Но тогда, — сказал я сыну, — мы с тобой далеко не ушли друг от друга: у нас в этом тоже не было примера и каждый решал эти вопросы по-своему.

— Почему же, — спросил меня сын, — эта Ина у тебя все как-то не дается Алпатову и убегает?

— Уверю тебя, сын мой, — сказал я, — что чувствую себя в рассказе не больше, как маленькой шестерней, через которую перекинут ремень от огромного маховика; я ничего не выдумываю: Ина должна убегать от Алпатова.

Я сделал уступку сыну, принимая во внимание обыкновенную склонность молодежи к натуральным законам.

— Я представляю себе, — сказал я, — что творческая сила природы, ставшая личным делом отдельного человека, преобразается, но не изменяет общим законам, Ина должна бежать от Алпатова потому же, как в клетке для спаривания животных самка долго бега-

по кругам и не дается самцу. И в брачном полете птиц всегда она стремительно летит впереди от него, и он ее догоняет. Вся разница с нами состоит только в том, что у них не обращают никакого внимания на тех, кто погиб в непобедимом стремлении каждого, размножаясь, продолжать свое бытие: роман животных кончается браком. В человеческом же мире, я так понимаю, чувство жизни разнообразней и тоньше, чем у животных, свадьба у нас не единственный конец, напротив, любовный пробег человека по земле интересуется нас, как и его смертный пробег.

После этих слов мой сын глубоко задумался.

Друг мой, эта справка с современностью дает мне еще большую смелость отдаваться своему воображению, потому что я убедился, отцы не передали нашим детям готовых форм брака, матери в революцию променяли на хлеб приданое своих дочерей, и в этой пустоте быта мечты и сны Алпатова реальны и найдут своих толкователей.

Бывают повторные музыкальные сны, которые никогда уж больше не привидятся, если хоть раз попробовать их рассказать даже самому близкому, или записать: в словах уходит сон навсегда от себя и больше не возвращается. Вот почему, наверно, так все боятся писать о самом близком и дорогом, почему, наверно, и так редки подлинные поэты. Но эти, отпущенные на волю слова, сами становятся, как люди, часто вмешиваются в дела и переменяют отношения. Вот так и Мина совершенно иначе встретила Алпатова после того, как он намекнул ей о своей необыкновенной любви. Его слова о своем самом близком хотя и показались молодой женщине шуткой, или поэтическим сном, но не прошли даром, и она с играющей улыбкой на своем лице почти дружески спросила его:

— Как у вас дела идут, господин Алпатов, нашли вы свою невесту?

Алпатов грустно ответил:

— Нет, добрая фрау Шварц, моя невеста сегодня уехала в Иену, и даже адреса мне своего не оставила.

Мина всмотрелась в Алпатова и поняла, что невеста не выдумка. Она тоже серьезно и задумчиво сказала:

— Не тужите, пожалуйста, не тужите, радуйтесь, что ваша невеста уехала из этого военного каменного Берлина. Иена—моя родина, это чудесный маленький городок, и русскую фрейлейн вы там сразу найдете.

Потом она рассказала о какой-то Зеленой Германии. Там, в Тюрингенских горах, покрытых милыми лесами, всегда окутанными фиолетовой дымкой, расположились маленькие города, в которых живут садовники, эти города не враждуют с природой, и люди там очень добрые, совсем не такие, как в Пруссии.

Когда Мина сказала слова Зеленой Германия, Алпатову смутно что-то вспомнилось, но только этой ночью во сне он догадался, что это было: это Зеленая Германия явилась ему, как Зеле-

ная Дверь, сон, повторявшийся, как ему казалось, тысячи раз. Зеленая Дверь всегда являлась ему в куще деревьев, обвитых хмелем, закрытых внизу высокой непомятой травой. И он должен идти в эту дверь, не задевая ни одной травинки, не тревожа ни одного жучка...

Весь этот сон был музыкальный, мелодии всякий раз были те же, и такие отчетливые, что каждый раз тут же в конце являлось решение непременно их пропеть. Но каждый раз неизменно все попытки пропеть ему не удавались. Очень возможно, что те, кто утром, отправляясь на службу, иногда насвистывают какую-нибудь общеизвестную мелодию, заменяют этим свою невозможную. Но Алпатов при всей своей музыкальности был человек с неверным слухом и, кроме того, собственная мелодия казалась ему такой прекрасной, что и в голову ему не приходила возможность отсвистать вместо нее что-то другое. Вместо этого ему хочется двигаться, что-то переменить, что-то начать. И так «пройти в Зеленую Дверь» превращается наяву в решение ехать в Зеленую Германию, и как можно скорей.

А Мина и не сомневалась нисколько в Алпатове: она с вечера уже решила, что жилец ее непременно утром поедет в Иену, кое-что испекла даже для фрау профессорши Ниппердай, у которой долго служила. Она уверяет Алпатова, что фрау Ниппердай непременно в тот же день, сегодня же, разыщет ему невесту: ведь она же и ей помогла выйти замуж за Отто.

В передней Мина, прощаясь с Алпатовым, настаивает:

— Нет, вы так забудете, вы запишите на бумажке фрау Ниппердай и завяжите на память себе узелок.

Алпатов завязал узелок и еще раз пожал руку доброй женщине. И, выйдя на улицу, он не забыл поглядеть наверх, и угадал: Мина была у окна. А потом, на повороте, когда он в последний раз посмотрел, там во всех этажах на балконах хозяйки в белых передниках развешивали под действие солнца и ветра пуховики и ночное белье, из-под крыши махала ему Мина белым платком, а внизу щетками чистили, поливали асфальт, и всюду пахло водою и камнем.

Рахманный лесник

Сон о Зеленой Двери еще не совсем отлетел, когда Алпатов из окна вагона, набитого рабочим людом, женщинами с огромными корзинами, увидел покрытые фиолетовым лесом отроги Тюрингенских гор. В этих горных лесах было столько простого, к чему так легко привыкать, и такого заманчивого и похожего на сон о Зеленой Двери, что Алпатову захотелось обнять одного чистого старика из Саксонии, сидящего на корзине, и в этот самый момент, наконец, он отгадал значение одного немецкого слова, сказанного о саксонцах Миной при расставании. Она своих земляков назвала *gemüthliche Sachsen*, и Алпатов весь день искал в русском языке подобного слова:

добрые, простые, уютные—все было не то. Но когда ему захотелось обнять лесника, покрытого добродушными саксонскими морщинами, он вдруг догадался, что значит по-русски немецкое слово: саксонцы рахманый народ. Этот лесник рассказал Алпатову, что в Иене все хорошо, много садов, и всяких плодов, и в лесу на каких-то хвойных кустах есть совсем маленькие синие ягоды, они очень рот освежают в жаркое время, и квас из них в Саксонии делают прекрасный. А когда лесник в свою очередь поинтересовался, зачем Алпатов едет в Иену, то было так легко и просто сказать ему о невесте и что он прямо из вагона отправится искать адресный стол.

— Не надо время терять,—сказал рахманый старик,—ваша невеста остановилась, наверно, у фрау профессорши Ниппердай.

— Ниппердай!—воскликнул Алпатов,—но как же вы догадываетесь, что невеста моя у профессорши?

— Очень просто,—ответил лесник,—Иена небольшой город, иностранцы все останавливаются у фрау Ниппердай: у нее комнаты с окнами в горы. Я живу там недалеко от нее, нам по пути, я вас провожу, и вы непременно найдете невесту.

А вишни уже поспедали, и когда Алпатов с лесником очутились на дороге-аллее из фруктовых деревьев, и некоторые спелые ягоды, висающие над самой боковой тропинкой, стали заглядывать прямо в рот, то Алпатов с восторгом узнал в этом волшебные рассказы в детстве о европейских дорогах-аллеях. Одна спелая вишня была так велика, что Алпатов не удержался и погладил пальцем ее бархатную кожу. А спутник, обремененный тяжелой корзиной, заметив это, сказал:

— Кушайте, кушайте!

— Боюсь,—ответил Алпатов,—я слышал, что никому нельзя трогать придорожные фрукты.

Старик до того удивился, что даже опустил на землю корзину и присел отдохнуть.

— Кто это вам наговорил,—сказал он,—мы не трогаем сами, потому что нам незачем: у нас почти у каждого есть свой сад. Но вас я очень, очень даже прошу: кушайте на здоровье. Ведь и саксонцы тоже бывают в России, и, наверно, там тоже едят. У нас довольно всего такого, прошу вас, не стесняйтесь несколько, и кушайте, сколько только вам хочется.

Были на пути еще аллеи из груш, яблонь, каштанов и слив. Оставалось уже немного до леса, и показался уже шпиль дачи профессорши Ниппердай, но лесник упросил Алпатова свернуть немного в лес с дороги полюбоваться замечательной тюрингенской ягодой.

Они прошли немного лесом до полянки с кустами, и тут лесник указал обыкновенные голубые ягоды можжевельника, которыми в России питаются тетерева. Алпатов хорошо знал их по запаху, но никогда не приходило ему в голову попробовать. Ягода оказа-

лась сладковатой, и рот наполнился ароматом леса. Старик заметил, что Алпатову понравилось, и он сказал на прощанье:

— Кушайте, сколько только хотите, это очень рот освежает, а потом идите вот по этой тропинке, мне вот сюда надо, в эту сторону, а вам туда, к невесте, она живет там, вон там!

Б е л а я ш а л ь

Очень хотелось Алпатову побыть одному среди высоких деревьев, слегка шумящих вершинами, но вечерело в лесу и необходимо было искать ночлега. Он пошел по тропинке, не думая, что усадьба профессорши находилась так близко. И как-то вдруг деревья расступились, и Алпатов очутился среди клумб против террасы, на которой ужинало много людей. Его оттуда заметили и, видно, все стали с удивлением ожидать выходящего из леса. Но скоро он не мог подойти к террасе, потому что не было ни одной прямой дорожки, мало того, он попал в лабиринт, и пришлось даже вернуться назад. Все это очень смущало Алпатова, ни разу еще не бывшего за границей в образованном обществе. Лица на террасе долго не определялись, и только уж когда он был совсем близко, глянула на него властная старушка в сером платье. Алпатов снимает шляпу, приветствует фрау Ниппердай. Он—русский турист, ищет себе комнату для ночлега. Профессорша просто ответила:

— Я сама догадалась, что вы ищете пансиона, есть одна свободная комната, прошу вас к столу.

И Алпатов попадает в непрерывный поток небольших тарелок с копчеными рыбками, с маслом, с сыром, колбасами, с хлебом белым, сладким, черным кислым и каким-то еще кисло-сладким. Каждая тарелочка приходит с любезным пожалуйста и на это постоянный ответ благодарю, и самому надо проводить непременно с пожалуйста и себе остается благодарю, и только взялся за вилку, является новая тарелочка и ее опять надо вежливо встречать и провожать. По всему большому круглому столу не столько едят, сколько угощают, благодарят, и так бегут непрерывные данке и битте. Алпатов, однако, очень скоро определяется в этом потоке, ему вспомнилось, как по торжественным дням к его матери приходила старая дьяконица Евпраксия Михайловна с подрастающей дочкой Нюрой, и сидела с ней рядом на стульях возле стены, а потом за столом обе сидели ни живы, ни мертвы, приглядываясь к другим: как все, так и они. Алпатов смирился до дьяконицы, и в немецком обществе это как раз и надо было, чтобы показаться воспитанным молодым человеком из хорошего общества. Фрау Ниппердай, очень довольная, сказала:

— Как это счастливо вышло, только сегодня выехала от нас очаровательная русская девушка и уступила свою комнату милому земляку.

— Разрешите узнать ее имя?—спросил Алпатов.

— Имя ее, — ответила хозяйка, — фрейлейн Ина Ростовцева.

И когда потом улыбнулась хозяйка, и все улыбнулись, и Алпатов с недоумением поглядел, профессорша объяснила:

— Вы сказали свое «а х!» совершенно так же по-русски, как фрейлейн Ина, мы все учили ее выговаривать по-нашему, гортанно, и она никак не могла. Но почему же вы сказали при ее имени «а х!», разве вы ее знаете?

— Я с ней встречался в России.

— Она рассказывала нам много чудесного, как в России девушка иногда идет на свидание в тюрьму к неизвестному ей заключенному, будто его невеста, и что она тоже ходила, и у нее есть жених, с которым она виделась только раз через двойную решетку, и она ждет его теперь сюда. Это было очень похоже на роман Вальтер-Скотта.

Алпатов успел овладеть собой и ответил:

— А мне кажутся такие романы скорее в духе Шехерезады, тысяча и одна ночь.

С этим все согласились, и один филолог даже пытался подтвердить это фактами влияния арабской культуры на славянскую в древности через торговые сношения в низовьях Волги.

После ужина фрау Ниппердай сама ведет Алпатова показывать ему комнату, самую большую и светлую в ее пансионе. Заря еще не совсем погасла, в огромное окно виднелись холмы, покрытые лесом, и, увидев их, Алпатов решился спросить фрау профессоршу, куда же уехала фрейлейн Ростовцева?

— Вы, русские, удивительные люди, — ответила профессорша, — вы можете к поэтическим вымыслам, всяким художественным и музыкальным образам относиться так же, как мы к деловой действительности: фрейлейн Ина, главным образом, желает повидать зал на Вартбурге, где состязались певцы Волфрам и Тангейзер, ее интересуется история Веймарского герцога, повидимому, гораздо больше, чем современного дома Гогенцоллернов или Романовых, а в заключение своей поездки она хочет повидать в Дрездене Рафаэлевую Сикстинскую мадонну и некоторые шедевры венецианцев.

Фрау Ниппердай хотела, кажется, еще что-то рассказать о дальнейших планах счастливой русской фрейлейн, но вдруг вскрикнула и всплеснула руками:

— Фрейлейн Ина забыла у нас свою прекрасную шаль!

— Не беспокойтесь, — ответил Алпатов, — в Дрездене-то я уж, наверно, увижу ее, а может быть, догоню еще раньше и передам ей эту шаль непременно, будьте покойны.

— Так, значит, и вы тоже хотите ехать поэтическими следами нашей истории? Какие вы счастливые люди! — сказала профессорша.

И, пожелав новому жильцу покойной ночи, вышла из комнаты. Алпатов запер дверь на ключ и долго рассматривал старинную шелковую, белой гладью шитую, шаль.

Ступенчатый сон

Бывает, приснится желанное и совершенно невозможное в жизни, и так страстно во сне прирастает к себе, что, пробуждаясь, не сразу расстаешься с видением, а постепенно спускаешься к действительности, как по лесенке в холодную воду. Алпатову еще в раннем детстве, повторяясь потом не один раз, снилась березка с золотыми гармонично звенящими листьями. Он подходит к певучей березке, и на память берет себе несколько золотых листиков. После того, он спускается на одну ступеньку и тоже видит во сне, будто пробудился, и оказывается, что в действительном мире не бывает берез с золотыми поющими листьями. Однако рука что-то нащупала в кармане, сердце забилося надеждой: вот пальцы уже определили предмет, и только страх перед новым обманом запрещает вырваться из груди ликующей радости. Вот в руке, наконец, сверкает золотой листок, и хочется стремительно бежать к людям скорей, как можно скорей объявлять им существование чудес на земле, означающих в то же время почему-то спасение мира, полное избавление от Кашеевой цепи несчастных, заключенных и осужденных всюду в поте лица добывать себе хлеб, и в болезнях рождать новых и предвечно проклятых людей. А после великой радости сон спускается еще на одну ступеньку, и все обнажается: в жизни не бывает певучих берез.

В эту ночь Алпатов видел новый ступенчатый сон. Рахманный саксонец, будто бы, показывает ему прикрытую кустом можжевельника тайную тропинку в лесу, и говорит ему: — «Идите, мой господин, туда, ваша невеста там, вон там». По этой тропе Алпатов идет недолго, показывается знакомая Зеленая Дверь, закрытая тончайшим сплетением трав, через которые надо пройти, не задев ни одной. И вот оказывается, нет никакой трудности пройти между травами и не согнуть ни одного цветка, не потревожить ни одного жучка: нужно только для этого отказаться от всякой выгоды для себя. Оказывается, оставлять выгоду сзади себя, по ту сторону Зеленой Двери, очень легко, и обыкновенный страх перед этим — великий обман. Выгодное, — это значит мелкое, совершенно лишнее, а большое свободно проходит между травами, обнимая их, как воздух, не шевеля ни одного лепестка на цветах. А на той стороне все те же самые можжевельники, сосны, ели, тропинки, луговые цветы, и только одним она отличается от обыкновенного мира, что растет музыкально, все совершается музыкально, везде вокруг естественная музыка, которой с таким трудом подражают в обыкновенной жизни, прodelывая смешные движения локтями и пальцами. Невеста приходит...

Сон обрывается. Остается только слабое воспоминание о какой-то вещи, оставленной невестой у него на руке. Но из этого маленького воспоминания мало-по-малу разгорается великая радость, потому что ведь не очень трудно жить и страдать, если знать по ка-

кой-то вещице о волшебном музыкальном мире, существующем в простых вещах. Вот она, белая шаль, он ее видит, она перешла в жизнь из музыки. Кажется, нет никакого сомнения, но все-таки лучше проверить и спуститься еще на одну ступеньку. Так он спускается все ниже и ниже, а шаль остается. Вот он уже ясно слышит голоса за стеной и в коридоре, узнает даже голос профессорши, понимает, что это на веранде кофей готовят...

В этот раз Алпатову так и не пришлось спуститься с последней ступеньки, и в жизни осталось, как во сне: в огромном окне сияли холмы Зеленой Германии, на голубом великом небе плавали спокойными кругами два коршуна, на некрашеной сосновой стене висела большая белая шаль...

Зеленая Германия

Не приходила в голову нашим школьным учителям, заставлявшим нас знать на зубок хронологию, такая простая мысль, что время изменяет себе самому через одно, много два поколения, и события в нашем внутреннем глубоком сознании перестраиваются у иных в разумный порядок, у других по музыкальному смыслу. Давно ли мы все представляли себе Германию сытым чванливым жандармом Европы, утверждающим себя превыше всего. Теперь после Великой войны время так переставилось, что кажется, если рыться в архивах истории, распределенных в нашем сознании, то военная Германия, может быть, окажется на более отдаленной полке архива, чем Германия Зеленая.

Алпатов, однако, и в то время не обратил никакого внимания на Германию военную, о которой тогда с возмущением говорили все либеральные люди. Он смотрел в Берлине на жизнь по линии лучших возможностей, главой государства был ему Бебель, а не Вильгельм, господствующими классами не юнкерство и буржуазия, а только пролетариат. И когда он обернулся в прошлое страны, в провинцию, то на первый план у него выступил не Бисмарк, объединивший все провинции, а Веймарский герцог с поэтами Гете и Шиллером. Волшебная шаль в баульчике, прикрепленном к рулю велосипеда, приглашала русского юношу дивиться земле Зеленой Германии, каждый аршин которой был любовно преображен человеком.

И кто, кроме русского человека, задавленного невозделанной землей, мог бы так понимать по контрасту величие преобразующего труда человека не гениального, а самого обыкновенного, которых в России презрительно называют обывателями. Ведь там только врагам говорят скатертью дорога, призывая этим как бы чудесные силы для избавления от врага. Там врагу желают прекрасной дороги, только чтобы он поскорее убрался, а друг осужден всю жизнь тащиться по невылазной грязи. В Германии для всех дорога была скатертью по всей стране, и так было прекрасно катиться по

ней на резиновых шинах, так чудесно было остановиться под тенистым деревом и оглянуться с восхищением на преображенную землю. Алпатову казалось, будто библейское проклятие человека— осуждение на подневольный труд— относилось только к России и туда, в черноземный центр Великороссии, был низвергнут из рая первый Адам. Сколькo слышится там жалоб человека, осужденного обрабатывать землю в поте лица, сколькo там стонов женщины, рождающей в муках детей, иногда прямо в полях или на поскотине. Казалось, самому богу наскучили жалобы, и он создал второго Адама, но русская глина не могла дать лучшего, и новый Адам опять согрешил и опять был низвергнут на землю, которая была уже вся занята первым Адамом. Тогда, на удивление миру, в стране бесконечных степей и лесов появился новый человек, безземельный русский крестьянин, возмущенный на бога: осудил обрабатывать землю, а землей обошел...

С первых проблесков сознания казалось Алпатову, что проклятие, осуждение на подневольный труд значило одинаково для всего человека на земле, и вот он стоит теперь под деревом и видит своими глазами, что не особенный, избранный божией милостью, человек, а самый обыкновенный, нашел в труде не проклятие, а свободу и радость.

Алпатов когда-то воспитал еще себе теоретическое презрение к жизни немецких фермеров и крестьян. Так выходило, что это—самая косная часть населения, закоренелое мещанство. Но теперь оказывалось, что вожди социализма говорили условно, все равно, как в евангелии условно говорится: «раздай имущество», для тех, кто чем-то обладает и хочет достигнуть более надежного счастья, как тоже говорится: «оставь отца и мать», конечно же, тем, кто любит родителей, кому очень трудно их оставить... И тоже хорошо говорить о высшем социалистическом труде там, где люди умеют обходиться с землей, полюбили обыкновенный труд, победили заповедь проклятия...

Что-то мелькало Алпатову теперь еще не совсем ясное, над чем потом, он знал, придется много-много подумать. Волшебная шаль преобразила предметы, и мещанская страна превратилась в прощеную землю, Зеленую Германию. Казалось, вдальи везде синели леса, но когда к ним приближался, то все оказывалось рощами, сажеными рукой человека. Везде были рощи между полями, но в этих саженых лесах птиц пело гораздо больше, чем в огромных диких русских лесах, и время от времени через лесные поляны перебегали настоящие дикие козы. Но самое главное, что люди, работавшие на полях, все делали с удовольствием и с таким достоинством, будто и не слыхали никогда об унижительном проклятии.

Мало-по-малу все перекинулось и на себя самого: раз он теперь в прощенной стране, то и он может принять участие в ее ра-

достях, пусть временно, пусть, как гость, но хоть временно, а все дай сюда, и потому долой все прежнее: худа от этого нет никому.

Кажется, мечты романтиков до сих пор остались фиолетовой дымкой над лесными Тюрингенскими горами. Белая дорога, как волшебная шаль убегающей невесты, вьется между горами. Русский юноша пьет холодную воду из ключа, возле которого шли пилигримы и своим пением напоминали Тангейзеру его рыцарский долг. Вот и зала на Вартбурге, где состязались певцы, и Волфрам пел о вечерней звезде. Алпатов добился своего, ему здесь сказали: невеста его здесь была. А в Веймарском парке он бродит по тем же аллеям, где Гете бродил, и читает по-немецки вслух его «Ифигению». Новый смысл открывается ему в знаменитой трагедии на месте ее происхождения. Ифигения была в своем роду проклята, но своей волей, разумом, милосердием разбила Кашееву цепь. Так и вся Зеленая Германия: ее преображенная рукой человека земля значит победу над библейским проклятием.

Из Веймарского парка можно по тропинке спуститься в крестьянский трактир и за кружкой пива читать весь день том натурфилософии Гете, купленный в лавочке за несколько пфеннигов. Алпатов поглядывает, читая, время от времени на фиолетовую дымку германских лесов, и ему кажется, что такого ничего не бывает в России. Большое облако подплывает к горе, и в тот момент, когда встречается с горой, вдруг является весь смысл прочитанной книги. Впрочем, он знал, конечно, это и раньше, да не смел выразить, а вот в книге нашел подтверждение: эта книга была о внутренних чудесах жизни. Ведь с чем было большее всего расстаться, — это с чудесами, когда явился на это запрет, как на обман: что мир в шесть дней сотворен, что Моисей мог добыть воду из скалы ударом жезла, что жезл Аарона процвел. Но вот теперь, если признать законы естественные, как необходимые берега, то внутри берегов течет река чудес, и сотворение мира в законах эволюции не лишается прелести чуда, и, конечно, тоже можно понять и воду Моисея, и цвет Аарона, и так все: только перенести чудо внутрь закона, и чудо начинает свою собственную жизнь, и музыкальная сказка обращается в самый глубокий закон жизни...

Алпатову казалось, что он нашел у Гете себе целый новый мир, и никак не приходило ему в голову, что и самого Гете ему открыла волшебная шаль, заключенная в баульчике, привязанном к велосипеду, и в то же время раскинутая необыкновенно ровной, как скатерть, дорогой.

Волшебная шаль, соединенная с натурфилософией Гете, обещает Алпатову чудеса не только в этих тенистых аллеях, а и в самом черном труде. Почему бы ему вот прямо не подойти к этому великану с синими помочами поверх белой рубашки и не расспросить его о творчестве чудес Зеленой Германии? Великан-садовник

что-то делает с большой кучей навоза. Алпатов сходит с велосипеда, кланяется. Великан ждет.

— Я иностранец, — говорит Алпатов, — я очень интересуюсь, как в Германии обходятся с навозом.

— Ах, это очень интересно, — говорит великан.

Садовник вполне понимает интерес Алпатова, и это понимание кажется русскому юноше совершенным доказательством, что внутри законов природы живут сказки и чудеса.

А великан с большой охотой и радостной гордостью рассказывает о своем простом деле: из этой большой кучи навоза ночью стекает жидкость в бетонную канавку — это драгоценная жидкость. Каждое утро жидкость надо вернуть навозу, и она потом снова стекает в канавку и опять возвращается.

— Это золото прошлого, — сказал великан, — и мы его охраняем: от нашего ухода навозу бывает очень хорошо.

Алпатов схватился за эти слова: он по-немецки еще не может просто понимать слова, и часто они у него одушевляются, как в раннем детстве свои родные слова, ставшие только долго спустя в привычке обыкновенными.

— Вы сказали, — спросил он, — навозу бывает хорошо от вашего ухода, как-будто навоз может чувствовать?

Великан улыбнулся иностранцу:

— О, конечно, навоз может чувствовать!

И, немного подумав, прибавил:

— Сначала навозу бывает хорошо, а потом и человеку, потому что это известно, если хорошо навозу, то и хозяину потом бывает хорошо.

Вот и все, что Алпатов узнал от садовника, но ему и в этом было не мало. Теперь, на что только он ни глянет, ничто от него не отвертывается и не упрекает, как на родине. Прекрасная, совершенно белая дорога по зеленым полям, ровные канавки возле дороги, плоды на деревьях, свисающие до самого рта, красивые коровы, среди которых ходит и египетский Апис, рабочие кони-великаны с огромными телегами, перелески с поющими птицами, белые двухэтажные дома в деревнях и, главное, сама земля, возделанная, удобренная, с верхним бархатным слоем, — все говорит по-своему:

— Мне хорошо и потому хорошо человеку!

Сикстинская мадонна

По всей Зеленой Германии везде в отелях от служащих девушек, в ресторанах от кельнеров, и от проводников по горам, и от старика в домике Шиллера Алпатов узнает о русской девушке, прекрасной, веселой и щедрой. Были ответы на его вопрос «когда проехала?» сначала «позавчера», потом, когда он весь день просидел над книгами Гете и отстал, ему ответили «третьего дня» и опять он нагнал, и на горе Венеры барышня, торгующая открытками, сказала:

«Русская фрейлейн проехала позавчера, накупила множество открыток, долго писала в беседке и поручила отправить на почту». После того Алпатов почти не сходил с велосипеда, и на Эльбе ему сказали на пристани: «Русская фрейлейн вчера проехала в Дрезден, и ее сопровождал молодой швед».

— Как швед? — удивился Алпатов.

А сам смотрит на дорожку, усыпанную желтым песком, туда далеко, где на скамейке под каштанами, кажется ему, молодой швед целует какую-то барышню.

— Это не она! — сказал Алпатов.

— Вы можете точно узнать в отеле, — ответили на пристани. — Там все иностранцы расписываются в книге.

Долго роется Алпатов в книге, но не может найти желанного имени. Его уверяют, что русская фрейлейн вчера здесь обедала.

— Одна? — спросил Алпатов.

— Совершенно одна.

Алпатов очень обрадовался и подумал: «Ну, теперь уж я, конечно, найду ее, если только она заглянет в музей посмотреть Сикстинскую мадонну».

День ли удался такой в природе яркий, или у людей был какой-то праздник, или этот праздничный город, как вечно зеленое растение, был сам по себе предназначен для вечного праздника? Алпатов, входя в Цвингер, среди множества людей в богатых одеждах, вдруг вспомнил одну, забытую было им, прочитанную в раннем детстве сказку-поэму о юноше Нолли и какой-то девушке, разбившейся о скалу в радостном порыве жизни. Юноша несет на руках любимую девушку, а везде в воздухе пролетают весенние духи радости и зовут принять участие в великом празднике, и никто даже не понимает его земную скорбь. Кто был автор этой волнующей сказки, Алпатов не помнил, как иной и великий художник не помнит, что все его искусство произошло от волнения, испытанного им при нечаянном взгляде на какой-то лубок, как не помнит поэт и писатель свое начало от нескольких слов, схваченных в бульварном романе, и композитор от шарманки, и великий человек от пары проникновенных слов, услышанных им в детстве от неграмотной нянюшки...

Весь огромный музей предстал Алпатову, как воспоминание сказки, и чудом казалось, что ту же самую сказку переживали все художники с далеких времен. И он шел из одной залы в другую очарованный и как бы пьяный от постоянных рассказов в красках и линиях одной и той же своей собственной сказки. Он не обращал никакого внимания на множество празднично разодетых людей, среди которых, может быть, бродила где-нибудь, рассматривая тех же голландцев и венецианцев, его невеста. Если же случа-

лось ему оторваться от картины и бросить взгляд на живое лицо, то в свете живописи лицо это определялось какой-нибудь школой, встречались лица фламандской школы, голландской, венецианской. Рубенс, Ван-Дейк, Тициан распределялись в живой толпе на лицах людей, как на стенах. Но зачем было собирать в толпе пятна отраженного творчества, если на стенах висели оригиналы великих творений? И потому не было ничего странного в том, что юноша узнавал свою невесту по какой-то детской сказке в картинах великих мастеров и совершенно забыл, что она, живая, бродит где-нибудь тут возле него. И когда он нечаянно вошел в комнату, назначенную одной только Сикстинской мадонне, то сразу узнал в ней что-то очень знакомое и совершенно простое и прекрасное. Подумав немного, он вспомнил: это было в жаркий день на опушке дубового леса, жнея подошла к люльке, висевшей под деревом, взяла ребенка, стала кормить, и осталась в памяти святая, как и мадонна Сикстинская...

Такое простое внутреннее чудо, такое обычное, ежедневное почему-то выходило на картине бесконечно значительным, и вся картина была большая, как океан. Похоже было с Алпатовым, как если бы странник, долго мучительно путаясь в тропинках по тундре, совершенно усталый выбрался на последнюю скалу берега и вдруг увидал океан...

Алпатов не заметил в первое время, что по стенам этой комнаты были красные диваны и что на них сидели люди, смотрели на картину-океан. Некоторые из этих людей уходили домой после звонка только затем, чтобы переночевать и потом на другой день опять глядеть в простое и бесконечное. Алпатов это заметил вдруг, и ему стало очень стыдно ходить по комнате и невольно попадать между картиной и чьим-то глазом. Он высмотрел себе свободное место, и опять, рассматривая мадонну, стал вспоминать святую жнею, чудесную бабу под Ельцом, у колыбели под дубом. Так в этот день странным образом сходилась все к одному: в Ифигении открывался человек, победивший проклятие свое, а картина Рафаэля раскрывала естественную невинность людей...

Потом в комнату вошел какой-то человек и остановился перед картиной так же, как и Алпатов, не замечая, что должен мешать сидящим на диванах. Но Алпатов не посмотрел на вошедшего и только с досадой чувствовал его близость. Скоро он привык к этой тени в глазу, но тень перешла и о себе напомнила. Она странствовала из стороны в сторону и раздражала все больше и больше. Некоторые стали с досадой оглядываться на тень, и кто посмотрел на нее, почему-то уже долго потом не возвращался к картине. Алпатов, заражаемый всеми, тоже поглядел на человека, бросающего в глаза тень, и, как только глянул, тоже забыл о картине: странствующий по комнате человек был его друг Ефим Несгоров. В первый момент Алпатов подумал, что сходит с ума, — до

того невероятным было ему встретить Ефима у Сикстинской мадонны. Казалось, века прошли с тех пор, как он в тюрьме целые ночи перестукивался с Ефимом, и за эти века так сложилось поновому, что Ефим вдали где-то в России представлялся самым дорогим на свете существом, а вблизи было почему-то за него стыдно и даже не хотелось бы совсем его тут встречать... А когда Алпатов через какое-нибудь мгновенье убедился окончательно, что это Ефим, то ему мелькнула даже мысль незаметно удрать из музея, но он тут же себя на этом поймал и перемог силу беспричинного отталкивания. Ефим был такой же, как в России, в черной косоворотке, опоясанной тоненьким ремешком, в яловочных, не имеющих блеска смазных сапогах, с лицом святого разумника, с улыбкой от глаз без помощи щек переходящей на губы. Мелькнуло Алпатову при виде Ефима что-то зазорное в себе, такое новое, за что он, может быть, еще и постоит и даже вызовет Ефима на бой... Вот Ефим был в Цвингере такой же, как и в Ельце, а у него в одной петличке цветок, в другой жетон стрелкового общества, и там, в баульчике, волшебная шаль, и в голове постоянный образ невесты, переменчиво мелькающий в картинах великих художников. Ефим, очень может быть, в это время и творение Рафаэля старался подогнать в цепь причин и следствий монистического взгляда на историю...

Все это мелькнуло в одно мгновенье, как неприятное ощущение чего-то слишком домашнего, но в следующее мгновенье он смахнул с себя это и встал, чтобы радостно броситься к другу. Но раньше Алпатова к Ефиму подошел наблюдатель и попросил его оставить музей.

— Вы можете, — сказал он, — дома переодеться и вернуться: времени у вас еще довольно.

Ефим улыбнулся по-своему.

— В каком же костюме, — спросил он, — надо появляться у вас в музее?

— В каком угодно, — ответил наблюдатель, — такое постановление администрации: каждый посетитель должен быть прилично одет.

В это время подошел Алпатов и, обнимая Ефима, сказал:

— Все дело, Ефим, в крахмальном воротничке, пойдем купим, ты еще не привык к этому.

Потом они вышли на лестницу и, спускаясь, Ефим осмотрел Алпатова и сказал:

— Зато как скоро ты привык, совсем неузнаваемый.

Алпатов покраснел, Ефим это заметил и улыбнулся.

— А, впрочем, — сказал он, — по существу ты все такой же, у тебя все на лице написано.

— Ты знаешь, — болтал Алпатов, чувствуя, как все больше и больше деревянеет язык, — в Германии все так дешево.

— Знаю, — ответил Ефим.

— Тут, — продолжал Алпатов, — все так устроено, что и рабочий может нарядиться.

— Едва ли, — промолвил Ефим.

— Как едва ли? Есть крахмальный воротничек за две марки, но есть и за пять пфеннигов: тоже блестящий белый воротничек, конечно, бумажный, но....

— Все-таки бумажный...

После того, Алпатов не знал, что сказать, и шел, как привязанный на цепь, убежал бы охотно, да не мог: Ефим молчал и держал.

И так они перешли Эльбу. А потом Ефим совершенно спокойно, очень возможно и не чувствуя неловкости Алпатова, спросил:

— Ты зачем здесь?

Но Алпатов не мог так оставаться и вызвал своего старого друга, он сказал то, что в России считал самым отвратительным для революционера:

— Я занимаюсь эстетикой.

— Эс-те-ти-кой, — повторил отдельно Ефим.

И засмеялся по-своему отдельно глазами и губами. Алпатов любил, когда Ефим так смеялся над кем-то, но первый раз с отвращением и ненавистью узнал на себе силу этой улыбки без помощи щек.

— Как же это ты занимаешься эс-те-ти-кой? — спросил Ефим.

Алпатов ответил:

— Я сегодня видел...

Он хотел сказать Сикстинскую мадонну, но злость прилила к его сердцу, и он выговорил:

— Я видел мать божию...

Ефим стал очень серьезным и ничего не сказал.

Они прошли немного по бульвару молча. Потом Алпатов спросил:

— А ты учиться приехал?

— Да, между прочим, и учиться медицине в Берлине.

— Зачем же ты в Дрезден попал?

— По одному делу.

— А я видел, как ты мадонну рассматривал: мне казалось, ты искал под этой необыкновенной идеологической надстройкой экономический базис.

— Нет, я не об этом думал, — ответил Ефим серьезно и почти грустно, — в тюрьме я пережил охоту к этой нашей юношеской марксистской схоластике, я думал о другом.

Он остановился в проходе бульвара и сказал:

— Я живу в этой маленькой гостинице, там во дворе есть сад, давай пообедаем. Я тебе там скажу, о чем я думал.

Алпатову стало полегче и, когда кельнер принес, не спрашивая согласия, пива, ему захотелось снова болтать, и он стал об-

яснять Ефиму значение немецкого выражения Bierzwang — это значит принудительное пиво, хочешь, не хочешь, а пей. Выдумывая, Алпатов стал рассказывать историю происхождения этого принуждения, оно, будто бы, явилось из Пруссии, как сопутствующее явление объединения Германии и централизации власти.

Ефим перебил болтовню:

— Ты что-то вертишься и как-то задираешь, мне вспоминается жених из «Дыма» Тургенева, как он тоже вертелся, когда влюбился в Ирину, и вдруг к нему явилась прежняя невеста и теща. В чем дело? Что с тобой произошло? Почему ты разоделся, сидишь среди буржуазии и смотришь на мадонну, как сын?

Алпатов весь сжался для борьбы и ответил:

— Сознайся, Ефим, ты ведь тоже пришел посмотреть на мадонну, и ты по-своему смотрел с большим любопытством и, если бы не твой костюм, то имел бы время заметить, как ты мешал другим, и тебе непременно пришлось бы сесть на красный диван, и ты бы тоже смотрел на мадонну. Тебя тоже, как и всех, тянет к себе мадонна.

— Меня тянет, — ответил Ефим, — я тебе сейчас постараюсь сказать обещанное: меня тянет затаиться где-нибудь под одним из диванов, на которых сидят созерцатели мадонны, дожждаться звонка и перележать там время, пока уйдут сторожа, а потом вырезать мадонну и уничтожить.

Алпатов опустил глаза и бледный тихо сказал:

— Я мог бы за это убить.

Ефим стал в упор смотреть на Алпатова и спросил:

— А можешь?

— Я могу постоять за свое, — ответил Алпатов. — Помнишь у нас, в Задонске, мы не раз с тобой говорили об этом; рыжий мужик захотел по примеру Христа вознестись с колокольни на небо, бросился и разбил себе ноги. Он погиб бесславной смертью, но я предпочел бы бесславие рыжего мужика, чем бессмертную славу грека, уничтожившего храм Дианы.

— Ты вспомнил рыжего мужика, — ответил Ефим, — вспомни же основного безумца, который сказал: «разружьте храм сей, и я его в три дня снова создам», ты как понимаешь эти слова?

— Понимаю просто: Христос о себе говорил, что идея его бессмертная и, если его убьют, она будет исполняться в другом.

— Тогда почему же боишься так за мадонну, что готовишься за нее убить живого человека? Если ты уверен, что в ней заключается великая идея, то она непременно возродится в том классе, где станет рабочей ценностью жизни, а не предметом созерцания ослабленных людей на диванах. Мне кажется даже, что человек, выпивающий яд красоты женщины из картины, не узнает ее, когда встретит живую мадонну.

— Я узнал! — воскликнул Алпатов.

И рассказал, что первая мысль его при встрече с картиной была об одной жнее, в жаркий день кормившей грудью своего ребенка.

— Я прав, — ответил Ефим, — ты встретил жнею до мадонны и потом узнал мадонну в жнее. Сикстинская мадонна только напомнила тебе твою собственную, живущую в грязи под Ельцом. Но если бы ты вперед встретил Сикстинскую, то не узнал бы в деревенской бабе мадонну. И вполне понятно: ты бы тогда вперед жизни забежал и возвращаться тебе бы стало неинтересно, все равно как мужик, соблазненный фабричным трудом, у нас никогда не может вернуться к земле.

— Плохой пример, — поймал Алпатов Ефима, — никуда не годится — я видел немецких мужиков: их ничем не соблазнишь, наши плохие земледельцы, потому и соблазняются.

— Отличный пример, — вступился Ефим за свое, — не надо только придирается к словам и переливать из пустого в порожнее. Жизнь и моя и даже самого маленького революционера из рабочих дороже этой величайшей картины. В моем примере я фабрику представил, как мужицкое небо, а жизнь, как землю. И вот эту роль неба играет здесь мадонна. Ее песенка спета давно, все хорошее от нее переместилось в жизнь, и остался на холсте только идол искусства. Потому жизнь маленького революционера и дороже этого идола, что в его крови обращается подлинная мадонна. Посмотри же вокруг себя, какие жалкие, расслабленные люди облепили идола, в одежде рабочего нельзя даже там показаться. Все эти лентяи нашли себе в мадонне счастливый выход, блаженную палестинку для забвения от обязанностей к человеку. Вот и ты даже стал говорить мать божия, когда, наверно, задумал пошалить с какой-нибудь бабенкой.

Алпатов потерял равновесие, побледнел и пробормотал:

— Я вижу, ты серьезно решаешься...

— Успокойся, — ответил Ефим, — у меня обязанности есть по-серьезней: я не трону твою картину, ты можешь спокойно заниматься эстетикой. Я тебе только хочу напомнить наше решение. Помнишь? Мы согласились взять на себя долг акушеров и облегчить роды нового мира.

Алпатов не мог ничего сказать и потупился. Ефим встал.

— У меня дело, — сказал он, — завтра я уезжаю в Берлин. Ты зайдешь?

— Не знаю, — ответил Алпатов.

— Не здесь, а в Берлине?

— Не знаю же.

— А я знаю: ты зайдешь, с тобой что-то происходит, и мадонна тут не при чем.

Алпатов вспыхнул. Ефим на прощанье сказал:

— Мы с тобой акушеры, мы должны человеку пуповину от бога отрезать.

Петух в корзине

После разговора с Ефимом все переменялось Алпатову на улицах саксонской столицы, не звучала ему больше музыкальная сказка, и лица людей не удивляли сходством с оригиналами великих художников. Он был очень смущен и чувствовал, что вступает в какой-то круг, заключающий в себе самое страшное. Вы это поймете, друг мой, если от Сикстинской мадонны я перекинусь к более позднему, к другой картине. Напомню вам пережитое сравнительно в недавнее время. Какой-то итальянец, как всегда в этих случаях говорят, безумный, украл из Лувра Джиоконду и затаил ее у себя. В ответ на этот отважный поступок человека, влюбленного в картину и страстного итальянского патриота, фабриканты туалетного мыла, конфет и пудры всех стран во многих сотнях, тысячах, а может быть и в миллионах, воспроизвели Джиоконду на конфетах, мыле и пудре, и распространили по всему свету загадочный лик женщины Леонардо. Благодаря этим картинкам на коробках, в столицах показались женщины, изображающие из себя Джиоконду, потом такие же дамы и в губерниях и, наконец, в глухих городках: была костромская Джиоконда, и харковская, и киевская, и даже звенигородская, везде—в театрах, в садах, на волжских пароходах, и на всех дворянских улицах—можно было встретить дам с поджатыми губами и таинственной улыбкой. Не помню теперь, сколько времени пропадала настоящая Джиоконда, но только находка ее далеко не произвела того эффекта, как пропажа, как будто каждый уже удовлетворился своей провинциальной Джиокондой и тайну ее про себя разгадала. Но, вспоминая это, невольно думаешь: а что если бы веселый женский бульвар усвоил бы действительно страшный смысл красоты женщины Леонардо и этим подменил бы свою обыкновенную любовь? Если бы это случилось, мне так представляется, в один бы миг, как при коротком замыкании, перегорели бы все пробки жизни, и весь веселый бульвар в этой любви сгорел бы, как в крематории. К счастью весельчаков, бульвар не подчиняется страшному в красоте, напротив, приспособляет ее для своего удовольствия, обеспечивая нам отдых на лавочке под каштанами или спокойную прогулку на пароходике.

В летнее время такие пароходики на Эльбе похожи на большие плывущие букеты цветов, до того много на их палубах девушек, разодетых в цветное. На одном из таких праздничных пароходов, между женщинами всех стран, сидит Алпатов, будто петух в корзине, разглядывает статуи и колоннады чередом следующих на берегу дворцов, не обращает никакого внимания на женщин, не думает, что одна из прекрасных девушек, сидящих возле него, может заменить ему Ину Ростовцеву, такую неясную, что едва ли он мог бы ее даже узнать в этом букете всех наций. А между тем его давно уже все рассмотрели, и лицо его, и

шляпу, и ботфорты туриста. Одна немочка в прозрачном голубом шепнула своей подруге в прозрачном розовом о петухе в корзине, и та ответила:

— Он и правда похож на петуха, знаешь, которому проводят по носу мелом, продолжают по полу, и он потом, не шевелясь, смотрит на эту черту.

Девушка в голубом серьезно всмотрелась в загипнотизированного петуха и сказала:

— Он очень интересный, и, мне кажется, такой гипноз его возвышает.

Девушка в розовом ответила:

— Да, и я думаю, что возвышает, но вместе с тем почему-то и унижает.

— Занятно, почему это так, — сказала голубая, а розовая решила разгипнотизировать интересного петуха.

Обе встают, прогуливаются. Голубая тихонько напевает Лорелею, розовая будто совсем нечаянно роняет платок на колени Алпатову.

Голубая видела: Алпатов, продолжая смотреть на черту, уходящую в бесконечную даль, все-таки заметил у себя на коленях что-то белое и, приняв это за неисправность в костюме, одним быстрым движением руки отправляет белый платок за ботфорт. Голубая шепнула об этом розовой, и миг голубая и розовая барышни стали совершенно красными. А на другом борту полосатая, как зебра, с фазаньим хвостом в шляпе француженка даже руками всплеснула, и тоже все видели, все поняли, но и виду не подали строгие англичанки в сером, все до одной с маленькими букетами незабудок.

Алпатов попрежнему сидел и смотрел на черту.

Конечно, будь тут вблизи остановка, обе затейницы могли бы выйти на улицу и там освободиться от приступа смеха, но тут на пароходике даже и места их скоро заняли и неминуемо им, сделав круг, придется вернуться к Алпатову. Девушки бросаются лицами к мачте и там умирают. Но француженка их понимает, она хочет умирать вместе, бросается к ним туда и объявляет:

— Я все видела!

Девушки поднимают на полосатую француженку глаза, полные слез, но спасительница, метнув на Алпатова быстрым французским глазом, шепчет:

— Кончик платка торчит из-за ботфорта и можно попробовать вытянуть.

Но тогда обе девушки, не жалея прозрачного голубого и розового, умирая, ложатся на канат. И улыбаются даже строгие англичанки в сером с небольшими букетами незабудок.

Алпатов очнулся, оглядел себя и вынул платок.

— Вынул, вынул! — воскликнула полосатая француженка с фазаньим хвостом.

К счастью пароход приставал. Девушки, не оглядываясь, бросаются к трапу. Выходя со всеми, Алпатов с удивлением находит себя в тесноте среди шляп и делает маленькое открытие для себя, что на шляпах все больше русские птицы. Тут были хвосты от кавказских фазанов, и крылышки тундряных куропаток, и султан из лиры хвоста косача, и хохолок белой цапли с Каспийского моря. Было и много цветов, незабудки, ромашки и розы, и у одной на голове целый луг из желтых бубенчиков, и в одном из бубенчиков, как в природе бывает направленное к носу жало осы, тут была острая, направленная в глаза стальная игла...

Пробуждение

На берегу сходящих с парохода дам встретили дамы, желающие прокатиться, получился водоворот, похожий на китайскую игру цветов. Кто-то взял Алпатова сзади за руку возле плеча, он обернулся, но взявший за руку увернулся, скрылся в толпе, снова взял Алпатов, приготовленный, схватил за руку, обернулся, и увидел Нину Беляеву с поднятой вверх зеленой вуалью.

— Я долго смотрела на вас,— сказала Нина Беляева,— и ужасно смеялась. Можно ли быть таким рассеянным, покажите платок.

Алпатов очень обрадовался Нине, вдруг ему стало так спокойно на душе, как бывает, когда из города после долгой работы приезжают на отдых в деревню к родным.

— Я теперь понимаю,— сказал он,— почему вас в институте звали Чижиком.

— А я не понимаю,— ответила Нина,— почему вы петух, скажите же, кто вас загипнотизировал?

Они болтают. И много им, русским, находится слов для болтовни в маленьком саксонском Вавилоне. Под конец они покупают себе еды и отправляются чай пить у Алпатова в комнате.

— Никогда бы я себе там у нас не могла представить, что так скоро можно сойтись, как мы с вами,— сказала Нина, удобно устраиваясь на диване возле круглого столика.

Алпатов сидел возле нее на кресле и отвечал на ее слова:

— Мне сегодня день показался за год, и я не знаю, чем бы он кончился, если бы не пришел такой спокойный конец от встречи с вами.

— Я это заметила еще на пароходе, когда все смеялись: с вами что-то происходит, что это?

— Не знаю, волна несет, и не могу определиться, как в море на лодочке.

— Очень понимаю, но для себя я нашла: я поеду учиться в Лейпциг к профессору Рейну педагогике, ведь мне так или иначе придется сделаться учительницей в женской гимназии, мне это гадалка предсказала, и я пойду навстречу этому: буду учиться у Рейна— и потом в Тулу, или в Орел.

— Почему же теперь-то вы в Дрездене?

— Я приехала посмотреть Сикстинскую мадонну, сегодня видела, а завтра в Лейпциг.

— Я тоже видел сегодня, — ответил Алпатов — удивительно, как мы не встретились. Мне картина показалась большой, как океан, и все смотрел бы, смотрел...

— Мне было то же самое.

— Потом встретился мне старый друг из России, и говорит мне:—«Меня тянет затаиться под диваном и, когда все уйдут, изрезать картину». Вы понимаете это?

— Очень понимаю, мне тоже перед сном иногда приходит в голову самое невозможное, и я завертываюсь с головой под одеяло: иначе ни за что не засну.

— А я сказал ему, если бы он изрезал, я мог бы убить за это.

— И я бы тоже могла.

Алпатову стало досадно, зачем он все это говорит институтке.

— Вам ничего нельзя сказать, — бросил он раздраженно, — все как-будто уже вперед вы знали, и все пробежало у вас в голове фантастически и без всякой задержки для поступка. Смольный, что ли, вас так подготовил?

А Нина даже обрадовалась и словам и досаде Алпатова.

— Вот вы теперь, — сказала она, — совсем меня поняли, я фантастическая, и потому я решила, что непременно буду учительницей в Туле или в Орле, в этом уж нет ничего невозможного, это вполне основательно, и если я это достигну, то буду, как все.

В это время в дверь постучали и потом внесли кипяток. Алпатов берет свой баульчик: там сохранилась еще четверка настоящего русского чаю. Но пакетик оказывается на самом дне, глубоко под шалью. Алпатов шаль вынимает, кладет ее временно на стол, заваривает чай у другого столика, а Нина в это время с удивлением разглядывает, развертывает...

Алпатов стоял спиной к Нине, когда она его спросила:

— Каким образом попала к вам шаль Ины Ростовцевой?

Нина не могла заметить, что рука у Алпатова дрогнула, и много у него пролилось кипятку мимо чайника. Он долго молчал, и Нина повторила вопрос:

— Каким образом к вам попала шаль моей подруги?

Алпатов ответил, не обертываясь:

— А разве эта шаль принадлежит Ине Ростовцевой?

Потом с чашкой в руке он обернулся к Нине и продолжал:

— Вот как удивительно сошлось, что шаль, оказалось, принадлежит вашей знакомой, она забыла ее в Иене, и мне поручили разыскать ее и передать, но я совсем забыл ее имя.

Он вернулся назад, как-будто за другой чашкой, и оттуда спрашивает:

— Эта Ина Ростовцева теперь находится в Дрездене?

Нина ответила:

— Мы с ней вместе сегодня были в Цвингере, а потом я проводила ее на вокзал: она уехала в Париж с одним шведом.

Алпатов уронил кусок сахара и долго искал его на полу, а потом вернулся на свое место пить чай, и Нина ничего не заметила.

Немного спустя, Нина, однако, с удивлением спрашивает, почему он стал таким бледным и такой задумчивый, как на пароходе.

— Мне одна мысль пришла в голову, — ответил Алпатов, — я хочу идти сейчас к своему другу и предложить ему свои услуги. Мы уничтожим Сикстинскую мадонну.

Нина как-будто не очень удивилась и даже обрадовалась чему-то, и с большим любопытством спросила:

— А потом что вы будете делать?

— Потом?—ответил Алпатов,—потом мы постараемся человеку совсем отрезать пуповину от бога.



Ход коня

Поэма

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

1

1. Серою тенью город видений
Снасти летучих голландцев.
Чайки, чайки... Тонут в воде они,
В сером тумане валандаются.
2. Мокрую рыбой, рыбой вареной,
Вокруг собора излившись,
Купленной пеной торгует Лившиц,
Дундуканаки — ворованной.
3. Но сверху по лестнице к морю сбегай,
В пляж, где ветер бальный, —
Здесь, разыгравшись волною пегой,
Паруса дуют купальни;
4. Здесь, оборвавшись, прибой мается,
Воя в виолончелях;
Пенясь, хохочет зубами мамыца,
Бьет из бутылок в челюсть;
5. Здесь над испариной, в шуме обрыва
Летают седые брови,
Здесь горло глядит фонарями рыбы,
Рубинами в пуши бобровьей; *)
6. Здесь в городе бань, гимназий и земщин
Ночь приоткроем многое —
И пахнут икрой и плещут у женщин
Чешуйчатые их ноги.
7. О, этот город, штормы и юмы
Солнечного крематория!..
В тебе отшипела пенная юность,
Пелась и билась которая.

*) Цепочка для воротничка.

8. В тебе загоралось именем «Лиза»
Над океаном созвездие,
Покуда гадали далёк или близок
Враг. И какие вести...
9. Однако д келу. От старого пляжа,
Минуя собор и отели,
Идите прямо, покуда не ляжет
У ног ваших тень ели.
10. Пересеките ее, — это сквер,
Довольно, впрочем, нарядненький,
Где каменный памятник скифских эр,
Изображающий всадника,
11. Ослеплым ликом сереет на юг,
С копьем, с шеломом, с гривую,
При чем конское брюхо являет вдруг
Сентенцию игривую.
12. Теперь мы с вами условимся так:
Начиная от брюха лошади,
Держитесь надписей «Ней-дурак»,
И так дойдете до площади.
13. Тут вы увидите белый дом,
Который роится и ульится;
Тут вы услышите тембр домр
И гам на четыре улицы.
14. Это у моря под ветром тугим
Жужжала наша гимназия:
Аврамов — здесь! Богаевский, Бугин,
Здесь! Деревянченко, Джазиев.
15. Иванов — здесь. Иванов, Иванов,
Кац, Кобылин, Красницкий, Линеин,
Ломбух, Маев, Медведев, Неянов,
Ней.
16. Осипов, Рубчев, Сизеев, Саакэн,
Терек, Уздечкин, Цапкин, Шемякин,
Чижов 1-й, Чижов 2-й,
Яппо и Яровой.

17. Нет, не забыть нам этого часа
В пятом часу воскресенья.
Мы принимали тогда участие
В беженцах и рассеянных.
18. Маев пускал свой голос ореховый,
Лиза — контральтную медь:
Мы репетировали Чехова,
Ставили «Медведь».

19. Маев капризничал, был неуступчив;
А мы стояли у печки:
Я, Богаевский, кажется, Рубчев,
Иванов и Уздечкин.
20. Мы сплетничали, или «чистили тешку»
(Хотя и сами не слеза),
Что Пупс нарочно влез в актеришки,
Чтоб целоваться с Лизой А.,
21. Что Маеву дали б очков до тыщи,
Что стала кривлякой Верка,
Что тут, вообще говоря, атмосферка
Герундия и тощищи.
22. Вокруг мирно паслись полушария
И биографии рыб;
Красницкий готовил: «Татьяна Ларина
Как идеальный тип».
23. Иванов и Цапкин играли в гривны,
Зеленые, как былина;
Ней, как водится, подбирал рифмы,
Бубнили губы Кобылина.
24. А в окна плыла перспектива аллеи,
И в самом центре сквера —
Камменный воин с гривой на шее,
Изрытый ноздрями и серый.
25. Итак — классы и сосредоточенность.
На потолке — окурочок.
А в это время четко и точно
Над городом встал куроч:
26. Четырехбашенные суда,
Седея в морской сери,
Языками кумачей серии *)
Плыли из тумана сюда.
27. И дав по статуе первый салют,
Провывший у шлемного купола —
Эскадра уставилась бельмами слюд,
Слушая в медные дупла.
28. Был дѐм, идеальный как круг,
С коридором длиннее Нила,
Ползущим, как гусеница, вокруг
И черным, как чернила.
29. Был дѐм с кубами дров,
Дом, конопаченный на зиму —
И вдруг с якорей рванулась гимназия
Свистами двух ветров.

*) Вымпелы.

30. Гербы и шинели, шинели, гербы,
Улица сизая по-гимназически;
Дымом в море дула бьёт
Молодость классическая;
31. Белая гвардия в 20 минут,
Море серое как глетчер;
Кони, орудия топчут и мнут
Пляж и нервы, и вечер...
32. В горы, в леса, кипарисовый, буковый!..
И городок оробел;
Луна свисала сабельной буквой,
Где зорко торчал воробей.
33. И вот, и вот, потрясая гимназию,
Едут на дырах, облитых медью —
Кто бы вы думали? Эка оказия!
Джазиев-Бек *) и Медведев.
34. Сердце и без того стало гирькой,
А тут еще в этой цветной карусели
Джазиев, завидя нашего «лирика»
Крикнул: «Трусы — осели?»
35. И Ней не вытерпел. Голос бубна
Дрожал из гортани князя.
О, Лермонтов! — и третью бубну
Выкинула гимназия.
36. А два броненосца ждали на рейде,
Чернея в вечерней сини
И в очередь салютовали — скорей-де
«Румыния» и «Евфросиний»!
37. И через час на черных машинах
Катали матросы в бомбах;
За ними в тачанке на паре мышиных
Кац, Иванов и Ломбух.
38. И с шапкой на ухо, отпетый,
Попридержав на секунду,
Иванов, с пафосом крикнул поэту:
— Граф! Я уезжаю в Мордезундию.—
39. И Ней не вытерпел. А через два —
Рейд опустел. По традиции
Над глобусом моря едва-едва
Дымились морские птицы.

2

40. И город остался без сапог,
Оружия и власти.
Сначала Ней бежал в запой
И объявлял: «Вылазьте!».

*) Бек — князь.

41. И собрались. Потом прошли,
В базар играя на домре;
Присев у жаровни ели шашлык,
Который был перцем сдобрен;
42. И Ней, покуда звонил звонарь,
Плясал чеченские танцы,
И кто-то вывернул фонарь
У дома № 15.
43. Но нет — во всем этом что-то не то,
Была какая-то робость,
Покуда комнатой гнедой,
Не выехал автобус;
44. Покуда с жаброй железы
Не вылез на паперть нищий,
Покуда не подняли жалюзи,
Курортные магазинища.
45. И Ней был счастлив: — Свобода, о, да,
Пусть одой гремит каприз мой!
Отныне, отныне везде и всегда,
Он — лирик анархизма.
46. Был целый ряд запретных слов:
«Любовь», например, «соловей».
Но куда деваться от соловьев
Очарованной голове,
47. Если в черемухе под зарей
Его поцелуйный звон,
Если лирический пузырек,
Картавит из горла вон?
48. Так пенься же лиры святая вода,
Твой соловей признан.
Свобода, свобода... Свобода, о, да,
Пусть одой гремит каприз мой.
49. Спросите любого — он рад? Угу:
Хоть день, хоть час без бонн,
Аптека тотчас издала радугу
Мелкоразменных бон,
50. Стенная газетка печатала таксу
Товарообменных плат:
Пуд муки — Толстой и такса,
Обувь — пара цыплят.
51. Город точно влетел за границу —
Мир появлялся заново.
Тайну жандармского гранита,
Сменил театральный занавес...

52. И мы, как юродивые на панели,
Кудахтали в тихом смехе.
«Город солнца» Кампанеллы
Стал историческим эхо.
53. Вот только бы так, наивным, как шар,
Носить в кобуре коготь,
Дышать и чувствовать эхо. Дышать,
И — никого не трогать.
54. Вставать еще на зау, заутрени,
Грудь твоя расперта,
И удивляться и внешне, и внутренне
Закрывая рта. —
55. И шляться, точно засахаренный —
Как есть политический ноль.
Споешь себе «боже царя храни»,
А — надоест — «Карманьоль».
56. И никто ничего. Ущипни меня —
Где же будочник? Где грузовик?
Назови-ка меня по имени,
По имени назови-к!
57. А потом мы сидим за трапезой,
Мама, папа, да я,
В орлах самовара, на крапе зорь,
Пузатится наша семья.
58. И пока старики гадали о том,
Какая-то будет орава нам —
Ней сидел с напряженным ртом,
И думал о самом главном:
59. Истории нет. Есть летопись,
И расписание часов.
А жизнь — ведь это же лета писк
Из сусличьих усов;
60. А жизнь — ведь это из роз чирик,
Из раковины гул...
А если хотите — и росчерк,
Кровавый росчерк в снегу.
61. Какой же теперь философией,
Системой, скажите, какой,
Объяснить Вам этот покой,
Этот вечерний кофе?
62. Кофе с халвой и с условием,
Что браунинг заряжен,
Что больше его не словите
Протекцией всяческих жен,

63. Что никакой не грозитя толстяк,
Что нет за душой ни копыя,
Что статуя плещет золотой стяг,
В бойке своего копыя.

3

64. А утром опять шинеля на гвозде,
И снова жужжит гимназия.
Аврамов — здесь! Бугин — здесь!
Богаевский — нету. Джазиев!...
65. И снова зубрежка и барственный нос,
Играющих в перья задних,
И «Личность и государственность
По повести «Медный всадник».
66. И, как попечитель, пришел комиссар:
— Товарищи! Вы — юные —
Вы доживете, и с вами сам,
Этот скиф первобытной коммуны.
67. В ту ночь над морем сырая луна
Была красна, как солнце;
Но в шумном обрыве лежал туман,
И не было горизонта.
68. В ту ночь истерический плач луны,
Стоял над пустынной дачей,
В ту ночь над морем сырая луна
Казалась сложной задачей.
69. Из грустных окон разыгранный Лист
Звенел осенней печалью;
Лежал на дорожке медный лист
Рыцарскою перчаткой.
70. И Ней бродил во тьму и назад,
Базар — городская Дума,
Базар — аллея, и снова базар,
И думал, и думал, и думал.
71. И сел на скамью — и трепет к лицу.
Как ныл его бедный разум!
И смял окурок о пепельницу
Листа, осевшего рядом.
72. Что жизнь ему на этой земле?
Не просто ли дохлый аквариум,
Где нам на дне подлыгаться и млеть,
А воды — прожорливым тварям?
73. Но в сущности не одно ли и то ж
Какое тряпье на башне?
И долго ли думать — возьми, подытожь
Сегодняшний день и вчерашний:

74. Шпорой царапался офицер,
Комиссар мушку завязил —
За что же? За что? За то, что я сер,
Что смею жить без связей?
75. И Ней поднял в тоске лицо —
Но вдруг отпрянул назад:
Глядели круглые, как колесо,
Каменные глаза.
76. И статуи окаменелый буран,
В своей катастрофе языческой,
Вздыбился. Из кратеров — «Ней-дурак»
Летели в метельные вычески.
77. То скифский наездник, держа древко,
Оставил цоколь каменный,
И буквы «неграмотных» и «Ревком»,
Как волосы рвались со знамени.
78. И всадник, величественный как собор,
У самой скамейки высился,
С плывущего облака за собой
Падая, точно на виселице;
79. И Ней — «Ревком» — бежать —
«неграмотных»...
... Но куда бы ни ринулся лоб —
Пред ним повсюду каменный памятник
Боком с цокотом шел в галоп.
80. Но чем дальше и дальше гранит мостовой
Дикой скалою бит —
Тем музыкальней и тоньше звон
В стеклянных стаканах копыт;
81. И каменный конь, облитый луной,
Алюминием отлинял,
И паузного ритма было полно,
Безмолвное поле коня;
82. Синкопное поле труднейших ходов
Сквозь воздух слоенных лет,
Где в тонком танце светлой водой
Крутился его силуэт;
83. Где, уменьшаясь-аясь-ясь,
Резьбой морских коней,
Идет в карьер, идет крутясь,
Точкой болотных огней.
84. И мраком во тьме закружилась чета
А воздух, как прежде, спит...
И только ритм сердца считал
Топот его копыт.

Две республики

П о в е с т ь

А. АРОСЕВ

(Окончание¹)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

З е м л я

Кропило вращался в среде интеллигенции. Он не любил этих людей как раз за то, что в каждом находил немного себя. Но, как и все эти люди, не любящие никого, кроме себя, он принужден был непрерывно показывать свое состояние души, и поэтому непрерывно искал, кому бы это показывать... Так были связаны люди, взаимно презирающие один другого...

В соседней комнате с художником жил румяный, белоусый и бесшабашный мужчина. По удостоверению, которое он имел на предмет квартирной платы, это был юрисконсульт какого-то хозяйственного учреждения. По вопросу о неуплотнении его—он был инструктором кружка физкультуры при районном совете. На предмет подоходного налога он служил курьером в каком-то кооперативе. Для общегражданского спокойствия состоял членом профессионального союза работников искусств (Всерабиса). И, наконец, в целях репутации, он имел внушительную пачечку мандатов, сшитых в одну тетрадку, оставшихся у него после службы в Красной армии, главным образом по усмирению банд кулацко-крестьянских. Но так как всякий человек должен есть (физиолог Павлов утверждает, что это самый сильный инстинкт, сильнее страха потерять свою собственную жизнь), то этот веселый мужчина занимался спекуляцией на черной бирже и, кроме того, время от времени выступал в судах как член коллегии правозащитников. Но и это ремесло не приносило ему столько, сколько нужно для того, чтобы быть непрерывно веселым. У этого человека в потенции пока что, но была все же ставка—и крупная ставка—еще на одно отчаянное дело.

¹) См. „Новый Мир“, № 10 с. г.

Это-то последнее и толкнуло его на завязывание дружбы с Кропило. Как-никак, а ведь художник-то бывший эмигрант, и у него могли быть связи.

Когда-то сосед Кропило служил офицером в старой армии. Отличался буйством и кутежами. Революция застала его на румынском фронте. Офицер немедленно примкнул к большевикам, если не формально, то по сочувствию. Затем он вошел в Красную армию, как командир-спец. На фронтах, а в особенности при усмирении бандитов, он отличался безумной храбростью и дерзостью. Это была даже не храбрость и не боевая дерзость, а некоторый душевный недостаток: отсутствие чувства страха...

Он показал себя таким в самом первом своем деле: при разоружении анархистов в Москве. Он командовал отрядом красногвардейцев и красноармейцев в одном из переулков Арбата, против особняка, где засели анархисты. Анархисты, однако, расположились почти по всему кварталу в домах и стреляли, казалось, отовсюду. Операция происходила ночью. Перестрелка, хотя и энергичная, не приводила ни к каким результатам. Тогда он, не предупреждая никого (дело было под утро, когда начинало чуть брезжить), неся впереди себя два маузера, направленных дулами на особняк, отчеканивая бодрый военный шаг по асфальтовой мостовой, двинулся один к особняку, скомандовав предварительно своему отряду прекратить стрельбу. Он шел под градом пулеметного и ружейного огня анархистов, оставаясь невредимым, будто заколдованный. Подойдя ближе к дому, крикнул: «Эй, вы, трусы, выходи, переговорим по-товарищески». Из ворот особняка вышли двое анархистов. У каждого по два маузера, направленных в храбреца. Они долго кричали, стоя на месте, ему, чтобы опустил он оружие, угрожали стрелять и требовали не подходить к ним близко. Но храбрец, обозвав их еще раз трусами, смело подошел к ним вплотную и заявил, что хочет говорить. Они его попросили зайти с ними в особняк...Он, крикнув своим через улицу последнее приказание: «Не стрелять!», скрылся с анархистами в их штаб. Через полчаса он возвратился к своему отряду, веселый и победный: анархисты согласились на его уговор сдаться (он запугал их, что откроет орудийный огонь и похоронит их всех под обломками, чего, разумеется, он сделать никак бы не мог, так как у него не только не было орудий, но и пара пулеметов давно уже не могла работать за отсутствием лент). В других операциях он отличался такой же храбростью. Но и пересаливал. Так, во время борьбы с бандами Антонова в Тамбовской губернии он перед расстрелом выжигал у бандитов на лбу пятиперстную звезду. За это он был судим и приговорен к расстрелу. Но, приняв во внимание его боевые заслуги суд смягчил ему наказание, заменив расстрел пожизненным заключением. Внеочередные, очередные, праздничные, предпраздничные и послепраздничные амнистии через какие-нибудь полгода сделали его свободным. С тех пор он пошел по гражданской службе.

Вот почему, когда он перед Кропило развивал самые советские идеи и называл себя «беспаспортным» большевиком и воином советской власти, он был очень искренен и говорил почти правду. (Ведь в жизни нет чистой правды, как нет чистого золота: в жизни она всегда с лигатурой!).

Кропило не любил спорить, но его приятель как-то так всегда шумно и много все восхвалял, что Кропило стал поддаваться возбуждающему действию соседа.

— Эх, друг,—сказал ему сосед однажды,—и охота тебе, право, голодать! Ну, начни ты рисовать и х портреты. Переломи себя: это дело хлебное. Ей-богу, ты не плохой портретист! Займись, намалюй вождей. И деньги будут, и всякое удовольствие, и вхожешь... А это, брат, пригодиться может. Ты знаешь, я ведь горячо верю в советскую власть и люблю ее.

— Как я могу их рисовать, когда я не вижу среди них великих?.. Этаких особенных, увлекательных!..

— Вот тебе на — нет великих: люди управляют целой страной...

— Вот именно: управляют. Управляют, во-первых, не они, а наши лапти. Управлять вовсе не значит кого-то вести за собой,—наоборот, значит уметь следовать за волей народа. Робеспьер думал, что за ним идут, потому что он исповедует хорошие идеи, а за ним шли потому, что он до поры до времени выполнял чью-то массовую волю. Наши Робеспьеры тоже все свои успехи приписывают своим идеям или умению... Глупость: лапти-то самые и есть вожди... По старой эмиграции у меня есть один приятель—самый первый человек в одной из автономных республик. Однажды он подпер лицо свое рукою, да и говорит мне: «Эх, Андрей, Андрей, ты думаешь—легко страной-то управлять?» Я ему просто в лицо рассмеялся...

— А Ленин?

— Ты чудака! Значит, ты ничего не понял из моих слов. Да разве не ясно, что в период деятельности таких творческих натур, какую я считаю Ленина, общежитие, называемое нами государством, перестает существовать, как таковое. Оно превращается во что угодно, только не является государством. При Петре Великом это—военный лагерь, при Наполеоне это—сплошная армия, при Ленине—стан инсургентов. Хотел бы я видеть такое государство, которое выдержало бы всю огромную и неукротимую стремительность Ленина. Разве Ленин укладывается в какие-нибудь государственные рамки? Нет! Деятельность таких людей фактом своего существования отменяет государство, сознают или не сознают это сами творцы. Однако, в конце концов, побеждает государство, со всем своим грязно-мундирным аппаратом. Ведь всякую идейную борьбу человека или группы людей побеждает, лучше сказать—подъедает всемогущее, вездесущее и тайно-образующее мещанство... Государство есть наиболее массовая организация мещанства...

Слушающий хотел-было перебить увлекшегося художника, но тот отстранил его рукой и продолжал, волнуясь и боясь оставить чего-нибудь невысказанным. А очень часто невысказанное означало для него недодуманное.

— Государство основано на принципе семьи; семья—его ячейка. Семья—вот разгадка того, почему гибли все идеи и борьба за лучшие идеалы человечества. С точки зрения нашей науки, нашего искусства, наших мыслей, нашего века семья есть звериный институт: он перестал быть человеческим. Поэтому и государственная организация есть крайне отсталый, заржавелый институт. Такой же, как религия. Недаром же государственные люди любят выставяться напоказ, придавать своему взору и жестам авторитетность, по возможности не показывать народу свою истинно человеческую сущность и больше всего боятся произнести что-нибудь такое, что по сложным соображениям несложного дела могло бы повлиять на падение авторитета. Несчастные молчаливники хотят выглядеть угодниками божьими. А ты мне предлагаешь портреты рисовать. Наш народ идолопоклонник. Показывать ему портреты государственных мудрецов, значит и д о л и з и р о в а т ь его психологию. Я сам хоть и маленькая, но все же брызга этого народа...

Белоусый собеседник Кропило вдруг как-то прищурил глаза, словно прицелился выстрелить. Неторопливо, как бы в предвкушении чего-то здобного, разгладил свои усы. Потом взял за плечи Кропило, прислонил его правым боком к себе так, что ухо художника пришлось к губам его приятеля.

— Ну, слушай,—сказал ему в ухо приятель,—значит, ты и русского царя любил, как мужик?

Кропило отскочил, словно ему прокололи ухо. Левая сторона его задергалась. После контузии под Верденом именно так выразилось его волнение теперь.

— Не беспокойся,—продолжал его резать ножами бывший офицер,—твое прошение Николаю II у меня. Могу тебе его отдать и никто из бывших и настоящих твоих приятелей по прежней работе не узнает этого. Но ты мне должен помочь. Ты, я заключаю из того, что ты наговорил только что, по убеждениям анархист. Такие-то, как ты, и нужны для одного дела.

У художника левая щека дрожала так, что он придерживал ее рукой. И вдруг в бешенстве, какого он раньше никогда не подозревал в себе, диким движением поднял стул, чтобы опрокинуть на голову приятеля. Но тот опытным движением военного отскочил. Стул упал. А в правой руке белоусого человека комком чернел черный маленький браунинг, направленный в Кропило. Секунду спустя бывший офицер подошел к прижавшемуся к стене художнику и мягко, но настойчиво проговорил:

— Брось... Дурак. Слушай, что я тебе скажу, и тогда в твои собственные руки ты получишь твой собственный грех и никто, по-

вторяю: никто, которыми ты дорожишь, ни твой приятель Андрей, ни жена твоя, не узнают про твое парижское грехопадение. Ведь от тебя, дурачина, требуется услуга той же советской власти. Хотя ты и ругаешь государство, но советской власти, как русской власти, ты неужели откажешь в услуге? В услуге России!! Я к тебе добром, а ты мне... стулом.

Так как Кропило только что высказал все свои сокровенные мысли и для выражения их сказал все лучшие свои слова, то перед своим соседом он стоял сейчас как будто не то босым, не то совсем нагим. Ему сделалось стыдно и от духовной босоты своей, и от наплыва гнева. Все еще придерживая дрожащую щеку рукой, ясными глазами он посмотрел на своего соседа и сказал:

— Прости меня... Я слушаю... Я готов...

Горная река бежит не ровно. Она то низвергается густой пеной в низины и пропасти, чтобы там потерять стремительность, обрести покой в тихой заводии, остановиться в своем порыве, то спотыкается об острые камни и скалы, чтобы быть растерзанной ими в брызги.

Так революция в грохоте войны и песен кровавым потоком низринулась в широкую низину так называемого мирного строительства. Прекратили свой рев орудия. Штыки и ружья стали блистать только на плац-парадах. И песни, не заглушаемые ничем, стали слышнее... Но песни стали иные. С ними не шли больше на смерть. С ними шли на свадьбы, на празднества, с ними встречали вновь родившихся, провожали тихо скончавшихся, с ними любили. Песня, как и в давние времена, опять начала становиться аккомпанементом любви, перестав быть, как в годину войн—молитвой перед смертью... К ней, к смерти, т.-е. навстречу вечности, люди не шли больше скопом, армиями, отрядами. Они зашагали к ней мирным, одиночным шагом.

А широка ли будет эта тихая заводь? Где же, где же, через какие пороги и крутизны жизнь опять ринется оглушительным потоком еще куда-то дальше!? Жизнь не пятится никогда.

Соланж работала с тем беззаветным усердием, с каким богомольцы с посошками мужественно поднимаются в крутую гору, не видя, что там, за ней, но думая, что там засверкают золотые кресты и маковки церковей чудотворной лавры.

Соланж переписывала инструкции и правила. Эти раз'яснения, положения, резолюции казались ей попытками направить по правильному пути куда-то отклоняющиеся случайности. Жизнь, т.-е. случайности, неслась своей чередой по одной кривой, а вдогонку ей раз'яснения, положения, резолюции, инструкции—своей чередой, по другой кривой. Первая кривая чем дальше, тем больше отклонялась от второй.

Соланж выходила в канцелярию рано, возвращалась домой поздно. Мужа почти не видела. Она не ощущала это, как недостаток. Впро-

чем, и он мало ею интересовался и сидел постоянно лицом к своим полотнищам и спиной ко всему окружающему. Глядя на его крутую спину, Соланж думала о том, какой он тяжелый, ненужный и вредный, как песок, попавший в машину. Такие размышления ее были, однако, мимолетны. То, что она делала, занимало ее всю и почти не оставляло времени для посторонних дум. На работе около американских столов, среди бумаг, среди постоянно циркулирующего потока людей, она ощущала себя участницей большого и ответственного дела. Но главный интерес ее работы заключался не в настоящем, а в том, что будет. Соланж все время казалось, что вот-вот что-то наступит великое, что-то совершится необычайно красивое... Такое чувство было тем сильнее, чем обыденнее, обязательнее была настоящая работа. Поэтому то плохое, что видела Соланж в настоящем, проходило мимо нее, не задевало.

Ее все называли товарищем и даже коммунисткой, хотя она и не принадлежала к партии. Ей доверялось многое. В ее большие, блестящие, темные и всегда удивленные глаза никто никогда не взглянул подозрительно. Все видели: живет и работает усердно, всегда на виду, всегда обладает всеми теми движениями, что и окружающие ее. Слова у нее на устах всегда те, какие надо, какие не кажутся необычными для окружающих. И ей самой приятно было, что она в ладу со всеми. Но вот странно: когда она оставалась в канцелярии на дежурстве одна, ей казалось, что она на необитаемой земле.

В припадке такой одинокости она однажды написала нежное письмо хрому французу в Париж. Она спрашивала его, почему это раньше, когда она проводила время на улице под шелестом красных знамен, утопая в звуках песен и речей, не было правил и инструкций, а цель была настолько ясной и близкой, что приходилось трепетать не от ожидания ее, а от ее свершения. А теперь вот все ждем и бесконечно намечаем только одни подходы.

Над этим словом она даже задумалась, так как во французском активном языке не было даже такого слова. Она его написала по-русски, латинскими буквами, сопроводив длинным на двух страницах объяснением.

В канцелярии за соседним с Соланж столом работал совсем мальчик - комсомолец. Его звали просто Васей. Красноармейская гимнастерка его пыжилась сзади горбом. Обмотки на тонких ногах, казалось, никогда не снимались, он производил впечатление молодого солдата, только что прошедшего пыльную дорогу в походе. Он так же, как и Соланж, сидел целые дни над бумагами. От этого Соланж не могла как следует рассмотреть его в лицо. Да и он, словно нарочно, угрюмился в ее присутствии.

Поднимаясь к себе домой на шестой этаж, Соланж увидела наверху Васю. Он, видимо, поджидал ее. Увидав его, она почему-то при-

бавила шаг ему навстречу. Это было в сумерки. Тогда цвета и краски начинают блекнуть, а контуры становятся ясными... Контур лица Васи—разглядела Соланж—тонкие и овальные. Глаза блестящие. Они как две приморских гальки сверху, с лестницы упали прямо на нее. В тот же миг Соланж ощутила, что лицо его покрыто незримым мягким пушком.

Он что-то сказал неразборчивое. Соланж поняла, однако, что он требовал не вырваться... Ей как-то стало дико быть вдруг ни с того, ни с сего в этих жарких молодых руках. И в то же время стало смертельно жаль милого Васю. Она погладила его по кудрявой голове и стала укорять, поцеловала в щеку. Вася обмяк, перестал быть острым, как летящая стрела, и так наклонил голову, что сделался похож на березку, закачавшуюся под ветром.

Он ей сказал:

— Любви на свете не бывает. А кровь моя бурлит, когда я вижу вас. Но я все-таки и думал о вас.

— Что вы думали?

— Зачем вы с контрреволюционером живете?

— Что вы!?

— Ну да, с художником. Эх, француженка, что говорить тут: дай руку. Я был на всех фронтах, я много знаю. Дай руку и бесповоротно. Я везде побеждал контрреволюционеров и на этом фронте должен его победить.

— Может быть, я плохо русский язык знаю, но ваша речь мне непонятна. При чем здесь мой муж? И разве он контр?

Вася весь вцепился в нее. Наверху, на площадке лестницы, из квартиры Соланж приоткрылась дверь, скрипнула и закрылась. Вася схватил за руку выше локтя Соланж и повлек ее к выходу вниз и все повторял: «вперед, вперед!».

Соланж по мягкости своего характера, по любви ко всему новому и необыкновенному, следовала за ним.

— Вот что,—сказал он,—я сейчас должен идти в рабфак на лекцию, а вас, милый французский товарищ, прошу мне дать окончательный ответ.

— О чем же?

— Фу ты пропасть: да ведь я же вам говорил о чем: готовы ли вы встретиться со мной для глупой красной, комсомольской любви, что ли, чорт ее подери? Или нет, лучше прямо сейчас... пойдете вот... в кремлевский садик, а лекцию я могу и пропустить...

И тут только от бессвязности речи, от торопливого стремления, которое так и сочилось из всех пор Васи, от того, что он жался и дрожал словно от холода, от того, что он ничего, ничего не знал, и от того, что кругом их, обгоняя, встречаясь, шли, спешили такие же запыленные, как он, студенты, студентки, от того, что их голосами был полон воздух, от того, что над университетом, над кремлевским садиком, над виднеющимся вдали храмом Христа Спасителя носились

с визгом, с чириканьем вечерние последние птицы, кружась в любовном увлечении, и от того, что потухший за Большим Каменным мостом закат был краснополосным, предвещающим завтра ветер, и от того, что все, что называется жизнью, есть не более, как случай, Соляндж ответила по-французски:

— Э бьен, же сюи д'аккорд..

Вася понял, хоть и не знал французского языка.

На обратном пути Вася по-озорному пел:

— А на стенах дали кремлевской стоял он в сером сюртуке.

Кропило в самом деле считал Ленина величайшим творческим гением. Кропило восхищался им, но молча и тайно, как только может художник. У него была даже мысль нарисовать Ленина. С этой целью Кропило подкарауливал свою «жертву» на митингах, собраниях, съездах, дежурил даже у ворот Кремля. И только два раза художнику удалось более или менее длительно наблюдать Ленина. Первый раз это вышло так:

Как-то утром на Ходынке взорвались склады со снарядами. От этого началось огромное пожарище. Черный дым, как лапа, высунувшаяся из земли, охватывал притаившуюся в испуге Москву. Впрочем, ей не впервой шалить с огнем. Под черным дымом огненные языки горящих складов, как красные зубы гигантской пасти, щелкали и трещали. В огне то-и-дело ухали разрывающиеся снаряды. На огромном пространстве Ходынского поля—серый красноармейский народ цепью, рядами охранял, оттеснял от огня черный от дыма московский народ.

Толкаясь в народе и бросаясь со многими другими к складам, которым угрожал огонь, чтоб их спасти, в красно-тусклом свете от дыма и огня, Кропило увидал его. Лицо его при таком свете, испещренное морщинками, было темно-розовым. Шапка—нахлобучена на брови, но все-таки Кропило заметил, что брови его рыжие и острые на концах, у висков, и заметил, что они слегка вздрагивали, когда он говорил. Толстыми, короткопалыми, усыпанными желтыми веснушками, как звездами, руками он расстегнул пальто: становилось жарко от огня. Расстегнулся и так нараспашку пошел куда-то по полю, мимо рядов красноармейцев. За ним три-четыре человека, за ними Кропило. Сквозь шагающие перед ним ноги, Кропило наблюдал походку того, кто шел впереди. Его ноги были легки на ходьбу. Хоть немного и косолапил, а все-таки ловко, без неуклюжести, однако, и не по-военному, а так, как ходят европейские спортсмены. И по походке можно было заключить, что человек этот не любит оглядываться: у людей, привыкших оглядываться,—неверная поступь. И странно: имея все возможности забежать вперед и посмотреть в испещренное и красноватое, как глина, лицо, Кропило находил большой интерес смотреть вслед этому человеку. Втолкнувшись в среду тех, которые шли за ним, Кропило

разглядел его широкую спину, хоть и сутуловатую, но слегка отброшенную назад.

Вдруг он обернулся. Но не всем корпусом, а лишь верхней частью туловища, изогнувшись в пояснице. Цепкими глазами, немного широко расставленными и глубоко сидящими, он поймал того, кого ему было надо, и сказал:

— Убережем от огня те склады и деревню?

Что-то ответили ему, и он зашагал дальше быстрее...

В другой раз Кропило его видел в Доме Союзов, на большом заседании. Тогда старый приятель Кропило по эмиграции устроил ему гостевой билет.

Художник сидел высоко на галлерее, а Ленин произносил речь внизу с трибуны.

Отчетливее всего Кропило виднелись говорившие губы Ленина. Они так двигались, так вздрагивали и верхняя губа так выпячивалась, словно он сгорал от жажды и непрерывно просил омочить губы. Временами, склонив свою лысую голову сначала направо, потом налево, он вдруг опускал глаза долу, как хитрый китайский бог, и произносил что-нибудь смешное, например:

— Мы заметили, как в переговорах с нами Ллойд-Джордж так это кругом, кругом ходил,—оратор сделал своим коротким указательным пальцем несколько выразительных кругов в воздухе,—вокруг вопроса об Интернационале. Хорошо, дескать, если бы в Москве у вас его не было, намекал нам Ллойд-Джордж. А мы ему ответили,—оратор опять склонил голову то направо, то налево, опустил ее, опустил глаза, опустил слегка вытянутые губы, сложил короткопалые руки на животе и мягко, даже жалостливо и остро выговорил,—ну, что ж, пожалуй, мы не прочь: разрешите Коминтерну устроиться в Лондоне,—кстати у нас в Москве и квартирный кризис...

Зал готов был разорваться от смеха.

А оратор опять поднял брови, заострил зрачки, поднял руки и запустил их в жилетные прорезы, опять рот сделал рупором, так, словно выговаривал одно слово: жажду—и продолжал... Продолжал не говорить, а исторгать слова.

Это были не головные выкладки и не сентиментально-сердечное лепетание, а слова из нутра, из всех кровеносных сосудов, из жил, из нервов, из костей. Из такой глубины исторгалось то, что он говорил, что, казалось, от слов шел пар. Стремление передать себя через глаза и уши слушателей было так сильно, что ни один из слушавших не мог ни о чем другом помыслить, как только о том, что слышал. И мысли, слетавшие с его рупорных уст, становились все интереснее и интереснее, острее и увереннее...

Кропило воспылал мыслью именно тут его и зарисовать. Карандаш его послушно побежал по бумаге. И так хорошо и удачно этот человек с его губами, с рыжей бородой клинышком, с усами, подстриженными на манер казанских татар, с лысиной, как солнце, с морщин-

ками, как трещины песчаных холмов, с жестами горячих рук, ложился на бумагу под карандашом Кропило, что у него сильно билось сердце и наполнялось той большой радостью творчества, какая хорошо известна всякому художнику и мыслителю, когда вот-вот подошел он к разрешению научной загадки или интересного положения. Вот-вот еще несколько штрихов—и готово, и положение найдено.

В это время оратор отступил немного от ramпы трибуны. Держа руки все еще в прорезах жилетки, высунул оттуда указательный палец левой руки и стал расстановисто сам себе дирижировать в такт вырывающимся словам...

Кропило перестал рисовать, ожидая, когда кончится непонятное ему состояние жестов. Кропило слышал речь:

— Они создали комиссию для исчисления убытков, которые причинила их гражданам наша революция...—оратор вдруг подошел к самому краешку трибуны, так что левая нога его, слегка вздрагивая носком, опиралась о самую ramпу, всем корпусом вытянулся к слушателям, склонил голову слегка направо, прищурил правый глаз и, не вынимая рук из жилетных вырезов и сделав губы фитой, тонко отчеканил:

— А мы составили свою комиссию для исчисления убытков, которые на нас нанесла их интервенция... Мы уже теперь насчитали порядочную сумму: посмотрим, кто окажется должник...

Кропило дрожащей рукой провел большой крест по тому наброску, какой он только что сделал: все, все черты этого человека, после сделанного им жеста, все это не то, не то... У Кропило был зарисован хороший заправский, распорядительный, радетельный, веселый и хитрый хозяин, а тут вдруг пахло чем-то другим. Профессор, что ли, или банкир. Нет, скорее профессор, да еще немецкого склада. Взглянул Кропило на слушателей: они все показались ему молоко-сосами, студентами первого курса, упоенные тем познавательным счастьем, какое испытывают на университетских скамьях вчерашние гимназисты. Они без затруднений и с наслаждением глотали продукты чужой огромной работы мозга. «Профессор, безусловно гейдельбергский профессор»,—думал про себя Кропило.

Хотел рисовать профессора. Еще раз взглянул на оратора.

А оратор опять стал другим. Он весь сощурился, так что глаз уже не видеть стало. Все лицо его глиняного цвета потрескалось еще многими, многими морщинами. В довершение всего оратор трагикомически всплеснул руками и воскликнул, играя веселостью своего голоса:

— Как мне жаль их,—оратор разжал руки. Правой уперся поудалецки в бок, левую приподнял, сжав ее в кулак и стал поочередно разжимать пальцы левой руки, начиная с указательного. Перечислял: —их всего четыре министра: английский (из кулака разжался указательный палец), французский (выскочил большой палец), итальянский (он соответствовал безымянному) и японский (это мизинец)—их всего

четверо, и они не могут столкнуться,—оратор раскрыл-было глаза, но опять их прищурил, выкинул-было руки вперед, но быстрым движением закинул их назад, за спину и отчеканил, негромко, а так, что слышно стало на весь мир.—А нас полтора миллиона, и мы дотолковались.

Кропило тихо, чтоб не шуметь бумагой, сложил свои два начатые наброска. Сунул бумагу в карман и стал слушать.

Под конец речи оратора можно было слышать, как пролетит муха. Слышно было затаенное дыхание массы. Были потеряны все чувства, кроме одного: чувства слуха.

Оратор закончил:

— Ты и нарядная, ты и убогая, ты и богатая матушка-Русь...

Кропило схватился опять за карандаш и бумагу, чтоб поскорее не пропустить настоящего момента. Вот, вот он, кажется, настоящий. Но нет, нет, пропустил Кропило. Отирая платком вспотевшую красную шею, оратор быстрыми шагами засеменил к комнате президиума и, прежде чем попасть в эту комнату, утонул в толпившихся около трибуны людях. В зале стоял туман от аплодисментов, криков, от оваций.

Больше не видел его Кропило. И не пытался больше облик этого человека, оставшийся у художника в голове и в сердце, переложить на бумагу: что бы он, художник, ни начал рисовать: профессора или хозяина, или банкира, или трибуна народного, или калмыка хитрого и веселого, или самого бога Пана,—все это не то, что вот этот настоящий человек!..

Omsk, le 2/XII - 1917.

Organisation monarchique
en Russie.

Votre excellence,

Les démarches que nous avons entreprises la famille royale martyr, rapportent déjà ses fruits. Nous sommes convaincus que V. E. se trouve de même au rang des combattants. Nous nous trouvons absorbés jour et nuit et relations directes avec le personnage de Haute Cour et l'aristocratie allemande.

C'est à ce sujet je prends la liberté d'adresser à V. E. la prière suivante: Votre E. daignerait-elle entrer en communication dans cette voie avec notre organisateur en chef à Petrograd le lieutenant général von Reger, dont l'adresse vous serait transmise dans une quinzaine.

Dans l'espoir que V. E. porte aussi au coeur notre avenir, veuillez bien agréer les compliments de notre chère Famille Royale.

Le maréchal de Cour, Chef de l'organisation générale Omsk — Tobolsk.

Это письмо Кропило перечитал несколько раз, прежде чем с ним поступить так, как рекомендовал ему сосед, т.-е. отправить его властям, присовокупив, как внушал ему все время сосед, что в этой монархической организации принимает участие и один из видных советских работников.

Решив сначала еще несколько раз переговорить с соседом, Кропило стукнулся к нему. Соседа не оказалось дома... Мучительно вспомнил Кропило, что у соседа на руках осталось его прошение к царю. Кто его знает, как может употребить его такой ловкий человек, как сосед... Недаром же он целую монархическую организацию открыл. Может быть, он даже чекист. Кропило подумал, что он сделает хорошо, если поступит по совету своего соседа.

Художник взял чернильный карандаш, помокал его в воду и стал писать:

«Дорогой Андрей. В Москве существует монархический заговор... Чтоб не быть голословным, прилагаю тебе письмо одного видного монархиста на имя князя N. Нити заговора ведут к немецким монархистам... Но что ужаснее всего, так это то, что в заговоре замешан, вероятно, хорошо тебе известный товарищ N, зампреда и т. д., ты сам знаешь...»

Тут Кропило немного задумался: он хотел сослаться на своего соседа, но вспомнил, что не знает его фамилии. Поэтому решил ограничиться лишь этой краткой запиской, не упоминая о соседе. О нем можно будет упомянуть потом, может быть, устно. Написав краткое донесение о монархистах, Кропило больше не мог ждать ни минуты и отправил его по почте заказным.

На следующее утро он опять постучался в комнату соседа. Но за тонкой и немного покривленной дверью, как за крышкой гроба, царило молчание.

Через несколько дней Кропило справился в домкоме. Там тоже никто не знал, куда скрылся жилец.

Кропило посмотрел на себя в зеркало и неприятно поразился: его дрожащие руки неестественно, несвойственно ему теребили, перебирали его белокурую редкую бородку. «Словно я человека убил». Все было бы хорошо, если бы не эта нелепая приписка о каком-то неизвестном даже ему, Кропило, зампреде... Художник отошел от зеркала и стал рисовать. Сначала он думал, что ему это только казалось, что в комнате холодно. А потом понял, что и в самом деле и холодно, и сыро... Железная печка еще с прошлого года стояла, как труп бескровный.

В сумерки пришла Соланж с работы.

— Что, в твоём Коминтерне не выдают еще дров?

— Выдадут в конце месяца.

— Подай-ка нож!

— Что?

— Нож подай!

Соланж не испуганно, а удивленно смотрела на него и видела, как художника все больше и больше пробирает холод: он дрожал, как лист осенний.

Кропило подошел к столу. Взял нож. Подошел к своему полотну. На нем зарисована была опушка леса. На фоне дремучего частого

сосняка, близко к зрителю сверкала ослепительной зеленью ель, вся облитая утренним солнцем.

Соланж схватила мужа за руку, в которой темнел нож, словно ангел—Авраама.

— Не надо. Я постараюсь: может быть, сегодня будут дрова...

— А из этой сосны разве плохи будут?—сказал Кропило с веселостью преступника и указал на зарисованный дремучий лес.

— Это полотно.

— Ой ли?

Кропило весело взмахнул ножом и, задыхаясь, пыхтя стал кромсать свое полотно. Прижимая свое творение коленкой к полу, он его резал, как свою жертву. Потом встал с коленей.

— Соланж, ты веришь в то, что люди будут счастливы?!

— Такие, как ты—никогда. Истинное счастье для людей, между прочим, будет и в том, чтобы не было таких!

— Так. Ну, так знай: те, кому ты сочувствуешь, за кем ты идешь, находятся в западне, в плену у подлости.

— Неправда! Тысячу раз неправда! Вы повторяете такие (впервые Соланж назвала его на вы) старые слова, такие темные, средневековые, сумеречные мысли, что с вами жить нельзя, что вам и самому жить трудно. Вы ходите, как в тумане, и ищете, где он гуще, могильнее. Когда я вижу вас таким, я думаю, не родились ли вы в самый пасмурный день!—что мир сразу и навеки запечатлелся в вашей душе, как тьма, в которой живут и действуют одни только злодеи!.. Чтоб от них не отставать, может быть, и вы начинаете вкушать от злодейства или от того, что, не желая ничего делать другому, вы тем самым—невольное зло. Тысячу раз вы не правы! И вы, как многие русские: только занесли ногу, чтоб сделать шаг, так сейчас же заколебались и раздумались... Вы ждали революции. А какой вы были в Париже, когда она совершилась! Я до сих пор не пойму, что с вами сделалось в ту пору...

— Довольно! Довольно греметь! Привыкли там... Ораторы.

— Mais non, pas siéer! — француженка стала в позу, и голос ее, особенно, когда выговаривала она французские слова, звенел, как медь.—Vous êtes fou, peut-être!—Вы думаете, что у меня нет глаз, чувств и нервов?! Вы думаете, я не заметила, как еще в Париже солнце, вспыхнувшее в вашей стране багряной зарей революции, не зажгло, а потушило в вашей душе тот факел, который горел в вас, который привлек меня на огонек?!

Соланж говорила неправду: тогда она ничего этого не видела. А говорила так сейчас потому, что, кроме логики мысли есть еще логика слова. Они,—в особенности у женщин,—сцепляются не по смысловым, а по звуковым признакам. Так, сами собой слова Соланж нанизывались одно на другое. И чем дальше, тем больше это ей нравилось, и чем больше ей начинало нравиться, тем намереннее она выбирала самые звонкие слова.

В такие минуты художник всегда терялся. С одной стороны, он готов был пасть на колени и умолять только об одном: «Не продолжайте. Лучше поговорим». А с другой—также готов был расстегнуть ремень от своих штанов и по-мужичьи начать им обхаживать кричащую женщину—словно горящий столб—водой из насоса, со всех сторон. И так как одинаково влекло его и к коленям и к ремню, то он ничего не делал и предпочел бежать. И бежал прямо в один подмосковный кабак, в надежде там найти своего соседа.

У Васи была хорошая гитара... У Соланж, которая ушла от Кропило, не было комнаты. У Васи тоже ее не было... В коридоре общежития, в коридоре, разделенном фанерными перегородками, на подоконниках—и то только в редкие часы досуга—Соланж слушала его гитару... И подпевал Вася красиво. Голос его был сырой и неясный, как у молодого петушка.. Вася любил петь «Кирпичики». И старинные песни тоже: «Ваньку-ключника», например. Гитара помогала петь.

А Соланж гитара помогала мечтать. Под рокот ее у Соланж в памяти раскладывались, перебирались как клавикорды воспоминания детства. И бульвар Сен-Жермен, и парк «Мон-Сури», где она впервые ждала русского художника. Соланж забывала, что она на подоконнике над грязным московским переулком, рядом с героем страшных боев против белых, с героем, которого об'емлет радость жизни от того, что Соланж тут, близко.

Говорят, что тишина располагает к мечтанию, что уют, удобство у камина вызывают воспоминания детства. Может быть, и так. А вот бродячая, без кровли, без пристанища жизнь француженки в Москве действовала на ее мечтательность сильнее всех уютных каминов.

Вася сообщил ей, что ее муж, Кропило, арестован.

— Вася, ну к чему, зачем вы мне это говорите?

И Васе стало неловко, но он быстро оправился:

— Чтоб порадовать вас и самому...

Соланж остановила глаза на скучной желтой фанере в коридоре. Потом спрыгнула с подоконника. И двинулась, словно хотела устремиться куда-то, да остановилась.

Спросила:

— А вы не знаете, трудно теперь уехать во Францию?

Вася размахнулся гитарой, чтоб разбить ее о подоконник или выбросить в грязный переулок или что-то еще.

— Чушь! Глупость! Соланж! Милая! Никогда я тебя не пущу! Нет. Ведь ты это не серьезно?!

В его серых, почти девичьих глазах, чистых и ясных как хрусталь, из-за покрасневших век задрожали две слезинки. Соланж испугалась немного того, что сказала, и начала гладить мягкие и тонкие волосы Васи.

— У вас волосы, как у лесного бога Пана, — сказала она. — А говорили, что любовь глупость, а я вам верила, что только кровь...

— А это недурно, если я на Пана похож, — оживился Вася. — Зачем же вы от такого веселого бога бежите?

— Вы помните, вы помните, — Соланж думала и говорила свое, — как вы говорили, что не надо поддаваться обману, вскормленному в нас веками: обману «любви». И я согласна была с вами, потому что есть в жизни нечто такое, для чего каждый из нас пришел на свет, что выше, лучше всяких чувств, перед чем любовь — ничтожество. И вы соглашались со мной тогда, в Кремлевском садике...

— Милая французенка, пойми: я врал.

— Врал? Зачем же?

— А зачем ты сама врешь о каком-то возвышенном!

— Я не вру.

— А я не верю! Эх! И мы много врем.

— Так значит теперь веры нет?

— Есть-то есть, да только не та. Я вот, например, был вместе с другими в полку, что ходил под Перекоп. Ну, вот, и мы поклялись, понимаешь... э, да нет, ты не поймешь! Ну, все равно — всем полком поклялись во что бы то ни стало достать Слащева и расстрелять! Да!

— Ну?

— Ну... Ты многого, французенка, не понимаешь. А он, Слащев-то, как ты или я, по Москве ходит!

— Так ты теперь приведи клятву в исполнение.

— Милая моя, а вранье на что? Сейчас же представят меня или сумасшедшим, или экзальтированным, или, может быть, бандитом — вообще, чорт его знает, что скажут... У нас, я тебе скажу, — комсомолец придвинул Соланж за плечи поближе к себе и сторожко огляделся, не видит ли кто, — у нас думают, что борьба классов есть борьба принципов, а на самом-то деле борьба классов есть борьба л ю д е й. Я это отллично знаю, потому что сам в таком деле участвовал. Значит, помимо классовых признаков, в борьбе действуют еще чисто чело-вечьи, например, ненависть, любовь, верность слову, пристрастие, страсть и пр.

Комсомолец взял под руку французенку и стал с ней прохаживаться по коридору. Соланж, слушая его, думала, как похоже это на то, что давно-давно говорил ей Кропило, так же держа ее под руку и так же о каких-то клятвах и обетах, которые надо выполнить или за которые следует умереть...

— Мы еще сейчас учимся, — говорил комсомолец. — А погоди-ка выучимся. Мы сделаем проработку всего... Если надо, опять страну поставим на дыбы.

— Против кого?

— Против Европы, чорт подери!..

Соланж сразу остановилась и своими большими темными, утомленными глазами посмотрела на комсомольца так, как Валаамова ослица оглянулась на своего хозяина, который ее больно бил.

Вася тут только вспомнил, что ведь перед ним была француженка.

Чтобы замазать все, что он наговорил, Вася скрючился над гитарой, оперся на приподнятую коленку, и заиграл, подпевая:

В нашем садѣ под горой
 Вся трава помятая.
 То ни ветер , ни гроза,
 То любовь проклятая!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Н е ф т ь .

Готард присутствовал на банкете по поводу открытия новых нефтяных источников в Африке. Были тут англичане, американцы, русский грф Коковцев, французские промышленники и один старый, старый французский генерал, служивший еще чуть ли не при президенте Феликсе Форе. Эта старая генеральская храмина хрипела какие-то слова, жуя их во рту, как корова траву, и мямила какие-то пожелтевшие анекдоты. Генерала поддерживали двое молодых людей: один рыжеватый, веснучатый и благообразный, другой—черный с бачками, с веселым выражением лица. Почти на всяком большом банкете бывал этот генерал в сопровождении своих поддерживателей. Его так и называли банкетным генералом. Он уже потерял способность произносить речи, зато своим соседям по столу подавал иногда идеи, пропитанные его старым окостеневшим опытом.

Толстые и грязноватые с плохо вымытыми руками лионские промышленники, обвязав свои воловьши шеи салфетками, делались похожими на дрессированных цирковых слонов. Они раньше других принажились за закуски, в изобилии наполнявшие длинные увитые цветами столы. Лионцы шумели, вытирали руки о салфетки и о карманы брюк и чистили зубы, без стеснения глядя окружающим в глаза. Отпускали тяжелые остроты; рассказывали истории и анекдоты, сдобренные при кашливанием и прикряхиванием, как жирный гусь—капустой. Самих себя многие считали и называли романтиками.

Другой группой сидели тонкие, бритые, с лицами, серыми как бумага пресс-папье, бордосцы—жители берегов Атлантического океана. Они были безукоризненно чисты, медлительны в движениях, молчаливы, хотя и не угрюмы. Они не повязывали своих лебединых шей салфетками, держали их у себя на коленях; манипулировали на столе ножиком и вилок таким образом, что крахмальные безукоризненной белизны и самой последней моды манжеты слепили соседям глаза. Отпуская изредка направо и налево легкие шутки, бордосцы умели покрывать их своими немного застенчивыми улыбками, как хороший

ореховый торт покрывается тонким слоем шоколадного крема. Они говорили о наливных судах, о тоннаже выгруженной и погруженной нефти, о партиях хлеба, о своих *vis-à-vis*, живущих по ту сторону океана, и о том, где лучше курорты: к северу от Бордо, в Бретани, или к югу—у Испании. Бордосцы искренно каялись в том, что они не романтики.

Третьей группой были марсельцы. Они представляли собой смешанный тип лионца и бордосца. На первых они походили недостатком аккуратности в costume и поведении, а на вторых—худобой своих тел и вытянутостью шей. От тех и других марсельцы отличались безмерной живостью, которая делала их лица похожими на южное море, ежеминутно, непрерывно, незаметно меняющее свой отсвет. На лицах марсельцев появлялись то пятна гнева, то ревности, то подозрительности; то все лицо заливалось краской необузданного веселья, то вдруг под черными глазами появлялись темные круги—признаки начавшейся беспредметной, а потому скоротечной, грусти. Марсельцы много пили, много рассказывали, дружественно кивали больше в сторону лионцев, чем бордосцев, и с особенной чисто южной благодарностью смотрели на тот центральный и почетный стол, где сидели члены правительства. Марсельцы не считали себя ни романтиками, ни сухими практиками. Они были южане, следовательно—романтики и дельцы одновременно.

Эти три группы промышленников—лионцы, бордосцы и марсельцы,—образуя своими предприятиями и оффисами на территории Франции равнобедренный треугольник французской индустрии, и здесь на банкете создавали ту замкнутую ломаную, внутри которой помещались представители англо-голландской фирмы «Роял-Дёч» и американской «Стандарт Ойл».

Иностранцы были молчаливы, французы шумливы и разговорчивы, правительство велеречиво и старый генерал являл собой некий глаз, смотрящий из глубины оползших веков, как из колымаги королевской Франции. Генерал походил на восковую фигуру дореволюционной эпохи, которую на руках принесли сюда из Musée Grévin два молодых человека. Иностранцы и французы и члены правительства знали, что речи, которые здесь будут произнесены, составят лишь позлащенную рамку, внутри которой поместятся так называемые кулуарные разговоры. И только такие разговоры способны будут открыть и еще новые месторождения нефти, и создать проекты трубопроводов для перегонки нефти в порты, и найти для нефти новые рынки сбыта, и нащупать новые соглашения с другими правительствами, и войти в контакт с новыми промышленными группами и банками.

Произносимые же торжественные речи лишь один старый генерал принимал за чистую монету. Все видели, как он прослезился, когда Готард де-Сан-Клу в своей речи сравнил источники нефти с сосцами земли-матери, которая питает своих младенцев—людей.

У Готарда были наготове и еще разные красивые сравнения, но он вдруг почувствовал себя дурно. Остановился и напряженно смотрел в одну точку на кого-то из гостей. Все оглянулись туда и увидели рядом с графом Коковцевым темнокожего тунисца, который и остановил на себе зрачки Готарда и оборвал его речь. Готард охватил двумя руками свой лоб, словно он раскалывался, и при общем смущении сел на свое место. К Готарду подходили лионцы, бордосцы, марсельцы, иностранцы, граф Коковцев. Всем им Готард говорил тихо, что это ничего, что это просто от переутомления. После маленькой заминки, вызванной этим инцидентом, банкет опять вошел в свою колею. Готард уже настолько оправился, что мог вести кулуарные разговоры. Он начал с графа Коковцева, расспрашивая его, в каком состоянии было положение дел на Бакинских нефтяных промыслах в тот момент, когда большевики заняли их. Коковцев стал таинственным голосом рассказывать о страшных разрушениях, которые учинила революция этим промыслам и всему хозяйству страны.

— Это так,—поспешно отмахнулся Готард,—но мы удо... в Россию... или как ее там теперь... Все же пошлем веского и доверенного человека для предварительных переговоров.

Коковцев стал убеждать не делать этого, махал руками, выразительно тряс головой, делал страшные глаза. Готард, по врожденной французской вежливости, выслушал все это очень внимательно и постарался уйти от русского графа.

Проходя по коридору, Готард увидел на кожаном диване старичка-генерала, который от усталости задремал, а двое молодых людей, наскучив, видимо, его покинули. Готард нежно дотронулся до плеча генерала. Тот открыл мутные глаза. Готард спросил генерала, как его мнение: не погубит ли французское правительство свою страну, если попробует начать переговоры с большевиками. Генерал стал судорожно шарить руками, ища свою палку, которая упала под диван. Готард ее поднял и вручил генералу. Тот встал, оперся на палку, как Моисей на посох и, тряся огромными мешками под подбородком, как у пырина, пророческим тоном заговорил:

— Еще в тысяча восемьсот... восемьсот... не помню в каком году... в России на царских маневрах в Красном Селе я заметил, что русская аристократия разваливается, что она недолговечна. Я даже сказал об этом Марии Федоровне, и она, представьте, ответила мне: «*Vous avez raison*». Уже тогда на маневрах мы видели, что русские аристократы...

Готарду стало скучно. Он вежливо поблагодарил генерала за высказанное мнение, поклонился и пошел дальше. При входе в гостиную, где пили кофе, Готард столкнулся с французом, который сообщил о своем разговоре с такими-то и такими-то нефтяными фирмами. Мнение французских нефтепромышленников склонялось к тому, что необходимо кого-то послать в страну инициалов.

— Я, правда, не узнавал, как к этому отнесутся наши правые круги,—закончил француз.

— Они, по обыкновению, дремлют,—ответил Готард и указал на генерала, который опять заснул, положив для верности свой посох к себе на колени,—а потом, потом они будут согласны с нами. *L'erreur d'aujourd'hui c'est la verité de demain*¹⁾.

— Вы бы поехали туда?—спросил Готард француза.

— С вашего разрешения.

Готард закурил губу, замялся. Взял под руку своего приятеля.

— Разрешите мне на правах нашей старой дружбы,—начал Готард, но вдруг приостановился, показал глазами на темнокожего туниisca, сидевшего в гостиной.—Вы ничего не замечаете в нем?

— Нинет,—ответил француз.

— Мне почему-то кажется, что это наш и в частности мой заклятый враг. Вы знаете, мне кажется, что он убийца...

Француз остановился, как вкопанный.

— Разве это и вам известно?—выпалил он.

— Что известно?—почти взвизгнул Готард.

Француз почувствовал, что перемахнул какие-то рамки, в которых молчаливо условились все держать себя по отношению к Готарду. Француз ловко отпрыгнул назад:

— Я говорю, разве и вам известно, что он акционер французского банка и член общества нефтепромышленников Лиль-Боньер и Коломб?

— А-а-а вот что,—это не шутка? Однако, я всякий раз в его глазах читаю глубокое издевательство надо мной... или, лучше сказать, над всеми нами, над нашей жизнью...

— Вы правы: он ненавидит Европу. Хотя он сыграл немалую роль во время войны. Вы знаете... Этот мулат был поваром у старика, владельца фирмы, и знал не только секреты военного предприятия, но и интимные стороны жизни своего хозяина. Поэтому он держал последнего в своей зависимости. Старик-немец, как известно, жил большей частью на острове Капри, где у него была прекрасная вилла, выбитая в скале, как орлиное гнездо, высоко над морем. Со стороны острова к ней ведет узкая тропинка, почти никому не известная. Извиваясь по скалам, долинам, она приводит к высокому выступу скалы, нависшей над морем и похожей на слегка подбитое крыло гигантской птицы, и здесь тропинка упирается в узкую железную дверцу. Дверца открывает ход в пещеру этой нависшей скалы. Пройдя узкую пещеру, вы попадаете на просторную горную площадку, висящую высоко балконом над синем морем. Сзади этого балкона вбита в скале вилла. Стены ее сделаны под цвет сталактитов и сталагмитов; окна виллы из цветного стекла, блестя на солнце, кажутся огромными алмазами, рожденными в скале.

Эта часть острова открыта только небу и морю, с нее видно лишь, как изредка на горизонте пройдет большой пароход или парус

¹⁾ Заблуждения сегодняшнего дня — правда завтрашнего.

рыбачкой лодки покажется лепестком розы в лучах солнца, утопающего в море (рыбаки выезжают там к ночи). Вилла находится так высоко над морем, что под'езжающая к острову лодка кажется челноком швейной машины.

— Вы так подробно знаете...

— О, да: я всегда интересуюсь тем, что не доступно для всеобщего обозрения. Так вот, живя на этом острове, старик посылал своего повара, т.-е. как раз вот этого мулата, ловить по острову девушек и доставлять их на его виллу. Обыкновенно в праздники темными вечерами, когда итальянцы любят смотреть на звезды, повздыхать, опьяняться пряным запахом роз, полунегр подкарауливал жертву, схватывал ее в свои цепкие лапы и уносил. Украденные девушки больше не возвращались домой. Население острова буквально взвыло. Дело принимало весьма некрасивый оборот. Итальянское правительство принуждено было обратиться к императору Вильгельму. Последний, будучи в большой дружбе с неистовым стариком, всячески заминал это дело. А тем временем в своих письмах прәсил своего друга прекратить похищение девушек. Однако, старик не унимался. Его черный повар попрежнему бродил вечерними сумерками по острову, высматривая жертвы своими дикими глазами цвета смеси крови с шоколадом. Наконец, сам Вильгельм не в силах был дольше замалчивать и дал депешу своему приятелю такого содержания: «Застрелись, а то повешу». Старик застрелился. А мулат получил от фирмы за свою «работу» значительную сумму денег, с которой отправился играть в рулетку в Монте-Карло. Там он проиграл все деньги, и вот тогда-то обратился к нам с предложением продать все секреты, все тайны военного немецкого предприятия. Заработав у нас, он снова отправился в Монте-Карло. На этот раз ему везло: он выиграл почтенную сумму денег и купил много акций нефтепромышленного общества.

— А девушки... их выручили из плена?—спросил Готард.

— Нет, оказалось, что после оргий, которые устраивал приятель Вильгельма на горном балконе над морем, изнасилованных девушек сбрасывали в море и любовались их падением. То же самое на этом острове делал римский император Тиберий. В знак победы над нравами Тиберия наша христианская церковь воздвигла на площадке, где римский император предавался разврату, часовню со статуей непорочной божьей матери... Говорят, что ловким мастером у старика по части бросания девушек был он, тунисец. Он бросал... Ой, ой, что вы...—вскричал вдруг красноречивый рассказчик оттого, что Готард до боли сжал ему обе руки.

У Готарда перехватило дыхание, и он прохрипел в ухо французу:

— Так зачем же он здесь, отчего вы его не арестуете?.. Скорее!..

Француз вырвал свои руки из рук Готарда, как из клещей, и спокойно ответил:

— Вы, очевидно, приняли во внимание только последнюю часть моего рассказа. Если вы хотите подробно знать, какую полезную роль

сыграл он для нас во время войны— обратитесь в соответственное ведомство. Вам станет ясно, отчего мы бессильны арестовать его. Вы говорите, что этот шимпанзе издевается над нами, над Европой, над культурой. Пусть, пусть, пусть, но Европа, но культура, но мы прежде вытянем из него все его черные жилы на службу нам, на пользу нам, нашей культуре, нашей Европе, нашей победе...

— Если так, если так... Если это во имя Франции, я умолкаю. Тогда забудем про все, что вы мне рассказали... Тогда дайте мне силы и помогите мне забыть это. Вы можете мне помочь. Пойдемте скорее в другую комнату. Помогите мне не быть одиноким. Я не хочу быть одиноким, я не хочу больше этого.

— Женщины...

— Нет, не то. Вы знаете... в России живет сестра, т.е. нет... мадемуазель, мадемуазель Соланж Болье. Если бы вы... когда будете там... Если бы вы могли ее оттуда выручить как французскую гражданку... Если бы... Одним словом, если, если и если. Понимаете?

— Понимаю. Это одно из условий моей миссии к большевикам?

— Да.

Друзья долго говорили на эту тему. Французу хотелось взять на себя нефтяные поручения.

Условлено было, что француз уведомит Готарда письмом, нашел ли он в русской стране Болье и сможет ли он ее оттуда вывезти. Если только нашел, но вывезти нельзя, то письмо к Готарду—самого невинного содержания—будет начинаться словами: «Дорогой Готард». Если нашел и советские власти позволили ее вывезти—«Дорогой и милый Готард». Если не нашел вовсе—«Господин Готард».

Через две недели по отъезде француз прислал письмо. Готард распечатал это письмо и глаза его упали на первую строку «Дорогой Готард»... Готард стал забрасывать француз телеграммами о скорейшем его возвращении. Француз—опять-таки условленными словами—давал ему понять, что задерживается переговорами о нефти и других интересных делах. По простоте своей француз написал однажды Готарду, что эти вопросы куда труднее и важнее поисков Болье.

Наконец, приятель Готарда выехал из Москвы. Готард не утерпел и уже в Берлине на вокзале заключил в объятия своего друга.

Готард тут же потребовал немедленно и подробно рассказать о Болье. Француз был словоохотлив, как, впрочем, и всякий француз, и начал рассказывать:

— Болье живет в Москве. Теперь одна, но недавно еще с ней жил один русский художник.—В этом месте Готард шопотом самому себе сказал: «Враки».—В настоящее время художник арестован.

Готард не вытерпел:

— Адрес, адрес Болье дайте, пожалуйста!—почти криком попросил он.

— Адресов в Москве не бывает,—отвечал француз,—там даже учреждения не имеют адресов, потому что сегодня в одном доме помещаются, а на завтра, гляди, и переехали. Чтоб переговорить с представителем концессионного комитета, например, я принужден был устраивать на него форменную охоту. В качестве гончих, лаем указывающих место зверя, были секретари и секретарши. Частные лица и подавно не имеют там адресов, потому что Москва—коммуна. Жиллица распределяются лицами, особо на то уполномоченными. Поэтому сами жильцы никак не могут знать, куда их определяют, и, следовательно, находятся в полной неизвестности. Отсюда переполнение трамваев и уличное оживление, ибо у каждого «менаж мувемантè». Тесный муравейник. Такие слова, как «комната» и «квартира» не существуют, вместо них одно слово «площадь», так как в одной комнате может быть несколько площадей. Уполномоченные по распределению «площади» сами меняются каждый месяц во избежание взяток, поэтому в виду кратковременности этой должности каждый уполномоченный старается как можно побольше извлечь из своего дела доходов. Взятка там—источник существования, так как должность дает лишь звание, а не заработную плату. Но, вообще, должен сказать, народ прекрасный и вполне подходящий нам союзник: он чем-то похож на нас.

Издергавшись нетерпением, Готард прервал рассказчика:

— Да вы мне лучше о ней, о Болье...

— Ах, да, да... Она работает в учреждении N. Но положение ее тяжелое. Она, видимо, под наблюдением чекистов. Русский художник, с которым жила Болье, заключен в консьержери, которая по-русски называется «Бутырки». Он был захвачен на каком-то монархическом заговоре под Москвой.

— Монархическом? — переспросил Готард.

— Да.

— Немецкой ориентации?

— Да, именно, кажется, так.

— А она, она?

— Она пока на свободе. Но ведь... Вы, понимаете, в стране террора, свобода...

— Позвольте,—возразил Готард.—Она французская подданная!

— А разве вы забыли Локкарта и других...

— Верно... Нет, надо торопиться, надо молниеносно. Вы ее видели? Вы спросили, хочет ли она вернуться в Париж?

Рассказчик немного заколебался: сказать правду или солгать? И решил по этому вопросу меньше врать. Не зная точно настроение Готарда и других правительственных лиц в Париже, лучше про общее положение России рассказать почернее. А там если что... ведь из чер-

ного легче белое сделать, чем наоборот. А Соланж Болье, может быть, прежняя любовница Готарда,—зачем же в таком деле врать? Французы нежно относятся к любовным делам.

— Нет, я ее не видел,—сознался француз.

— Гм... Почему же?

— Ах, и не говорите: я был окружен чекистами как репьями в репейнике.

— Так что же Болье!

— Так вот чекисты-то эти и помешали мне ее видеть. И я не знаю, хочет ли она сама возвратиться в Париж. Но я с властями о ней говорил.—Это уже француз врал, ибо, узнав из частных источников о судьбе Кропило, он боялся даже заикнуться о ней кому бы то ни было из официальных лиц. В Москве ему никак нельзя было потерять свою репутацию: кроме того, что ему поручил Готард и правительство, француз еще имел в Москве и свои маленькие дела, которые отнимали у него больше времени, чем все остальное.—Я говорил о ней,—продолжал француз,—с... властями. Мне ничего определенного не сказали, но я получил такое впечатление, что мадмуазель Болье на сильном подозрении. Ее, несомненно, надо выручать.

Готард стоял как пьяный и чувствовал, как приближается к обморочному состоянию.

— Что с вами, Готард? Будьте мужественны!

— Да... да,—сказал Готард с усилием.—Ничего... Надо только торопиться... Надо молниеносно...

— И знаете что: надо использовать благоприятные отношения Англии к нам и к Советам. Сегодняшняя Англия не будет возражать против нашего сближения с Москвой. А я—поскольку я там был и наблюдал жизнь там, я клянусь вам, что у всех русских—психология наших бретанских мужиков: без некоторого сближения с ними ничего добиться не возможно. Например, попробуйте получить от них мадмуазель Болье, попробуйте ее выручить, без предварительного сближения. И вы знаете, можно, конечно, разного мнения быть о признании де-юре, но иметь следует в виду, что Лондон может нас обогнать.

Готард и его приятель решили, что необходимо поставить доклад французам, побывавшего в Москве.

Приятель Готарда, который прощупал почву в Москве не только в отношении нефтяных дел и других концессий, но успел заключить уже договор на поставку продуктов своего маленького предприятия: целлулоидных воротничков, гребенок и щеточек, думал о профитах, какие потекут в его карман от сближения с Москвой.

А Готард думал: «Мое счастье—счастье Франции. Я там нашел ее—Франция нашла там Россию. Ко мне возвратится моя жена, к Франции—прежняя союзница».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заговор

Князь вез навоз. Он занимался этим третий день. Заработал две пачки полукрупки и курил этот заработанный табачек с таким неизъяснимым наслаждением, какого не испытывал, раскуривая гаванские сигары у камина. Князь блаженно глядел на черные поля, слегка дымящиеся паром, на небо, по которому ветер гнал облака, на речку-змею, что среди кустов тальника не торопясь бежала в другую губернию и на далекую, лентой темнеющую опушку леса. От того леса речка и берет свое начало. У истока ее часовенка. В этом месте будто бы «явилась» чудотворная икона и показала крестьянам ближней деревни родник. Часовня стояла между двух тонких белых берез, словно между двух сестер. При самом легком дуновении ветерка листочками, как пальчиками, одна сестра доставала и ласкала другую. И по часовне бегали причудливые тени от ласкающихся листьев. Трава в том месте бывает густая, густая и высокая. Любил это место князь, любил он полежать на той траве: нигде как на ней можно было до высшей степени предаться самому высокому в мире наслаждению—забвению и лени. Лишь только опустишься там, под березками в траву, как не слышишь, что у тебя есть кости и мясо, и кровь и голова, и в ней заботные думы—лежишь, и тебе кажется, что ты камешек при ручье.

Князь вез навоз. Сидел на нем. Навоз немного курился. Князь курил полукрупку и любовался землей и небом и наслаждался одиночеством и мечтал о том, как жарким летом он в солнечный день ляжет у ручья под березками, чтоб сбросить с себя ту одежду, которая называется «человек», чтоб быть только камешком.

Услышал князь, что сзади верховые. Оглянулся. Да: верховые его догоняют. Догнали.

Впереди молоденький, аккуратно одетый красноармеец, видимо, начальник трех других всадников, тоже молодых и с виду веселых парней.

Первый, улыбаясь князю, сдержал свою лошадь.

— Стой!.. Вы будете князь Чигиринский?

— Все меня почему-то называют именно так. Имя всякого человека не более, как подарок ему от окружающих. А как известно, «дареному коню в зубы не смотрят».

— Так. Догадливо вы отвечаете. Вот что: вертайтесь-ка назад, мы вас арестуем.

— Серьезно?—спросил князь с такой неподдельной радостью, словно ему сообщили о воскресении из мертвых его родной матери, которую он любил больше, чем свою жизнь.—Благодарю вас. Я с удовольствием принимаю ваше предложение: оно вполне соответствует моему намерению освободиться от этого прощелыги и мародера, где

я принужден был жить. Он меня, вот видите, чем заставил заниматься. Будто я и в самом деле смерд.

Князь повернул было лошадь вспять, но тут же приостановился.

— Джентльмены!—обратился он к всадникам. — Разрешите мне попроситься с речкой. Я ее очень люблю. Она родовая наша. Разрешите, я испью из нее одну пригоршню.

Молодой белокурый предводитель всадников немного смутился и вопросительно посмотрел на своих сотоварищей. Один из них, кудрявый, в больших рыжих сапогах заметил:

— По инструкции в питье нельзя отказывать.

— Ну, тогда и я испью,—мотнул князь головой молодой белокурый красноармеец.

Князь соскочил с навоза и побежал к речке. Рядом с ним скакал молодой начальник.

Князь припал к речке и зачерпнул пригоршню. Красноармеец, с которого пот лил в три ручья, лег на живот и стал пить прямо ртом из речки.

— Вам нравится? — спросил князь.

— Взопреешь, так занравится,—красноармеец стоял на коленях и вытирал пот со лба.

— А вот если бы вы не «взопревали», то почувствовали бы, что это не вода, а березовый сок. Никогда не нужно быть потным: это так же неприлично, как мочиться на глазах у других.

— Ну, видно, вы не бывали голодным. А коли кусать захочешь...

— А к чему же непременно «кусать»?

— К чему... Один чуваш приучал свою лошадь не есть, она совсем было привыкла, да на грех нечаянно, будь не ладна, сдохла.

— Ну, и вы бы «сдохли».

— Да уж лучше бы вы.

— Я не прочь. Когда угодно. Сдохнуть, это—идеал жизни каждого живого существа. Правду сказать—дурацкий идеал, но зато самый действительный. Кто понял это, тот ничего не желает и ничего не боится.

— Ладно, ладно... Там вот поговорите. Напились и айда!

Конвоиры отвели князя в деревню. Оттуда на станцию и в Москву.

В вагоне поезда князь от нечего делать развивал перед конвоирами теорию гипнотизма и тут же делал над красноармейцами пробные опыты. Молодой начальник конвоиров остался очень доволен опытами.

Но, сдавая князя, все же предупредил, что арестованный—хороший гипнотизер и как бы не пустил свое искусство в ход во время следствия.

Талант — дар природы, не познанный человеком. Пути его работы незримы. А достижения всегда ярки и неожиданны, подчас как будто парадоксальны. Люди обыкновенные, не зная, как сконструирована какая-нибудь сложнейшая машина, из каких элементов она состоит, как работает, не интересуются этим и не восхищаются машиной, пока она работает без перебоев, а просто пользуются ей. Так относятся и к талантам.

Такой талантливый человек, руководитель большого дела в советском государстве, проснувшись поутру, умывался из таза за ширмой в комнате, служившей ему одновременно и квартирой, и деловым кабинетом. Умылся. Посмотрел на себя в маленькое покривленное зеркальце, висевшее у него над кроватью. Заметил, что мешки под глазами еще больше нависли. Глаза опухли. Это оттого, что не выспался: вчера с заседания вернулся в час, да бумаги читал до пяти. А ночь быстролетная. Но опухшие глаза и синеватые мешки под ними—это еще ничего, а вот начинающуюся лысину и забравшуюся в волосы седину—это уж ненавидел человек. Для седины бы еще не время. Разве, например, у Ллойд-Джорджа была седина в 39 лет? Впрочем, может быть, что и была. Юлий Цезарь тоже рано стал седесть, но он вырывал у себя седеющие волосы.

Человека, о котором идет речь, тоже звали Юлием. Он и поступал со своей сединой точно так же, как его великий тезка.

Юлий снял со стены зеркало, поставил его на столик и своими тонкими, поразительной красоты пальцами начал выбирать и выдирать белые волосы. Так он поступал каждое утро. Совершая эту операцию, Юлий слегка жалел, что у него не было жены, которая должна бы была это делать. А, впрочем, наверное бы, не делала этого. Человек этот не знал женщин—в юности, потому что весь, без остатка ушел в революционное дело, а потом попал в каторжную тюрьму. Из тюрьмы его вынес поток революции, который опять им завладел безраздельно. Юлий отчасти был доволен таким обстоятельством: он видел, как у других, у близких его друзей, вся жизнь запутывалась и сминалась только потому, что появлялась она.

Но и она не виновата. Вот, например, седина. Это надгробные свечи, вспыхивающие в волосах. Они готовят пышное, светлое, ослепительное шествие к деревянному гробу. Какое же дело ей, то-есть некоторому Икс до того, что он, то-есть кто-то другой, Игрек, продвигается к смерти? Ведь Икс-то сам тоже продвигается туда! И ни себе, ни другому не сможет отсрочить неизбежного.

Да.

В это утро Юлий заметил две белых свечи и в своей любимой клинышком растущей бороде. Он вспомнил слова Гоголя из «Мертвых душ» о том, что даже памятник на могиле что-нибудь да скажет, а вот нещадная старость — ничего. Как лед. Вытянув к зеркалу подбородок, Юлий своими ловкими руками стал вылавливать в бороде два злосчастных волоска.

В это время постучали в дверь.

Юлий, не успевший вырвать седину, вскочил и крикнул:

— Войдите!

«Войдите»!—таков был постоянный его ответ на стук, когда бы это ни случилось, в любой момент дня и ночи. Однако, никому не удалось застать его врасплох за его тайным занятием вырывания волос.

— Простите, товарищ, — сказал вошедший.

— Ничего, ничего,—входите, пожалуйста. Ну, что, поди, всю ночь допрашивали? И никаких результатов? Вы устали?

— Нет, ничего. Видите ли, по-моему, тут нет никакого монархического заговора. Это был просто притон ех-помещиков, каких мы немало обнаруживали всюду. В деле вызывают недоумение только два обстоятельства: 1) исчезновение того, кто инспирировал донос, и, во-вторых, упоминание в доносе о том, что в кабак должен был бы приехать какой-то важный коммунист. Что касается письма к князю— письмо приложено к донесению Кропило,—то теперь мы уже совершенно безошибочно можем сказать, что оно сфабриковано. Но тогда— к чему? По-моему, все это дело какой-то сплошной бред пьяных в кабаке. Вот я и хотел вас попросить прочитать последний раз дело и если согласны с моей резолюцией, то направить его к ликвидации.

—Ну, что ж, оставьте, перелистаю.

Юлий сел-было за стол.

— Виноват, товарищ, у вас щека немного в мыле.

— Ах, да.

Юлий конфузливо улыбнулся и бросился за ширму, чтобы вытереть щеку.

Улыбка у Юлия была такая солнечная и детски-застенчивая, что вошедший невольно медлил уходить: не увидит ли он еще раз этой улыбки?

Но из-за ширмы Юлий вышел уже несколько другим: лицо его стало сухим, внимательным, обостренным. Он сел за стол и неохотно показал вошедшему тоже на стул.

— Вот, здесь,—стал было объяснять вошедший, чтоб оправдать свое присутствие.

— Погодите, теперь уже не мешайте,—отстранил его рукой Юлий.

Глаза Юлия горели сухим блеском. Губы вытянулись. Мешки под глазами сделались еще больше. Тонкие пальцы левой руки его нетерпеливо теребили бороду. Она легонько шуршала, как шелк. Из кармана брюк Юлий вынул коротенький, огрызок чернильного карандаша и стал им отмечать в полях «дела» свои «нота бене».

— Слушайте-ка, — обратился Юлий к своему визави, который сидел в очень стесненном положении и не уходил только потому, что думал быть полезным своими комментариями к делу. — Нельзя ли вас попросить... — Юлий замаялся... — принести... или нет, лучше сходить?.. Да, вот что: найдите-ка прошлогоднее дело братьев... как их...

— Из Нижнего-Новгорода?

— Ну да, хоть из Нижнего...

— Слушаюсь, — и вышел из комнаты.

Этого только и надо было Юлию. Просьба принести какое-то прошлогоднее дело была предлогом удалить чересчур усердного докладчика. Юлий обладал одним недостатком: он ничего не понимал, когда ему докладывали. И ничего сообразить не мог, когда рядом с ним находилось какое-нибудь человеческое существо. Чтобы что-либо постичь, Юлию необходимо было удалиться.

Впрочем, не ясное сознание этого, а самая простая застенчивость заставляла Юлия удаляться людей, когда хотел он думать о большом и важном. Он говорил себе: «Кто его знает, может быть, у меня совершенно отвратительное лицо делается, когда начинает его коробить какая-нибудь мысль? Или, может быть, лицо делается в это время смешным? Вообще оно становится необутым, обнажает все мои внутренности. А это опасно, — вдруг кто-нибудь начнет палить туда камнями»... Да и, кроме того, ведь непозволительно смотреть другому на самый процесс рождения мыслей, потому что в зародыше своем они бывают, вероятно, глупы и уродливы, как и всякий эмбрион...

И как можно что-либо обдумывать, когда смотрят тебе в душу и во всяком случае в рот.

Оставшись один, Юлий даже и не посмотрел на бумаги. Он подсел опять к своему маленькому столику и стал выщипывать недовыщипанные волоски из бороды. Покончив с этим, он снял туфли и стал натягивать сапоги.

Каждое утро, по предписанию врача, он должен был выпить стакан содовой воды. Она стояла у него разведенной в бутылке из-под шампанского. Он протянул руку к бутылке. Взгляд его упал на этикетку: «Champagne Louis Reederer Reims». Реймс. Франция. Юлий на мгновение остановился, как вкопанный. Рука его так и застыла на бутылке. Не налив себе соды, он бросился к «делу» и стал перечитывать в нем свои «нота бене». Не дочитал. Захлопнул листы бумаги. Отошел к окну и стал насвистывать что-то сумбурное. Потом резким движением обернулся и нажал на столе кнопку звонка.

Опять в дверях показался тот, кто был с докладом о деле.

— Никак не могу найти всего нижегородского дела. Оно разр...

— Не надо, ничего не надо, — стремительно прервал его Юлий. — Я и так знаю в чем тут дело. Теперь ясно. Знаете ли что: это вовсе никакой там немецкий монархический заговор, а штучки французские. Вы посмотрите... — и Юлий стал перелистывать страницу за страницей «дело», цитируя оттуда некоторые места. — Конечно, — заключил он, — явные, ощутительные доказательства в деле найти трудно. Но я в этом абсолютно уверен. Теперь это для меня до того ясно, что мне кажется, что от этих бумаг я ощущаю запах Парижа. Уверю вас, что это так. Попробуйте в вашем следствии пойти по этой линии, и у

вас окажется, что лежащее перед нами дело—не что иное, как слабый оборвыш большущей провокации англо-французской.

Докладчик от усердия—*roylistes plus que le roi même*—с живостью отозвался:

— Разумеется, это так! И как только мне с самого начала не пришла эта догадка в голову? И вы напрасно ослабляете свою позицию, говоря, что тут нет доказательств. Как это нет? А художник-то, бывший эсер, приехал из Парижа. Да еще и не один, а вместе с женой, французенкой, которая, говорят, прекрасно владеет русским языком. Она установила прочные связи с некоторыми сотрудниками различных наших учреждений. И вот она, сама сотрудница одного из наших учреждений, бросает своего мужа художника, уходит со службы из учреждения, повидимому, собираясь удрать к себе во Францию, и, что главное всего, все эти ее операции совпадают с исчезновением инспиратора донесения, соседа художника, некоего Макаренко. Какие же вам нужны еще доказательства? Совершенно ясно, что все эти люди— агенты Парижа!

— Кто?

— Шпионы...

— Но позвольте-ка, из дела вовсе не видно, чтоб кто-нибудь из них шпионил.

— Гм... то-есть?..

— Ну, да... какое же тут шпионство может быть? Я не чувствую в этом деле запаха шпионажа.

— Да... воз-мож-но... Собственно, пожалуй, шпионства тут нет...

— Как вы, однако, охотно соглашаетесь. А что же тут по-вашему?

— Чорт... его... не знаю.

— А сравните-ка это дело с делом, имеющимся у нас и названным «О компрометации советских работников», английское дело. Ведь и здесь то же самое. Вы помните, что нам удалось установить, что по директивам Лондона—Парижа сейчас началась широкая кампания по скомпрометированию отдельных больших работников советской власти, дабы тем самым подготовить почву к каким-то более активным шагам, разрыхлив предварительно авторитет лучших наших товарищей. Я не сомневаюсь в систематичности этой злой кампании. И то дело, и это далеко не случайности. Тут, несомненно, работает целая организация, раскинувшая широкую сеть на нашей территории. Агенты подлавливают таких типов в роде этого несчастного художника. Такой тип в их руках может быть прекраснейшим орудием и по своему прошлому, и по настоящему, и по своим связям в советском мире. А главное—это то, что он может быть совершенно слепым орудием.

— Да. А агент, видимо, его жена.

Юлий инстинктивно поморщился, как морщится утонченный любитель и знаток музыки от фальшивой ноты.

— Ну, что вы, что вы? Как вы все это хотите прямо. Это не так. Не причесывайте, пожалуйста, фактов по-своему: она тут уже ровнехонько не при чем.

Такое возражение раздражило вошедшего: что ни скажи этому Юлию, все оказывается не ладно. Внутренне негодующий, он относил подобные возражения Юлия к его капризному и неуравновешенному характеру. Вспомнив тут же укор, который ему Юлий давеча бросил: уж очень вы охотно соглашаетесь, решил на этом пункте не соглашаться.

— А зачем же она тогда ехала в Россию?—спросил он.

— Как? Неужели самый факт ее поездки к нам для вас уже довод против нее? Не поздравляю вас со способностями следователя!

Такое грубоватое, несвойственное в обычное время для Юлия замечание раздражило еще больше докладчика. А фальшивый тон, который пришлось ему взять в отношении Юлия, еще больше выводил докладчика из служебного равновесия.

— А я вам докажу, что это так. Мы ее арестуем, и вот увидите, что она заговорит на допросе, — срывка сказал докладчик.

— Нет, нет, это ерунда. Вы, пожалуйста, не делайте таких шагов. По материалу, который мы имеем, она просто мечтательница. Кроме того, человек вполне преданный нам. Пусть она пришла к нам под влиянием своих фантазий, но не все ли это равно, если она работает с нами не за страх, а за совесть? С людьми, верными нам, так, как вы предлагаете, обходиться нельзя.

— Конечно, вы начальник и можете приказывать. Я же прошу на мою ответственность произвести арест хоть для опыта. Мы ее и держать долго не будем.

— Вздор, вздор! Вы не ее арестовывайте, а найдите-ка лучше Макаренко, ибо он—настоящий агент и есть. Через него мы и впрямь могли бы разыскать тот центр, который, повидимому, существует у нас под носом.

— В таком случае, я прошу меня простить,—докладчик низко поклонился,—я совершил преступление: еще третьего дня дал приказ разыскать и арестовать французенку. Мне казалось, что она именно знает, где Макаренко. Может быть, она с ним в связи.

— Ну, так вы по своему обыкновению в самый интересный момент спятили с ума.

Юлий потерял присущую ему способность быть в обращении всегда простым, но деликатным.

— Приказываю вам немедленно по выходе из моего кабинета освободить ее, если она арестована, а если еще нет, то приостановить ваше распоряжение. Немедленно. И лучше будет, если времени терять не будете.

Докладчик вышел, поклонившись Юлию как-то боком.

Юлий пробежал еще несколько подобных дел: их у него было изрядное количество в ящиках письменного стола и в шкафах по стенам. Потом торопливо собрался и вышел на заседание.

Курьер, дремавший не от усталости, а от темноты коридора, в котором сидел на стуле, озабоченно вскочил навстречу Юлию.

— А чайку-то, товарищ? Я приготовил вам.

— Мне не до чаю, мил человек. Я и соды-то не успел выпить.— Махнул курьеру рукой и побежал дальше.

— Ишь ты, господи, и чем они только живы?—проворчал курьер, позевнул в кулак.

Не доезжая одной мордовской деревни, где небольшая экспедиция, в которой была и Соланж, должна была остановиться на ночлег, Соланж и ее спутники заметили на горизонте широкое облако пыли. Не воскресшие ли это орды Батыя опять устремились на запад? Или это просто ураган, смерч?

Когда волна пыли стала ближе, Соланж различила среди пыли лица и ноги людей. Несомненно, то было шествие каких-то орд. Еще ближе— и вот уже видно, что орда эта босая или в лаптях и впереди этой орды тощий скот: лошади, коровы, овцы. Скот стал бросаться в сторону по дороге, по мере того, как экспедиция, в которой находилась Соланж, приближалась. Народ тоже сторонился и жался к краю дороги. Народ был тут разный: и старые и молодые, и женщины и старухи, и дети и грудные ребята. В этой орде одних только взрослых было на-глаз человек пятьдесят. Старший по экспедиции приостановил свой тарантас. Спрыгнул, подошел к людям.

— Откуда вы?

— С Урала,—ответило несколько нестройных и хриплых от пыли голосов.

— Куда ж вы идете?

— К себе, до дому.

— Вы не украинцы ли?

— Они самые,—ответил крепкий, низенький и плечистый мужик.

— Так как же вы здесь?..

— Сами-то мы конотопские, да вот в прошлом году пришли сюда как бы поселиться на земле. А земля-то вот, вишь ты, не родит. Отказала. Мы и вертаемся обратно до Конотопу.

— Э, милые, а не поздно ли вы хватились: а если на вашей земле в Конотопе-то теперь другие кто сидят?

Коренастый мужик примолк. А старик с бельмом на глазу вместо него ответил.

— Что же, тогда продадим там скот, да и опять к Уралу.

Соланж прислушивалась к странному разговору. И спросила у своего соседа по тарантасу, где же этот Конотоп.

Она видела, как их старший по экспедиции долго разговаривал с кочевниками, как он что-то записывал, что-то толковал им. Кочевники согласно мотали головами, гикали на разбегающийся скот. И, в конце концов, раз'ехали: экспедиция по борьбе с голодом в одну сторону, а бегущие от голода—в другую.

Были сумерки, когда экспедиция прибыла на ночевку в мордовскую деревню.

Остановилась экспедиция в пустой избе, где вымерла от голода вся семья: вчера схоронили последнего старого деда, патриарха вымершей семьи, он сдался голоду последним.

Ламп в селе не было. Экспедиция освещалась особым видом лампадок: выдолбленная сырая картошка, в ней—лампадное масло, в масле—фитилек. При тусклом свете этой лампы Соланж заметила простое убранство избы: стол и две скамьи по стенам. В переднем углу вместо образа деревянный идол с раскоряченными ногами и совиными глазами, направленными на дрожащий огонек лампы.

На утро была назначена раздача зерна и муки. А пока в избу приходили крестьяне с рассказами об умерших и с'еденных.

Ночью, когда все затихло, когда в небе мигали высокие звезды, когда в мордовской избе лампада была потушена и все спали и лишь идол деревянный бодрствовал, Соланж, несмотря на утомление, не могла сомкнуть глаз. Она лежала на полатях и слушала, как поет сверчок. И вдруг сердце француженки колыхнулось. Что такое? Неужели опять посетило ее то состояние предчувствия чего-то неясного, что жило в ней еще когда она училась в Париже? Ах, как далек, как неиз'яснимо далек теперь этот Париж: нельзя даже быть уверенным, существует ли он!

Вот и опять и опять что-то подкатило к сердцу. Нет, это совсем не парижское, это что-то совсем другое. Неужели то самое? Неужели от шуток с Васей у Кремлевской стены? Да: это толчки другой жизни, возникшей под сердцем Соланж. Да: это предупреждение, что идет, придет кто-то в свет, придет из нее.

От неразгаданной, невольной, не согласной ни с чем, что она видела—радости Соланж почувствовала легкую истому в коленках. Неловким движением спрыгнула с полатей, и из избы, где вымерла вся семья, она вышла на улицу вымирающей деревни, где от голода все собаки были давно с'едены.

Соланж стало совсем весело от того, что в ней сейчас две жизни. И куда бы она ни двигалась—это значит, что двигались два человека. И все, все, что она сделает и скажет, от всего этого будет зависеть и она и тот другой, кто постучался ей сейчас в сердце. Словно весь тихий, тихий воздух сам шептал ей в уши, что отныне она больше не одна.

Вот теперь бы уехать обратно к себе домой в свет, в тепло, в Париж, на rue Friant, что у Орлеанских ворот!

Соланж запела детскую французскую песенку: «Sur le pont d' Avinion!».

Но тут же оборвала песню, об'ятая ужасом, что же это она такое делает, да как она смеет здесь!

До корня волос покраснела француженка.

А сердце билось и билось.

В одной из деревень Соланж арестовали и привезли в Москву и посадили в Бутырки. Приказание об отмене ареста не успело догнать приказания об аресте.

Ни обиды, ни досады, ни уныния, ни страха не испытывала Соланж. Ее наполняли два чувства: колоссальная, сверхчеловеческая усталость и проникающая всю ее до слез радость увидеть свой плод.

Она сама не заметила, как вдруг серьезно стала думать о поездке в Париж. Перебирала в памяти добрых прежних знакомых. О Гранде она избегала думать, ей теперь не хотелось бы его видеть.

На допросе пред'явили ей письмо Готарда с философией о смерти и с призывами приехать к нему просто, как к родственнику, как к мужу ее сестры.

К несчастью Соланж, она не знала ни Готарда, ни того, что он был женат на ее сестре, ни где находится теперь ее сестра. А допрашивающие думали, что это конспирация.

Но когда в руки властей попал, наконец, Макаренко, и дело получило совсем другой оборот, Соланж осталась вне этого дела.

Перед освобождением ее спросили, не желает ли она отправиться к себе на родину. Соланж без колебаний ответила утвердительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ночь в Париже

М-ль Болье приехала в Париж и поселилась временно на rue Viola у какой-то отдаленной тетки—доброй старушки, принявшей ее ласково.

Соланж знала, что своим возвращением она обязана министру Готарду де-Сан-Клу. В один из приемных дней у него она отправилась к нему, чтобы отблагодарить.

Готард был поражен ее сходством с Эвелиной. И тот же стан и мягкость голоса, и привычка то-и-дело слегка поправлять сзади руками свою прическу. Но было и различие: Эвелина как-то так умела смотреть на Готарда, что ему казалось, будто мягкий свет стелется по его пути и путь этот прямой и ясный. Этого не было в глазах м-ль Соланж. И, кроме того, она была слишком проста, суховата на словах, резка в рукопожатиях. В разговорах старалась выбирать только такие слова, которые были совершенно необходимы для точного и не ласкающего ответа... Одевалась она в простые английские кофты с черным галстуком.

— Вы приехали... — сказал ей Готард.

— Благодаря вам. Благодарю, — ответила она.

— Вы влюблены... в революцию?

— Нет.

— Вы влюблены... простите... я, кажется, нескромен...

— Отнюдь нет: ваше право спрашивать о чем угодно. Я, правду сказать, вероятно, немного влюблена в ту пирамиду, которую начал строить обиженный веками темный славянин. Мне самой хотелось бы вложить в эту постройку столько кирпичей, сколько смогла бы. Эта пирамида будет выше... выше...

— Выше чего?

— Выше башни Эйфеля.

— Социализм, т.-е. коммунизм...— улыбнулся министр и совсем язвительно:— свет с Востока.

— Я воздержусь отвечать, хотя я с вами не согласна.

— Наша культура, — возразил Готард, — предоставляет слово всякому, кто не согласен.

— А в той стране, где я жила, есть великая мудрость, говорящая о том, что между людьми бывают иногда такие преграды, которые исключают всякую возможность спора.

Разговор не клеился. Готард подумал, что неприветливость ее в разговоре происходила от грубоватости ее рук: кожа на концах ее пальцев так потрескалась, что этого не поправишь никаким глицерином. Это произвело на Готарда такое впечатление, как если бы, кушая нежный бульон, он ощутил бы на зубах своих вдруг попавший ему в рот кусочек галеты. Между тем, он не мог не смотреть на ее руки: ему казалось, что на концах ее пальцев осталось что-то грязное, страшное. У него все время вертелся на языке вопрос к ней: «Что это такое вы делали там, в революции, отчего у вас руки стали такие?». Но он не решался это выговорить.

Она заметила, как пристально он иногда смотрит на ее руки, и стала их прятать. Но тут же укорила себя: к чему? Ведь, в самом деле, не приехала же она заменять ему жену, — следовательно, не обязана нравиться. Она не виновата, что она сирота и что Готард — ее единственный близкий человек по сестре.

Готард пригласил м-ль Болье отправится с ним в театр «Пастушеские сумашествия» («Folies bergères»).

Там в быстрой смене картин, как в калейдоскопе, шла какая-то пьеса про Наполеона. Маленький француз, еще молодой, но уже рыхлый, играл Наполеона.

Заключительная сцена называлась «Корона Наполеона». Она заключалась в том, что рыхленький француз сидел неподвижно на стуле, а над его головой, на круглом возвышении была императорская корона, составленная из голых женщин. Женщины, опираясь ногами, слегка дрожащими от усилий, выгибали животы и поднятыми вверх руками образовывали верхнюю узорчатую часть короны. Напряженные

женские фигуры чуть-чуть покачивались и розоватые пальцы их ног, упирающиеся в самый край возвышения, судорожно старались не соскользнуть и удержаться на краешке подставки.

Оркестр воем скрипок, звоном бубенцов, боем больших барабанов, щелканьем деревянных колотушек ревел неистово много-много раз победную «Марсельезу». Зал дрожал от рукоплесканий и пьяного многоголосия публики. Казалось, само здание рассыпается по кирпичику во славу Наполеона и вот-вот он, такой же маленький и рыхленький, как француз, изображающий его, гремя шпорами, вдруг войдет в зал, пройдет между рядами, войдет на сцену и скажет:

Да здравствует Французская империя, взошедшая на прекрасных дрожжах революционного энтузиазма.

М-ль Болье вдруг почувствовала себя француженкой, и ей захотелось подвигов. Она схватила Готарда за руку и шепнула ему:

— Уйдем, уйдем отсюда, из театра!—и потащила Готарда к выходу.

— Что с вами?

— А я не знаю... я боюсь, что мне это не приятно...

— Почему?.. Почему?..

— Народ вас лишил императора и короны... А вы у народа похитили его революцию и ее гимн... Что лучше?.. Что хуже?..

Они поспешно вышли на улицу. В темном небе слышался глухой моторный шум. Это не звуки космических лучей, не шум крыльев ангелов, спускающихся на землю во славе и грозе, это не рев дракона, плывущего в небе среди звезд, это—стрекотанье мотора огромного цеппелина, трофея побед французов над немцами. Невидимо или видимо проносится едва заметной тенью ночами по небу воздушный корабль. Не о нем ли страдала тень Наполеона Бонапарта? Может быть, и в самом деле с воздушного корабля Наполеон «видит землю во мраке ночном»? Или это бред Парижа после Марнских, Аррасских, Верденских побед сгустился темным гремучим облаком и проносится ночами над Парижем?..

Готард пригласил ее пойти с ним ужинать в Булонский лес.

Там, смотря по погоде, можно было сидеть либо на «чистом воздухе», либо в самом помещении. Чистым воздухом считался тот, что витал над ровным квадратом земли в три сажени. По бокам этого участка земли шла крытая галерея. На ней стояли столы и стулья. На столах уютно горели лампочки, освещающая фарфоровые тарелки и хрустальные бокалы. На площадке, открытой небу—рояль. Около него скрипач и виолончелист. Через всю площадку—электрические шнуры, протянутые в разных направлениях и унизанные лампочками в форме нежнейших роз, сияли ослепительно. В четырех углах галереи росли четыре огромные деревья. К столбам их были прикреплены длинные жестяные жолоба, поставленные вертикально и направленные открытыми своими частями на площадку. По дну каждого жолоба тяну-

лось толстое стекло, пропускающее через себя зеленовато-голубой матовый свет, долженствующий изображать свет луны.

Около одной из таких стеклянных «лун» и устроились Готард с м-ль Болье.

Лакей в черном фраке приносил на подносе яства с видом священнодействующего служителя алтаря во время таинства евхаристии. Если долго приходилось ждать какого-нибудь блюда, то лакей, наклонившись над столом и показывая гнилые зубы, смешанные с двумя - тремя золотыми, рассказывал о битвах на полях Арраса, о том, как ночью светятся трупы от того, что, разлагаясь, выделяют газы, про осаду Вердена и о том, как он был ранен в 19 местах. М-ль Болье только тут заметила, что лакей действительно прихрамывал на правую ногу.

После ужина, в первом часу ночи, под звуки однообразной, но возбуждающей музыки, закружились пары. Дамы в объятиях мужчин, лениво-привычно закатывая глаза, изгибались всем тонким телом. Мужчины шаркали по полу слабеющими от истомы ногами. Танцующие, толкаясь друг с другом, перебрасывали свои головы в такт музыке то справа налево, то — наоборот. Мужчины еще вытягивали шеи, чтобы казаться выше дам и маячить не под лицом ее, а — над. Дамы были в газовом и декольтированы. Мужчины — в черном. Выражения лиц, несмотря на страстность поз у дам и мужчин, были самые деловые, такие, как бывают у сапожников, когда они принимают заказ, или у почтово-телеграфных чиновников, принимающих заказные отправления, или у фармацевтов, когда они дозируют порошки. Вообще же, как заметила Соланж, это был не танец, а топотно-толкательное упражнение, к которому и относились поделовому.

Фокстрот прекращался в третьем часу ночи. Тогда публика приступала к шампанскому, крющону и сладостям. А на площадку, где танцевали, выходили три негра: пожилой, юнец и неопределенного возраста и даже пола, карлик. Они кувыркались на разные манеры. Карлик ложился на живот, запрокидывал ноги сзади за свои уши, притягивал их руками к лицу, составлял таким образом из своих конечностей замкнутое кольцо, из которого торчала голова, и в таком виде катался кубарем по всей арене. Через него, отбрасывая себя прыжок вверх, кувыркались другие два негра. Для большего эффекта музыка не играла, а шипела, негры же гикали, а карлик охал.

— Замечательно? — спросил Готард м-ль Соланж.

— Скучно.

— Ах, так, — тогда идемте в другое место.

Они направились в Hall.

Это некоторая часть города, занятая крытым, железо-стеклянным и без окон помещением. Площадь его — пять шесть кварталов по всем четырем сторонам.

Ежедневно, с утра в этом помещении начинается торговля мясом, капустой, луком, картошкой, салатом, морковью, рисом, черносливом, яблоками и мясом, мясом, мясом: Продукты подвозятся с двух-трех часов утра. Деревенский здоровый народ, мужчины и женщины, в большинстве молодые, выгружают свои товары, раскладывают мясо и овощи на ларях и прилавках. Автомобили, «фордики» или «ситроены», подвезшие эти продукты, разгружаются быстро.

Вот в это время, когда уже все фешенебельные рестораны закрываются, в Hall и стекаются посетители этих ресторанов, утомленные ярким светом лампочек-роз, стеклянных лун, белизною дамских туалетов и блеском черных смокингов. Дамы в белых туалетах, мужчины в бальных туфлях испытывают большое наслаждение побывать в этом грубом, деревенском Hall'е. Там они проводят время в маленьких трактирчиках, где вместе с торговцами и торговками за грязноватыми столами на засаленных скатертях, разрисованных узорами винных и пивных пятен, пьют дешевый суррогат кофе...

Элегантные мужчины заводят знакомства с румяными грязноватыми деревенскими девушками.

Так просиживают в Hall'е высокосветские посетители, пока не зардеется утро и пока не наступит то пьянящее утомление, какое овладевает шаманами после их плясок и радений.

Возбужденный утренней зарей и всем тем, что его окружало, Готард говорил м-ль Болье:

— Ведь мы с вами здесь в самом великосветском обществе. Это место особенно стало популярным после войны, она демократизировала население, ибо в окопах одинакова была смерть и для генералов, и для солдат. О, мы теперь демократы — не то что раньше. Вы видите, какое единение самых высоких особ Парижа с деревенскими жителями. А в наших, наиболее консервативных газетах, вы найдете некрологи о наборщиках, сапожниках, столярах и пр. Обратите, в самом деле, внимание на заднюю страничку (петит) в наших лучших газетах. А почему: борьба за существование нации объединила все элементы общества. Сотрудничество социалистов с правительством оказалось не эпизодом.

На лице, на глазах, на пальцах, потрескавшихся от русской яромозглой картошки, лежал каменный беззвучный ответ Соланж. Почему она так непонимающе — молчалива? Почему ее глаза не зажигаются при виде теплого, кровавого «чрева Парижа»? Почему ее лицо отвернулось от «короны Наполеона»? И почему эти руки — руки в женщине самое главное! — почему эти руки такие нечувствительные, немагнитные, незадевающие? Что они делали в России?

Готард испытывал приступы бешеной досады на то, что он не мог заставить ее полюбить Париж той любовью, какой он любил его сам, что не мог влить в ее душу противоядие той отраве, кото-

рой ее напоили там, в жестокой и холодной стране. Нет, не может быть неудачи: он должен вызвать в ней Эвелину. Он стал говорить м-ль Болье о том, что жить нужно полно. Нужен полный расцвет всех ощущений и чувств человека. У человека есть чувство обоняния, — следовательно, нужны хорошие запахи, цветы, духи, ароматные масла и краски. Есть чувство слуха, — следовательно, необходимы тончайшие звуки музыки и пения. Для чувства зрения надо позаботиться не видеть уродливости и одеваться изысканно до последней возможности, нужно еще, чтобы взор ласкали мягкие пейзажи. Есть чувство осязания — нужно, чтоб под руками находилось что-нибудь бархатистое, мягкое, — собачка, например. Для удовлетворения чувства вкуса нужны тающие во рту яства (устрицы), не нужно допускать ослабления вкуса, — поэтому хорошо жевать розовую пасту постоянно, как делают американцы. И, наконец, ведь есть же чувство любви!..

— Да, есть, — тихо выронила Соланж, так, что Готард, увлекшись своим, даже не заметил.

— ... Чувство любви, — продолжал он. — Чтоб удовлетворить это самое ненасытное и, кто его знает, кажется, уродливое чувство, нужно немного: надо, чтобы рядом с тобой было другое, подобное тебе существо, Больше нет ничего. Остальное — смерть и смерть. Человек Запада, знающий, что за смертью не следует ничего, до наступления ее хочет иметь все, максимум возможного...

— А там, в снежных пустынях, на русской равнине, смотрят немного не так...

Но Готард уже прямо боялся ее слов. На этот раз он сделал вид, что не расслышал, и, чтоб отвлечь ее и себя от возможности каких-нибудь серьезных объяснений, сказал:

— На Монмартр, идемте на Монмартр! Скорее, а то пройдет ночь! Они поспешно вышли из Hall'я.

— Видите... Видите... Посмотрите, над Сеной, — говорил Готард. — Видите там красное зарево?

— Вижу.

— Это — Монмартр.

— Ах, а я не то смотрела. Я думала, что вы показываете направо. Видите — и там какое-то зарево.

— А-а-а! — Готард махнул рукой. — Это ничего... это луна заходящая. Нынче почему-то она особенно большая и красная. Но горящий-то Монмартр вы все же видите?

Он показывал в одну сторону, а она смотрела в другую: на луну, выглядывающую из-за Лувра... Лицо луны было красное, как у баб от мороза, широкое и распутно-доброе. Лицо луны, грустное над полем, сказочно-таинственное над лесом, жуткое в одиночестве своем над морем — здесь, над городом оно выглядело как лицо сводницы. Нехороший был вид у луны над Парижем и в этот час. Тусклые лучи ее боролись со светом бульваров и кино, с рекламами на стенах домов,

с прожекторами на крышах магазинов и больше всего с господином Ситроеном, который арендовал и зажег башню Эйфеля.

На башне этой все ее железные контуры были унизаны лампочками, которые сливались в сплошные полосы света и казалось, что в темном небе световыми ремнями вырезаны контуры башни. Башня, врезавшаяся ребрами своими в небо. А посреди ее электрических ребер беспрерывно выскакивала узорным фамилия «Ситроен». Гигантская, в небо выскакивающая реклама была уже явно не только для населения земного шара: может быть, для существ Марса или луны... Казалось, что это небо, само небо пылает рекламой автомобильной фирмы Абрама Ситроена, который упорно, ежесекундно рекомендовался и земле, и небу, и луне, и звездам: «Я—Ситроен, я—Ситроен» Кто знает: может быть, и на Марсе найдутся желающие купить дешевый грузовичок...

Наступал предутренний час ночи. Ночь, измученная, иссеченная огнями, стонала, изнасилованная светом.

Соланж и Готард были уже на верхушке Монмартра. Внизу Париж скалился каменными домами, как издыхающая в поле лошадь зубами. Соланж еще раз кинула взор на ущербленную луну, на световые крики Ситроена и, слегка вздрогнув, захлопнула за собой дверцу красного кабачка...

В нем было так дымно; что он походил скорее на русскую жаркую баню. Между столами прогуливались совершенно голые женщины. Садись то к мужчинам, то друг к другу на колени. Ласково трогали за подбородки. Поведение их, впрочем, было ничуть не навязчиво и не грубо. Наоборот, с первого взгляда их можно было принять за детей, которых только что раздели и которым непривычно разгуливать в таком состоянии. Манера делать из себя застенчивых входила в состав их нелегкой профессии. На женщин этих в кабачке почти никто не обращал внимание. Они были как мебель, как бумажный комок роз, привязанный к потолочной лампочке для украшения в доме бедной проститутки.

В кабачке, как и всюду в подобных местах, гремели тарелки с закусками и бокалы звенели в веселых руках, подавались неразборчиво написанные счета за пиво, за вино, за бутерброды, за коньяк.

Какие-то люди играли в мадзян. У самого входа сидела компания, в которой полушопотом велись какие-то споры. Люди эти то-и-дело вскакивали, выкрикивая по адресу друг друга нехорошие слова. В дальнем углу двое старичков, умильно глядя на женщин, клевали носом от слабости. За стойкой один лохматый человек с черными усами держал в руке куклу—маркиза в черной маске. Кукла пискливым голосом чревовещала смешные истории. Среди столов и голых женщин ходила одна, одетая во все черное, молодая и смуглая женщина с синими глазами, как небо в летний день. Это художница: она продавала посетителям свои картины.

— Это вот домик на Монмартре,—показывала она.— Это разрушенный замок... Это... мой портрет...

Некоторые ее спрашивали, а нельзя ли купить самую натурщицу этого портрета. Таким она вежливо и застенчиво улыбалась и отвечала:

— Когда продам все картинки, приду к вам.

Говорила так каждый день. И никогда не приходила ни к кому, потому что никак не могла продать всех картин.

Недалеко от стойки сидела высокая женщина в строгом, но изысканном сером платье, с натуральным, т.-е. не подкрашенным, лицом, в серебристой шляпе, составленной из лент, которые обволакивали ее голову наподобие мусульманской чалмы. Глаза у женщины были серые и остановившиеся. Она курила тонкие папиросы.

Она вдруг ударила кулаком по столу, водворив около себя приблизительную тишину и стала декламировать: «*Si tu viens ce soir*»¹⁾...

Это монмартрская поэтесса. Ее здесь все знают. В стихах ее всегда один и тот же мотив: она кого-то любила, у любимого нет ни имени, ни плоти. И вот она обречена на вечные муки. Поэтому стихи она читает с огромным чувством, а отдаваться может кому-угодно и безразлично. Но мужчины ее не любили из-за одного ее каприза: она требовала понять ее слезы.

Спускаясь пешком с горы Монмартра, м-ль Болье заметила у тротуара налево какую-то бронзовую фигуру.

— Это что? — спросила она.

— Глупость,—ответил Готард,—памятник атеизму. Какой-то самодур, анархически настроенный, откупил это место, где во время прохождения религиозной процессии какой-то оригинал отвернулся от креста—то было, впрочем, давненько!—и вот поставил на этом месте фигуру этого атеиста.

— Какая же в этом глупость?

— Глупость в том, зачем понадобилось сердить благочестивую часть населения.

— Вы, кажется, социалист?

— Социализм настоящий был только во времена Парижской Коммуны, да в движении марксистов девяностых годов. Кстати: тогда именно и нужно было бы делать социальный переворот, а теперь капитализм перезрел и все отравляет так, что приходится противостоять его разлагающему действию, а не бороться с ним... Теперешний же социализм—и именно поэтому—не более, как этикет, главным образом, предвыборный. Теперь считается просто неприличным выступать на трибуне и не быть социалистом. Это потребность приличия для всякого культурного человека.

— Вот как: так не вас ли я спасла давно, давно, когда вы спрашивали меня, почему вы лжец, когда рабочие готовы были наброситься на вас?

— В самом деле вы?..—Готард схватил и сжал ее руку.

¹⁾ «О, если бы ты пришел сегодня вечером».

Болье вырвала руку.

— Вот то, что вы мне сказали, и есть ответ вам на вопрос, почему вас считали и считают лжецами...

— Разве место и время сейчас для митинга, дорогая Болье? Ну, что ж, пойдите, разоблачите меня где-нибудь на собрании. Разоблачения у нас любят, как водевили. Но не советую вам. Любите и дорожите только своею жизнью. Ведь жизнь—это то, что могло случиться только один раз.

И вдруг, почувствовав себя кровно оскорбленным Соланж, ее руками и тем, что прекрасная парижская ночь прошла для него бесполезно, Готард сказал Болье с нескрываемым злым издевательством:

— А знаете что, мадемуазель: мы не побывали с вами еще в одном замечательном месте. Не поздно еще, пойдете. Это место в настоящем рабочем квартале и посещают его только истинные пролетарии, в которых нет ни капли лжи, которые социализм понимают, как неизбежный ход вещей, а не как мы. Пойдете к пролетариям.

Готард звал ее в один пригородный кабачек—клуб парижских бродяг и воров. Учреждение это известно всему Парижу своими неприличиями. Голые и голодные женщины клянчат там у посетителей франк, прося бросить его на стол, и потом достают его своим половым органом. Так выколачивают себе кусок хлеба...

Соланж не знала всего этого, но тон, каким приглашал ее Готард, навеял ей страшные мысли. Она внимательно посмотрела в натруженные волнением и бессонницей глаза Готарда. Глаза его походили на две темнеющие раны с запекшейся кровью. Болье сказала ему без злобы, немного даже с жалостью: «Адъё».

И они разошлись, когда сероватое парижское небо стало розоветь от восходящего солнца.

Болье видела, как навстречу заре Эйфелева башня все еще кричала своим светом об автомобильном предприятии Ситроена.

Однажды утром Готард вызвал к себе звонком горничную и стал выговаривать ей за то, что до сих пор она не подняла шторы на окнах. Горничная в удивлении немного попятилась, заметила что-то странное в лице Готарда.

— Шторы давно подняты, мосье Готард.

— Как так подняты? Что, я не вижу, что ли? Ведь ничего не видно. Я даже вас плохо различаю. Где мадемуазель Болье?

— В пансионе мадам Дюре.

— Но все-таки я вас не вижу. И все-таки пригласите-ка мне Болье. У меня должно быть мигрень.

Горничная побежала за Болье.

Готард стал ощупью гулять по квартире, направляясь к окнам, к дверям. Щупал подоконники, косяки дверей. Недоумевал, почему это во всех комнатах так темно.

— Странно, странно,—шептал он сам себе и напряженно прислушивался к своим звукам: ему казалось, что он глохнет.

— Как темно, как темно,—рассуждал он все громче и громче, ужасно боясь глухоты.

— Нет: это все-таки шторы опущены,—утешал он себя.—Но ведь это ужасно: без воздуха задохнуться можно, опущенные шторы и воздух скрывают. Откройте шторы! Поднимите с окон тяжелый черный бархат. Люди, ведь мне ничего не видно! Откройте! Откройте!

Он кричал джим голосом и не слышал, как в комнату вошла Соланж и с ужасом смотрела на него, в халате и туфлях бродящего по пустой квартире, и в особенности на его глаза: они показались ей тусклыми, как слюда, и без всякого выражения, как у кукол.

— Мосье Готард, не кричите: сейчас придет доктор.

— Ах, ах, вы здесь! Я, кажется, рад этому. Но я вас не вижу, какая вы и потому не знаю, рад я или нет. Такая черная тьма, мне кажется, что я глохну.

— Сейчас придет доктор. А вы оденьтесь пока. Сюзанн, пригласите Франсуа, чтобы помог одеться.

— Зачем доктора!—закричал Готард.—Я ведь глохну не от простуды, а от шума, который вы, вы принесли с собой из вашей северной Сахары, из Азии, вломившейся в Европу. От него я глохну. Лучше бы мне никогда не слышать вас. Вы свободны, мадемуазель Болье. До свиданья, адъё! Когда я буду там, где ваша сестра—я теперь знаю, где она,—я расскажу ей все. Зачем, зачем вы приехали? Нет: зачем я сам?.. Лучше не думать, а то глохнешь еще больше. Если вам так же темно, как мне, я попрошу Сюзанн вас проводить.

Пришел дородный Франсуа, взял барина под руки, увел в кабинет и там одевал, как малого ребенка.

Доктор констатировал поражение зрительных нервов, происшедшее на почве сильного нервного шока.

Выйдя от Готарда, Соланж долго колесила по улицам. Как тогда, когда она бродила по мордовской деревне, ее об'яла радость от ощущения того, что вот там, в доме, который она покинула, смерть и муки, а в ней уже совсем, совсем близко бьется нерожденная жизнь. Опять за эту радость ей стало стыдно, потому что эта радость была только ее радостью. Усилием воли она заставила себя разбираться, виновата она или нет в страшной болезни, поразившей доброго, по существу, человека.

Готард под заботливым присмотром Франсуа жил на вилле в южной Бретани. Он больше никогда не видел ни лазури неба, ни лазури моря, ни румян земли в лучах заходящего солнца, ни звезд, ничего живого и мертвого.

Кто-то взял глаза Готарда и положил их в гроб.

Но Готард еще больше прежнего любил теперь свою родину. Он написал пространное письмо руководителям французской жизни, в котором говорил: «В лице Москвы я и многие со мной ждали возвращения союзницы. Она пришла к нам, действительно, но пришла другой: черствой, заскорузлой, с ужасными, ужасными руками. Она не союзница наша больше. Она презирает нашу культуру, как чернокожие люди Африки. Но чернокожие для нас не страшны. А вот те, что в Москве... Как вы думаете, что они сделают, если им удастся выйти из того нищенского состояния, в каком они находятся? Они сделают вот что: переарендуют у Ситроена Эйфелеву башню и на ней вместо Ситроеновских узоров, зажгут свои слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Представьте же себе, что в течение всех вечеров и ночей—«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» будет беспрерывно, ежесекундно маячить в небе красными и бордовыми буквами. Вот что, по-моему, грозит Парижу, столице Европы».

По ночам пустующий дом Готарда, черный и седеющий, с поднятыми постоянно шторами на окнах, никогда не освещающийся, уверенно-слепо смотрел на парижский бульвар. Иногда консьерж-старик с длинным шатающимся зубом посредине рта обходил дозором комнаты, где с каждой стены смотрели рожи красные и раздутые, хохочущие над всеми революциями. Насмотревшись на них, консьерж иногда вдруг сам начинал громко смеяться ни над чем в особенности. А, может быть, даже на собой...

У Соланж Болье родился сын—две капли воды рабфаковец Вася.

Париж, Saint-Clon, 6, rue de Fennerole.

Эстония

Н. УШАКОВ

Молочными волнами
весь берег окроплен,
летит над валунами,
как паутина,
лен.

Я слышу
лай легавой
и резкий ост в полях.

Я вижу
торф, и гавань,
и кузов корабля.

Везут на бойню эсты
взволнованных свиней,
и нету в мире места
подобного тесней.

Крутые лютеране
на прачешном плоту
жерлицами тиранят
уклеек
и плотву.

Гер ка-питэйн шпаклюет
свой полутригер сам.

Художницы малюют
закаты в парусах.

Но только ветер сильно
качнет

мольберт
и плот,
химической красильной
и мистикой
пахнет.

Луной волну обрызжет,
и ноги проминать
выходит
латник рыжий
на тихий променад.

И смотрит в окна зданий,
качаемый в воде,
не видно ли восстаний
в красильной слободе.

Песня борцов

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

Я знаю: о нас расскажет труба,
Барабан не забудет вовек,
Пока ликует на свете борьба,
Пока живет человек.

Не станет нас—миллионы других
Встанут за нами, как тень.
Недаром любили мы молодых:
Видней им наш завтрашний день!

Колесо мироздания скрипит и скрипит,
Грохочет землеворот,
Один из наших на спицах сидит,
Веселую песню поет:

— Колесо, вертись. Колесо, кружись
Быстрее, быстрее, быстрее,
Вниз — и вверх. Вверх и—вниз,
Г-ы-ы-у — Г-о-о-у-у — Г-е-е-й!

Споткнешься—на помощь не зови,
Паденья тебе не простят,
Не о радости и не о любви
Высокие звезды свистят.

Давно мы шагаем дорогой огня
В грязи, в пыли, в снегу;
И, падая на землю, хрипя и кляня,
Ломаем колени врагу.

Небес—не достать нам.
Звезд—нам не счесть.
Кудахчет старая твердь,
И хлеб—у нас есть,
И песня—есть.
Но все забирает—смерть.

Но рано нам плакаться на судьбу;
Нет голоса слаще во мгле,
Чем голос, что славит старуху-борьбу—
Праматерь всех благ на земле.

Колесо, скрипи, колесо, свисти.
Быстрее, быстрее, быстрее.
Перемешались земные пути
Г-ы-ы-у — Г-о-о-у-у — Г-е-е-й!



СЕМКА

Рассказ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

I

Стадо гнали на водопой мимо песков за Чистый дол. Семка шел впереди, чтобы не турить коров. Он напряженно всматривался в прощелки между деревьями, искал что-то. Его липовая дуда висела у пояса.

Слева, между стволами красных сосен, мелькнули желтые пятна—пески. Семка подался туда и в широкой прогалине увидел на песках людей. Это были женщины. Две купались—стояли по колени в воде, а другие—много—лежали на песке, большие и ленивые, похожие издали на розовых коров.

Пока стадо проходило мимо, Семка, немигаючи смотрел на женщин. Он хотел угадать, которая из них та тоненькая белокурая девушка, что приходила к нему—вот уже два раза—послушать, как он играет на дуде. Девушки не было. Или это она лежит вон там, вдалеке, укрытая чем-то белым? Семка подошел к последней сосне, чтобы лучше видеть. Сзади захлопал кнут. Иваныч крикнул, смеясь:

— Опять на баб засмотрелся? Гляди, ослепнешь.

Семка смущенно оглянулся.

— Чего мне на них глядеть?

— Не знаю чего, а вот будто веревкой тебя тянет.

Семка досадливо взмахнул кнутом, хлопнул и побежал вдоль обрыва, обгоняя коров.

За Чистым долом коровы спустились к реке, зашли в воду, пили, купались, мычали от удовольствия. А Семка и Иваныч сидели на бугре, в тени под липами, обедали.

Иваныч говорил. Иваныч говорил о том, что теперь опять пришла лафа недорезанным буржуйам: «Пьют, едят, купаются,—только и делов у них. И стреляли их, и били,—а они все живы,—пропасти на них нет!». Он остро, погаными словами поносил женщин, что голые и бесстыдные лежали целыми днями на песке. А Семка—весь заряжен-

ный любопытством—слушал, притаившийся, опустив глаза в землю, не смея глянуть в глаза Иванычу.

— А ты бы, Сем, женился, пойдь, на такой?—спросил Иваныч.

Он перестал жевать и прищурил левый глаз, ожидая ответа. Семка молчал.

— Ну, знамо, женился бы,—ответил за него Иваныч,—как не жениться? С такой женой хоть на снегу спать ложись, не замерзнешь.

И, оглядываясь кругом, он досадливо сказал:

— Я бы и сам женился. Только что ж... Такие бабы богатым достаются.

Семка перестал жевать, задумался, уставясь глазами на свои новые лапти.

Иваныч пообедал, отполз в сторону, за дубок, и уже оттуда сказал Семке:

— Ты, Сема, гляди тут. Я немного сосну. Да хлеб-то убери, что останется. Не зачерствел бы.

Семка оглянулся. Ему уже не хотелось есть. Он неторопливо положил куски в сумку—два отдал собакам, каждой по куску,—сумку положил в тень под дерево, сам пошел вниз, к реке. В посконной чистой рубахе, в посконных штанах, в новых лаптях, белокурый и синеглазый—он был, как пастушок из сказки. У последнего дерева на берегу он остановился, сел на старый корень. Он думал о словах старого пастуха, о белокурой девушке, которая уже два раза приходила его послушать. Ему было печально, будто его кто обидел. Он отвязал дуду от пояса и заиграл. Играя, он искоса поглядывал в сторону, к пескам, где были женщины. Он ждал, что за деревьями раздадутся легкие шаги...

Коровы на берегу разлеглись лениво—отдыхали. Они медленно двигали челюстями, пережевывая жвачку. Легкий ветер дул с реки. Коровы все повернулись ему встречь—головами в одну сторону. Семка играл долго, перебирая все, что знал: и веселые плясовые мотивы, и печальную калинушку. В лесу, позади, захрустели ветви под чьей-то ногой. Дуда у Семки хрипнула и заиграла веселее. Шаги приближались. Шли двое. Они подошли близко и остановились. Семка не оглянулся.

— А-а, вот кто тут играет,—заговорил густой голос.

Теперь Семен понял, что нужно оглянуться. Толстый бритый мужчина в белых туфлях, усмехаясь, шел к нему. Черные, гладко зачесанные волосы его лоснились. Позади мужчины, отстав лишь на один шаг, шла немолодая толстая женщина в белом просторном платье. Семка смущенно поднялся и почему-то спрятал дуду за спину. Он ждал гостей,—только не этих. Мужчина сказал:

— Мне говорят: пастушок хорошо играет на свирели. Я не верил. А теперь вижу: ты на самом деле играешь не плохо. Ну-ка, дай посмотреть твою музыку.

Семка молча протянул ему дуду.

Бритый завертел ее в руках, осматривая со всех сторон. Он улыбался. Женщина подошла ближе и в упор рассматривала Семку—его льняные волосы, его посконную рубаху, онучи, лапти.

— Смотрите, Лидия Власьевна, совсем примитивное устройство,—сказал мужчина и протянул дуду женщине. Та глянула на дуду мельком, сказала:

— Да? Тем не менее, звуки великолепны.

Мужчина протянул дуду Семке.

— Ну-ка, сыграй что-нибудь, я послушаю вблизи.

Семка закоснелыми руками взял дуду, приложил к губам, заиграл. Но ему не хватало духу, руки у него дрожали, и дуда играла резко, неверно, как, может быть, не играла никогда. Семка поперхнулся. Мельком глянув, он заметил: брови у женщины поднялись высоко, глаза глядели строго, удивленно.

— Ты не смущайся, брат,—сказал, смеясь, мужчина,—мы тебя не с'едем. Ты играй спокойно.

Семка опять заиграл и опять плохо.

— Вы играли лучше,—недовольно сказала женщина,—куда лучше, чем сейчас.

— Не знаю... Я не умею... лучше,—забормотал Семка.

— Умеете! Умеете! Но только вы смущаетесь. Перестаньте сейчас играть. Лучше скажите, откуда вы, кто вас учил играть на свирели?

Она подошла совсем близко, посмотрела Семке в глаза. Мужчина стоял поодаль, усмехаясь. Он засунул руки в карманы. Семка еле ворочал языком, весь красный, сразу вспотевший, отвечал односложно.

— Из Старого Бора.

— Учил дедушка Матвей — пастух.

— Отец есть.

— Мать тоже есть.

— Бедные...

Женщина кивала головой при каждом его ответе. Еще спрашивала, еще,—трещала по-сорочьи. А мужчина все стоял, засунув руки в карманы брюк, и улыбался.

— Мы еще придем вас послушать,—сказала женщина,—пока до свидания.

Они пошли, и Семка слышал, как женщина говорила:

— Вы послушали бы, как он играет утром. Сейчас он, конечно, смутился.

Когда они скрылись, из-за дерева выглянул Иваныч, стоявший здесь, должно быть, уже давно и слышавший разговор.

— Иль на допрос приходили?—ухмыльнулся он.—Будто налог собирают, все выспрашивают. Ну, пойдём, подымай скотину. Пора! А с баржуями не связывайся. С ними беды не оберешься...

Семка искоса посмотрел на Иваныча и недоверчиво усмехнулся.

II

Село было большое. Улица протянулась на целую версту—от Белого колодца до Рогулькина выгона, и все-таки Семка проходил ее всю, не переставая играть на дуде. Иваныч поджидал его на церковной площади, у колодца. Он слушал, чуть склонив голову на бок, и борода у него ходила волнами от улыбки. Семкина дуда играла вольно, точно козы прыгали по горам или жаворонки заливались в небе. Утро еще только наметилось, красное лицо зари поднялось над дальними полями, село еще молчало все—даже собаки не брекали, а веселая дуда звала. Иваныч слушал-слушал, потом поднял свою большую—почти в сажень длины—берестяную трубу и заиграл, вторя Семкиной дуде. Труба рокотала глухо, воркующим, немного усталым голосом.

Так они двое, играя, будили село.

В это утро вместе с бабами, выгонявшими коров, на улицу вышел и бритый мужчина, неумытый и всклокоченный. Он кутался в пестрый халат, смотрел вдоль улицы, туда, откуда шел Семка.

Семка, погоняя коров, шел посредине улицы. У Кудрявцева двора он вдруг увидел бритого человека в пестром халате. Он смутился, поперхнулся, перестал играть и захлопал кнутом. Вчерашний мучительный случай сразу всплыл в памяти. Семка хотел поскорее пройти мимо. Но бритый закричал:

— Эй, Семен! Поди-ка сюда.

Семка боком подошел к нему. Бритый спросил:

— Ты где ночуешь?

— Мы по череду. Нынче у тетки Лукерьи.

— Это где?

Семка кнутом указал на новенький домик.

— Эна изба в два окошка, с ветлой.

— Вот что: как только ты поужинаешь, приходи ко мне. Я хочу с тобой поговорить.

Семка с ужасом посмотрел на бритого. Он не знал, что сказать.

— Ну, что ты на меня уставился? Опять пугаться вздумал? Не с'ем. Приходи. Я хочу тебя послушать. Может быть, из тебя человек выйдет. Придешь, что ли?

— Приду,—с трудом ответил Семка и пустился догонять коров.

И весь этот день, бродя за грузными коровами по лугу и лесу, Семка был как ошалелый. Иваныч ворчал:

— «Человек выйдет». Будто пастух не человек. Знамо, позовет в город; уведет. А город пожует-пожует, да и выплюнет. Видал я всяко. В город едут люди кровь с молоком, а оттуда—хрен с табаком. Стоит человек у места и не трогай,—пусть стоит.

И ходил затуманенный, тихонько похлопывая кнутом.

— Что же, пойдешь, Семен?

— А что?

— Не ходил бы ты. Гляди, соблазнят тебя сладким житьем, а потом мучайся всеё жизнь. Вот плетневскую Дуньку видал, как обделали? Тоже вот барыня одна—«поешь, Дуня, хорошо, тебе в город надо ехать, учиться». И увезла. А потом,—глядим,—из Дуньки вышла шалава... Сладкое-то житье не всем по зубам.

Он помолчал. Погладил левой рукой тощенькую бороденку.

— А иное дело—парень не девка, с тропы скоро не свалится. Иди, я не препятствую, може счастьем найдешь. А пастух... что ж, пастухом никогда не упоздано сделаться.

И потом до самого вечера он учил Семку, как надо правильно обращаться с господами.

— Хоша ныне господ и нет, ну только этот—твой—по виду в роде барина. Так ты ему, Сем, угождай. Нос рукой не утирай—господа этого страсть не любят,—ежели что, норови утереться подолом. Поглядел я,—чудной народ эти господа. Посморкаются, и в карман. Надо бы мне с тобой пойти. Я бы подмог в случае чего. Трудно тебе будет, не знавши, как чего сказать.

— Он звал одного.

— То-то и горе твое, что одного звал...

Вечером Семка пошел к дачнику. Он был в чистых онучах, в чистых портках, гладко причесанный. Дачник сидел у ворот, бритый, толстый, без пояса. Он заулыбался Семке навстречу.

— Ну, иди, иди, музыкант, иди. Жду.

Семка едва волочил ноги, точно они были сделаны из кудели, и поклонился издали, как его учил Иваныч.

— Что ж ты не захватил свою дудку? Ну-ка, брат, сходи за ней. Нам нечего попусту тратить время.

Когда Семка—чуть расхрабрившийся—вернулся с дудой, на скамейке у ворот сидел дачник и с ним Лидия Власьевна—та самая, что приходила в лес—вся в белом, толстая и благодушная.

Уже смеркалось,—и оба они—белые—светились.

— Вот он, герой наш,—сказала Лидия Власьевна.

Она поднялась, взяла Семку за руку и, заглядывая ему в глаза, повела к калитке.

— Вы, Наум Михалыч, конечно, угостите нас чаем?—спросила она, повернувшись к дачнику.

— Конечно, все давно готово. Только вот герой пришел поздно.

Они вошли в комнату. Это была изба Василия Кудрявцева—здесь Семка бывал множество раз. Но в избе было как-то по-новому,—кровать белая, на столе большая лампа, коробки, банка, сверкающая посуда. И от них, что ли?—езде было светло и чисто. Семку усадили возле окна. Лидия Власьевна налила ему чаю.

— Кладите сахару. Пейте. Вот сухари,—сказала она, подвигая к Семке стакан.

Семка слышал ее голос, точно из-под воды, неловко перебирал пальцами бахрому скатерти и мучительно чувствовал, как с него градом льется пот. Наум Михайлович принес к столу черную дуду, оснащенную белыми металлическими бляшками.

— Ты видел такую, Семен? Это фагот—внук твоей жилейки. Смотри, в нем лады, как у твоей дудки.

Семка почему-то сразу забыл о смущении, весь напрягся, пристально глядя на черную лакированную дуду. Наум Михайлович привинтил к ней костяной наконечник, вложил в рот, и, перебирая пальцами, дунул. Фагот запел сильно и красиво,—такого пения Семка не слышал никогда.

— Видал?—опять спросил Наум Михайлович, и глаза у него смеялись. — хорошо?

Семка восторженно смотрел на дуду.

— Хорошо!—сказал он.

Он протянул руку:

— А мне можно?

— Конечно, можно. Ну-ка, вот сюда клади пальцы. Вот так. Этот сюда... Э-э, смотрите, Лидия Власьевна, у него пальцы настоящего музыканта—тонкие и длинные. Ты, Сема, немного не так держишь эту руку. Вот так будет удобнее. Ну, теперь дуй.

Семка подул. Фагот издал чистый великолепный звук.

— Действуй смелее. Ну,—сказал Наум Михайлович.—Какую песню умеешь? Играй ее.

Семкины пальцы беспомощно ловили лады, но песня, хоть и неуверенная, все-таки вышла.

— Молодец. Если бы тебе с месяц поучиться, дело пошло бы. А теперь пей чай. Потом на жилейке сыграешь.

Семка отдал фагот. И странно—фагот придал ему храбрости—он уже не так смущался этих людей—толстых и важных. Опять пошли расспросы: кто отец, откуда, кто учил Семку играть, да были ли в роду игроки?..

— Матушка до сей поры песни поёт; на все свадьбы ее приглашают.

Лидия Власьевна сказала:

— Я всегда была уверена, что талант передается от матери.

Напился чаю. Семка впервые в жизни пил сладкий чай — он ему очень показался,—потом заставили Семку играть на жилейке. Семка опять смутился—ему очень неприятно было, что смотрели на его руки, на его лицо и дуду. Лидия Власьевна догадалась:

— Лучше потушить лампу. Так будет ему свободнее.

Она потянулась к лампе, дунула, и в избе стало темно. Семка заиграл. Теперь он играл свободно. Чего ему бояться? Жилейка запела полным голосом. Семка почувствовал себя вольным, будто на широких крыльях он летел над степью. Он играл одну песню за другой. И жалобные, и веселые.

Снова зажгли лампу. Семка смутился опять,—ему было стыдно: «эк, разбуянился!». Но он тотчас заметил: Лидия Власьевна смотрела на него по-новому—большими глазами, как-будто она стала маленькой, а он большой и на высокой горе. Наум Михайлович похлопал по плечу:

— И говорить нечего: талант. Теперь давайте придумывать, что делать.

— Что делать?—спросила Лидия Власьевна.—Во всяком случае, оставлять его здесь нельзя. Такому таланту нужна дорога. И настоящая дорога. Этот пастух добудет себе счастье.

— Конечно, конечно. В Москву надо. Год поготовится,—прямо в консерваторию. Но где взять средств?

— Можно концерты устраивать,—это будет так оригинально—настоящий пастух на эстраде... Успех будет обеспечен. Отведете его к профессору, тот устроит...

Они говорили, взбадривая друг друга. А Семка сидел в стороне, жадно слушал.

Ушел он от них поздно—уже трубили первые петухи над селом—шел, не чуя ног под собой,—и ему уже мерещилась большая, почему-то золотая Москва. Он не заснул до света. В третьи петухи Иваныч закричал, поднялся, зашептал громко:

— Семка! Семка!

Семка рассмеялся счастливым смехом. Иваныч охнул:

— Ох, что тебя. Аль дьяволы надирают?

Семка все смеялся.

— Ну, ну, будет уж тебе, — заворчал Иваныч. — Невесту, что ли, с приданным сосватали?

И весь день он приставал с расспросами: что было у «господ»?

Вечером у Кудрявцева собрались все дачницы,—те, что днем грелись на песке,—и между ними тоненькая девушка,—и Наум Михайлович пришел сам за Семкой.

— Идем, Семен, поиграй еще.

Иваныч усмехнулся.

— А меня-то что не присоглашаешь? Аль не слышал, как мы вдвоем отчекрыживаем?

— Что ж, пойдём и ты. Поглядим, какая в тебе сила,—сказал Наум Михайлович.

— Погляди, погляди!—с вызовом и задором проговорил Иваныч,—погляди!

Они пошли. Наум Михайлович и дед впереди—оба шли широким шагом. У деда был такой вид, что «ему сам чорт не брат», а Семка за ними—понурий, смущенный, со связанными руками и ногами.—«Вот, дьявол, увязался»,—с раздражением думал он про Иваныча. А вместе и рад был: не на одного него будут смотреть,—можно спрятаться за деда.

— Ты, барин, мне выпить дай,—сказал Иваныч,—уж если такое дело пошло, надо мне глотку прочистить. Я тогда соловьем-разбойником засвищу. Пра, ей-богу!

— Это можно. Стаканчик поднесу, — откликнулся Наум Михайлович.

«Старый пьяница»,—сердито подумал Семка. Ему стало стыдно дедова попрошайства.

Пестрая женская рать у Кудрявцева двора зашевелилась, когда подошли пастухи и Наум Михайлович. Дед и Семен сняли картузы.

— Еще здрасте!—весело и, как показалось Семке, с насмешкой воскликнул дед.—Позабавляться пришли? Дело гроее. Как это говорится: мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем.

— Идем, идем, дед, угощу,—поспешно перебил его Наум Михайлович.

Семка остался один под взглядом этих шушукующихся женщин, от которых пахло как от хороших цветов. Позади, возле изб, переговаривались деревенские—они тоже пришли послушать. Дед вернулся на улицу, еще больше развязный и разговорчивый.

— Ну, Сема, готовь жилейку—угостим барынь!—крикнул он.

Все это Семке очень не нравилось. Он боялся, что дед сейчас сделает неподобающее (это с ним бывало). Наконец, подняв берестяную трубу—большую, в сажень длиной—дед крикнул:

— Вали-ка плясовую!

И зарокотал. Звук вышел полным, круглым, здоровым.—Так запевают на деревенских пирушках сорокалетние дебелие бабы—весело, задорно, а вместе скромно. Семку будто толкнул этот рокот: он приободрился и, приложив жилейку к губам, заиграл. Пестрые пятна у ворот перестали шевелиться. Только сзади Семки, где стояли свои, деревенские, кто-то засмеялся, защелкал пальцами, притопнул. Дед закачал трубой вниз-вверх—так он указывал, что хочет сменить песню,—и оба заиграли задорные «Сени». Позади деревенские девушки заплясали. У ворот на лавочке засмеялись, зашевелились... Подзуживая друг друга, Иваныч и Семка играли с заражающим напором. Дед притопнул, прошелся трепакон—сам маленький, а труба большая-большая. Всем стало смешно.

— Трепаки пошли! «Ходи лавка, ходи печь, хозяину негде лечь»,—закричал мужской голос сзади.

В сумерки было видно, как подходили дорогой и стороной мужики и бабы, и скоро вся улица запрудилась. Кто-то третий вышел из толпы деревенских—тоже с жилейкой, заиграл. Иваныч радостно закивал ему трубой, приглашая, потом поднял левую руку вверх,—все звуки на момент смешались, замерли. Иваныч взмахнул трубой,—заиграл старинную, проголосную «Калинушку с малинушкой вода по няла».

— Бабы, пой!—повелительно крикнул Иваныч, на момент отрываясь от трубы.

Бабы заголосили—сперва неуверенно, потом смелее,—Иваныч повернулся лицом к ним, должно-быть, забыл о дачницах,—и вся улица, повинувшись ему, запела: «Не в тоё ли пору-времячко меня маменька породила...».

... Уходили от ворот уже поздно ночью. Иваныч был очень доволен: ему дали целый рубль мелким серебром — собрали дачницы. А Семка уходил с досадой: ему тоже дали рубль дачницы, и этот рубль словно жег огнем ему руку.

III

Десять раз спросил Семка милиционеров, как пройти на Молчановку, где жил Наум Михайлович. Он отвертел всю цюю, засматриваясь на дома. Вот высокие! Иной в два раза выше самой старой сосны. И еще вот чудно: в селах больше всех изб бывают церкви. Избы перед церковью прямо капельные. А здесь—иной дом в пять раз больше церкви,—крыши домов куда выше церковных крестов.

Вот и номер пятнадцатый. Семка вошел во двор. Баба с метлой в холщевом фартуке мела у крыльца.

— Вам кого?—спросила она.

— Наум Михайлыча.

— Какого? Тут, может, десять Наумов живет. Ты говори номер квартиры и фамилию. А по имени разве в Москве спрашивают?

Это было ошеломляюще—такой важный господин Наум Михайлович, а его даже на собственном дворе не знают бабы. Семка развернул бумажку и вместе с бабой выяснил, где квартира десять.

— Пожалуй, рано ты. Он, похоже, спит до полдня. А, впрочем, ступай, раз по делу. Мне-то что?

В длинном коридоре, сплошь заставленном шкафами, стульями, диванами, перевернутыми вверх ногами и нагроможденными друг на друга, Семка увидел Наума Михайловича. Он был еще в халате, растрепанный.

— Кто там? Кто меня спрашивает? Да идите же сюда, чорт вас побери! — кричал он. — О-о, это ты, Семен? Вот неожиданность. Ну, что ж, входи, входи. Даже с узлом? Прямо с вокзала?

В комнате, величиной с ладонь, он торжественно, по-актерски взял Семку за руку, подвел, усадил на мягкий стул.

— Ты даже в сапогах. А лапти привез? Смотри, брат, без лаптей нельзя. Впрочем, мы лапти можем достать здесь. Узелок-то вот сюда ставь. Сейчас чаю попьем.

Семка огляделся. В комнате было пестро и, на Семкин взгляд, очень богато: барские стулья с зеленой обивкой, барская скатерть на столе, барская занавеска на окне. Семка поджал ноги, спрятал их под стул.

Наум Михайлович сам принес закопченный чайник, поставил его на проволочную звезду среди стола, суетливо загремел посудой.

— А я, брат, один живу. Вот видишь, весь я тут. Хотя сюда-то я только ночевать прихожу. На моей дуде здесь не заиграешь.

Он уселся, налил чашку, пододвинул Семке.

— Ну, рассказывай, что у вас в Борках нового?

Он был проще, приветливей, торопливей. На глазах у Семки он снял халат, оделся в черное—пиджак и брюки...

— Так ты говоришь, что у вас живут ничего?

— Да, ничего.

— Ага, ничего. Так вот что, брат, ты—если тебя будет кто спрашивать—говори по-деревенски, как у вас в Борках говорят: «ничаво», «восейка». Прикидывайся этаким простачком, можно даже дурачком прикинуться,—Москва это любит... «Вот, дескать, какой простоватый парень, а как отлично играет на жилейке».

Семка криво улыбнулся, не понимая, шутит Наум Михайлович, или говорит вправду.

— А зачем это?—спросил он.

— Я тебе говорю: Москва любит простачков и дурачков. Надо, чтобы тобой сперва заинтересовались, а потом ты уже пробьешь дорогу. Лапти-то привез? Сейчас позвоню, узнаю, можно ли поехать—поедем с тобой к одному знаменитому человеку.

Он ушел из комнаты торопливо, и эта торопливость опять удивила Семку: «Какой он здесь шустрый!»—Семка услышал, как в коридоре Наум Михайлович кому-то говорил измененным, блеющим голоском:

— Попросите, пожалуйста, Климентия Владимировича. Ах, это вы, Климентий Владимирович? Простите за беспокойство. Это говорит Дружинин. У меня к вам дело. Я, знаете ли, вывез из деревни замечательный экземпляр. Простой, знаете ли, мальчик, а бесподобно играет на жилейке. Я хотел бы его показать вам... Когда позволите? Сегодня? Очень хорошо. Даже сейчас? Благодарю вас. Отлично, отлично. Сейчас едем.

Он вошел в комнату, взволнованный, с горящим лицом.

— Ну, брат, дела идут хорошо. Собирайся. Снимай скорее сапоги, эту рубаху и брюки, — надевай все деревенское, — опять будь пастиухом.

Прохожие на улице, пассажиры в трамвае — все оглядывали пристально Семку: его кафтан из домодельного сукна, его лапти, его шляпу гречневик и жилейку, обернутую красным платком. Платок дал Наум Михайлович. Под пристальными взглядами Семка смущался, опускал глаза, и сквозь загар на щеках у него проступал румянец, — и Семка был в самом деле красив.

— Ты не смущайся, — ободрял Наум Михайлович, — держи себя смело. У профессора прикинься дурачком, говори по-деревенски, а сам маху не давай, играй вольно, как у себя в лесу. Понял?

У профессора пришлось подождать в большой полупустой комнате, где были только стулья, черный рояль, стол и диван. Наум Михайлович сразу притих, говорил сдержанно, все шептал:

— Простачком, простачком прикинься.

А перепуганный Семка думал:

«Как это прикинуться простачком? Зачем?»

Вышел профессор — кругленький, толстенький, лысенький, на коротеньких ножках, в деревне о нем бы сказали: брюшко у него оником, ножки хером. Пожимая руку Науму Михайловичу, он пристально оглядывал Семку.

— И так, вы, кажется, Наум Михайлович, очередного гения мне доставляете? Который по счету? Сто первый?

Они, полусмеешь, громко заговорили непонятными словами, и Семка окончательно струсил.

— Ну, что ж, посмотрим. Покажи, братец, свою дудку.

Профессор кивнул головой на красный узелок. Взволнованный, Семка не пошевельнулся. Наум Михайлович сам бросился развязывать красный платок. Профессор взял жилейку, повернул так, этак, рассматривая. Семен заметил: у профессора были очень белые руки.

— Ничего особенного. Посмотрим, как играет.

Он протянул Семке жилейку. Закоснелыми руками Семка взял.

— Ну-ка, Семен, плясовую! — сказал Наум Михайлович ободряюще.

Жилейка щелкнула Семку по зубам.

— Не смущайся, — сказал профессор.

Семка заиграл. Жилейка хрипела. Звук выходил робким. Профессор и Наум Михайлович строго смотрели на Семку. Наум Михайлович заставил играть: «Не белы снега», «Калинушку». И все выходило плохо, — потому что у Семки першило в горле, что-то сцепило в груди, в голове, в животе. Профессор сморщился.

— Смущается, — оправдался Наум Михайлович.

— Ну, что ж, пусть сначала привыкнет. Приведите еще раз недельки через три. Сейчас ничего не видно.

— Как это говорится, деревенский паренек — теленку брат, вы меня извините, Климентий Владимирович.

— Что ж, извиняться нечего. Только, по-моему, вы напрасно занимаетесь импортом в Москву гениальных простаков. Я думаю: дело хлопотливое и безнадежное. Где та девица, что вы приводили с полгода назад ко мне?

— Представьте, она бросила музыку.

— И уехала в деревню?

— Нет, живет здесь.

— По бульварам гуляет?

— Ну, зачем же по бульварам?

— Путь обычный. Едут сюда, чтобы стать знаменитыми певицами, а потом делаются проститутками. И вот этот мальчик — если

в самом деле у него есть талантик, то без образования, без культуры вы все равно его не пристроите, как следует — будет он таскаться по кабакам, халтурить, и — путь один — в конце концов сделается пьяницей...

— Что вы, Климентий Владимирович! Разве я допущу? Если ничего не выйдет, я его тотчас отправлю в деревню. Вы все-таки разрешите зайти нам еще раз?

Когда уходили, профессор подал руку Семке, — Семка заметил в его глазах жалость. Профессор сказал:

— Пробуй, отрок, пробуй силы. Только гляди, не споткнись.

На лестнице, едва хлопнула парадная дверь, Наум Михайлович заговорил с Семкой сердито, уже не тем голосом, которым он говорил вот сейчас с профессором:

— Какого ты чорта смущаешься? Ты простачком прикидывайся, а сам будь развязным, себе на уме. А ты... Эх, теля! Разве можно в Москве так? Здесь надо бойким быть.

И, пока шли по улицам назад к дому, он ворчал недовольно или шел молча, не глядя на Семку, а Семка по его спине видел, как он, Наум Михайлович, сердится. И никогда еще — во всю жизнь — Семка не чувствовал себя таким ненужным, неуклюжим, тупым, как теперь.

Ай-ай-ай! А как собирался-то! Конец лета и начало осени были для Семки сплошным праздником. И в Хомутах, и в Борках, и во всех ближних деревнях все знали, что «кудрявинский дачник берет Семку в Москву, хочет вывести в люди». Семке завидовали, Семке прочили большой путь. И сам Семка, плохо веря в свое счастье, жил эти последние недели в сдержанной, все покрывающей, нетерпеливой радости. Он уже видел себя знаменитым (о славе и довольстве ему говорил Наум Михайлович), Москва ему казалась золотым градом, о котором говорится в сказке. Осень, умирающая осень, — она была для Семки бурной весной. Он с небывалой радостью следил, как медленно умирали поля и леса, надвигалось ненастье — с Воздвиженьем, Покровом...

— Гляди, не разевай рот! — строго окрикнул Наум Михайлович, — не отставай.

Семен встрепенулся и трусцой побежал через улицу за Наумом Михайловичем.

IV

— Что ж теперь нам делать-то? — спросил, раздеваясь, сам себя Наум Михайлович, когда он и Семка вошли в комнату: — вот это не везет, так уж, действительно, не везет. И чорт меня дернул связаться. Ей-богу, я идиотски добрый человек. Меня губит моя бесконечная доброта. Разве мало по Руси-Матушке пастушков, поигрывающих на дуде? И всех тащить в Москву? Гм... чорта с два.

Он прошел в угол, повесил пальто. Семка, не смеядохнуть, стоял у двери.

— Ну, чего стоишь? Сядь. Эх, теля... Нет, нет, положительно меня губит моя доброта. И эта преподобная Лидия, чорт бы ее побрал, пристала: «Возьмите, да возьмите его в Москву». Вот и взяли. Ну и что ж вышло?

Он не глядел на Семку. Лишь изредка он взглядывал на Семкины ноги. Семка готов был провалиться сквозь землю.

— Наум Михайлович, — сказал он, наконец.

— Что «Наум Михайлович»? Я сорок лет Наум Михайлович. Что скажете, Семен из Борков?

— Может быть, мне вернуться домой?

Наум Михайлович круто остановился перед Семкой, пристально посмотрел ему в лицо, помолчал, потом заговорил тоном ниже, спокойно:

— Обиделся? Гм... это хорошо. Вернуться? Это, пожалуй, не плохо. Но подожди, чего я-то вскипятился? Ну, неудача. У кого их не бывает?

Он вдруг подошел к Семке вплотную и порывисто обнял его за плечи.

— Ты, брат, не обижайся. Я свинья полосатая. Неудача — и я раскис. Все мы такие — люди искусства. Извини, брат. Потом ты поймешь меня. А теперь — что ж теперь? Надо как-нибудь устраиваться. Постой, распланируем мы так...

И в две минуты вся будущая Семкина жизнь была распределена. Семка пока поживет здесь, спать будет вот на этом диванчике за ширмой... Тем временем что-нибудь образуется.

У Семки в голове и в груди от неудачи у профессора и от слов Наума Михайловича все спуталось, было тоскливо и тупо, — ему было все равно; лицо стало беспомощное, жалкое, в глазах стояли слезы и такое выражение, как-будто Семка хотел сказать: «Делайте со мной что хотите»...

— Ну, скидай твои дурацкие лапти и порты. Таким чучелом наряжаться можно только на сцене. У тебя рубаха-то верхняя есть? Нет? Как же быть? Постой. Ну-ка, вот возьми мою старую куртку. Ничего, что потертая... Надо уж и галстук дать.

Из угла, из-за шкафа он вытащил смятую потертую бархатную куртку, из ящика — черную широкую ленту, заставил Семку надеть куртку, и сам приладил ему галстук...

— Шикарно! — воскликнул он. — Гляди, как шикарно. Теперь все девки пропали — с ума сойдут. Немного широко как-будто? Ничего, сойдет. Ты потолстеешь, я думаю... Чорт возьми, что значит 'молодость'. Хоть мешок простой надень на него, все красиво.

Он увлекся. Он торопливо кружился около Семки — оправлял, одергивал, перевязывал галстук, заставил Семку причесаться.

— Да-а... Ты, оказывается, в самом деле красив. В нашем деле это половина успеха. С такой мордой на эстраду, — все бабье в восторг придет. Видал я... Впрочем, посмотрим... А вот сапоги не идут. Как это говорится, сапоги не нужны. Башмаки надо раздобывать. А у меня нет. Впрочем, и в сапогах хорош.

Перед вечером он ушел, наказав Семке ложиться спать, когда захочет.

— Я приду поздно. Ты меня не жди.

Семка, не смевший выйти даже в коридор, остался один. За стеной — справа и слева — разговаривали, ходили. Семка сел на стул перед окном и уставился на улицу. Сколько господ! Какие лошади! Какие автомобили! И все спешат, скачут, мчатся. Простого народа мало: когда-когда пройдет мужик. А то опять господ и господ.

Стемнело. На улицах зажглись фонари. Народу стало еще больше. Семка все смотрел, ждал. Позади — в комнате — было уже совсем темно. Семка не знал, как зажечь свет. Ощупью, украдкой, он пробрался к диванчику, долго путался пальцами в галстук, разделся и лег. И тотчас город, люди, профессор забегали перед его глазами, закружились, заплясали... Профессор хлопнул кнутом и подмигнул, как Иваныч. Семка опять вспомнил, что в деревне сказали бы: у профессора брюхо оником, а ножки хером, — ему стало смешно, он захохотал безудержно. Профессор сморщился и заговорил:

— Не могу же я, не могу при нем.

Лицо у него стало брезгливое, страшное, — Семка очнулся, — профессор пропал, но шопот все еще был слышен:

— Да пойми, это неудобно, здесь, при нем...

Красноватая ширма, отгородившая Семку от остальной комнаты, светилась, и на ней двигались черные тени, и за ширмой кто-то глухо топтал, возился, шептал:

— Не могу.

А Наум Михайлович вполголоса убеждал:

— Он же спит, как свинья. Ну?

И опять шопот:

— А если проснется?

— Что за беда, если проснется. Сама же ты настаивала взять его сюда. Вот и взяли.

— Мне стыдно, если он увидит.

— Ну-ну, милая, чего стыдиться?

Семка, весь напрягшийся, затаив дыхание, лежал неподвижно, слушал. За ширмой долго раздевались, говорили дрожащим шопотом, потом потушили свет. Но окна уже светились — шло утро, — в это время, в деревне, Семка уже давно был бы на ногах, шел бы по улице, сзывал жилейкой народ... Он боялся пошевелинуться, кашлянуть. Женский голос прошептал в последний раз:

— Я, пожалуй, уйду. Мне почему-то стыдно.

А Наум Михайлович лениво, совсем другим голосом сказал громко:

— Ну, куда ты пойдешь? Спи здесь. Не все ли равно?

И во всем шопоте, во всей возне Семке чуялось что-то позорное и стыдное... Он догадался, что с Наумом Михайловичем была Лидия Власьева,— в деревне она казалась Семке важной и недоступной — и вот... она здесь.

Легкий крап долетел до Семкина слуха.

Сколько прошло? Час, два. Семка не знал. Он напряженно слушал, думал. В коридоре ходили торопливо, говорили, кто-то ворчал сердито. Выходная дверь хлопала. Семка, крадучись, встал и, стараясь не глядеть на кровать, пошел из комнаты. Он только видел, что на кресле лежит что-то голубое и белое, а комната полна запаха цветов и пота...

Он вышел в коридор и, крадучись, прошел в кухню. Толстая, морщинистая кухарка с подбородком, далеко выпятившимся вперед, возилась у плиты. Она пристально с ног до головы осмотрела Семку. Семка нерешительно сказал:

— Где бы воды попить?

— Где же? Вот кран-то. Отверни да пей, — сердито показала кухарка в угол.

Семка покорно подошел к крану.

— Откуда тебя такого привёз он? — спросила она, когда Семка напился и, повернувшись, подолом рубахи утёр рот.

— Ай, батюшки. Ай, родные, — запричитала она, слушая Семку, — от отца-матери оторвал, бес он распутный, куда он теперь тебя денет? Сам-то иной раз сидит голодный, а еще и нахлебника себе нашел.

Она, ухватив кастрюлю, метнулась из кухни в комнаты, а Семка доверчиво и вольно, как-будто нашел родного человека, уселся на табуретку у плиты. В кухню пришла тоненькая девица — в халатике и кружевном чепчике, с коробочками и зубной щеткой в руках, на момент смутилась, постояла, потом подошла к крану, начала умываться.

Кухарка вернулась.

— Вот, Катенька, вот, — сказала она девушке, показывая на Семку, — музыкант привез этого паренька из деревни, хочет его тоже в театр определить... Ишь, на музыке тоже играет...

И, крутнув головой, засмеялась:

— Беда с этими беспутниками.

Девушка, старательно чистя зубы, молча смотрела на Семку. Семка засмеялся.

— Ты чего? — строго спросила кухарка.

— Как она... зубы-то... мелом.

— И-их, ты, парень... Дикой еще ты, вот тебе и будет чудно.

Девушка улыбнулась, ушла. Кухарка осуждающе спросила:

— Что ж, малый, так и будешь здесь сидеть?

— А куда же мне?

— Шел бы в комнату. На кухне сидеть не годится. А ино дело— сиди, мне наплевать.

Она уходила, снова приходила, ворча и суетясь, от ее слов несло холодом, но Семка сидел упорно и конфузился до тоски. У него был виноватый вид.

— Вот он спит там, прохлаждается со своей мадамой, а парень сиди, мешайся под ногами...

И, смягчившись, заговорила вполголоса, боязливо оглядываясь на дверь:

— И говорить нечего: греховодник. Хоть бы одна, а то у него три — и все разные.

Семка выпученными глазами смотрел на нее. «Как это три? Нешто можно?».

— Встретятся иной раз — прямо хоть до драки, — продолжала кухарка, — чистая бабья война. Как-то, малый, ты между ними будешь жить?

В кухню иногда заглядывали господа и барыни — растрепанные и неумытые, только что с постели, мельком рассматривали Семку, — опять скрывались. Кухарка при них умолкала. Когда они уходили, она сердито говорила про них:

— Вот тоже яблочко, — не на каждой осине такое растет. Хуже и человека не придумаешь. Пьяница.

— Видал? Барыня на вид, а зайди в комнату, прямо как на рынок будто пришел.

Семка слушал жадно, и ему казалось, что вся квартира наполнена злодеями — вот хоть сейчас вешайся.

Пришел, наконец, и Наум Михайлович, — помятый, с заплывшими глазами.

— Ты уже встал? А ну-ка, сбегай в магазин, купи закусок...

Семке нужно было одеться. Он вошел в комнату. На кровати что-то поспешно шевельнулось. Семка увидел белые голые руки и смеющееся лицо Лидии Власьевны. Он схватил свои сапоги, кафтан, убежал на кухню, весь дрожа от стыда...

V

Прошла неделя. Семка кое-что понял, кое-что усвоил, стал привыкать. Каждый день Наум Михайлович обещал:

— Надо нам с тобой, Семен, приняться за работу. Что ж время напрасно терять?

Но никакой работы не было. Дни проходили бестолково, и вся городская жизнь, какой жили в этой квартире, показалась Семке очень чудной.

Он просыпался раньше всех — только метла во дворе чуть шуршала, — иных звуков не было совсем. Крадучись, он уходил в кухню,

сидел там, ждал. Потом приходила Авдотья — так звали толстую кухарку, — они разговаривали вполголоса. Авдотья поносила под ряд всех — обо всех она говорила уничтожающе, и Семка, встречаясь с жильцами, уже не трепетал перед ними, как в первый день: он знал об их грешках.

Авдотья брала Семку с собой на рынок, посылала в лавочку, — Семка ходил охотно, — и поэтому Авдотья говорила с Семкой все дружелюбнее, доверительнее, угощала его супом и жареным, таким вкусным, какого Семка не едал никогда.

— Проси, чтоб определил тебя на место скорей, — подзуживала она Семку, — что без дела-то сидеть?

А Семка лишь встряхивал кудрявой головой.

— Наум Михалыч сам говорит, что скоро работать будем. Я подожду, — угрюмо говорил он.

Когда уходили жильцы на службу, — он приносил жилейку в кухню и тихонько наигрывал песенки. Толстая, злая Авдотья, расстраивалась, говорила с Семкой ласково, хвалила его. И Семка, которому порой казалось, что он покинутый и одинокий, — сердцем потянулся к Авдотье.

Однажды перед вечером у входной двери кто-то позвонил. Семка пошел отпирать. На лестнице стояла молодая высокая женщина в шляпе.

Она спросила Наума Михайловича. Его не было дома.

— Проведите меня в его комнату, я напишу записку, — сказала женщина Семке.

Семка не знал, что делать.

— Что же стоишь? — сказала сзади Авдотья, — проводи барыню. Женщина вошла в комнату, сняла перчатки, села к столу. На столе лежала гребенка с блестящими камешками. Женщина спросила Семку:

— Это чья гребенка?

Семка простодушно ответил:

— Лидия Власьевна забыла.

— Какая Лидия Власьевна?

— А Лидия Власьевна, которая ночевала.

Семка увидел, как у женщины вздрогнуло все лицо.

— Ночевала? Когда ночевала?

Она расспрашивала жадно, волнуясь. Семка понял, что здесь неладное, смутился и замолчал. Женщина ушла, не написав записку.

А часа через два прибежал Наум Михайлович, бледный и взбешенный.

— Злодей! — закричал он с порога комнаты на Семку и взмахнул левой рукой. — Что ты делаешь со мной, злодей?! Змею я отогрел на груди! Змею! Убирайся вон из моей квартиры! Убирайся сейчас же!

И страшно затопал ногами. Семка поспешно убежал в кухню. Авдотья хихикала. Наум Михайлович кинулся за Семкой в кухню, но, увидав Авдотью, воротился, побушевал у себя в комнате, ушел

куда-то опять. Семка был вне себя. Он испугался. Ему представилось, что его сейчас в самом деле выгонят на улицу... А на улице — холод, до дому — далеко, денег — ни копейки. Куда денешься? Испуганный, с большими глазами, полными слез, он до глубокой ночи сидел на кухне. Авдотья его утешала:

— Ничего, обойдется. Не бойся. У него невпервдой так. Побушует и утихнет. А тебе, малый, все-таки надо к месту определяться. Что без дела сидишь? На что ты кому нужен? И-их, головушка сиротливая!

Семка пошел в комнату, лег на диванчик и долго втихомолку плакал. Он не слышал, как пришел на рассвете Наум Михайлович — один...

VI

— Ну, вот что, хахаль, или пристраивайся к делу, или убирайся в свои Борки,—сказал Наум Михайлович дня через три после скандала. — Мне надоело с тобой, дураком, возиться.

Это были первые его слова за все три дня. В эти три дня он не давал Семке есть,—он не смотрел на него, будто Семки не было в комнате.

— Я бы домой уехал, — угрюмо, обозленно сказал Семка.

В эти три дня он измучился. Он уже озлобленно думал о Науме Михайловиче, о Лидии Власьевне, о всех «господах», что живут в этой квартире,—они обманщики: вот завезли его сюда и обижают, и бросили...

— Домой? Что ж, хорошо,—сказал Наум Михайлович,—я, конечно, ошибся, что взял тебя оттуда. Я думал, ты умнее и смелее... Впрочем, сейчас говорить не о чем. Вот только... у меня нет денег на дорогу. И потом, потратился я на тебя.

Он искоса, злобно смотрел на Семкины колени.

— Разве вот что... не устроить ли концерт твой? Но ведь ты же теленок — ты же не заиграешь, а замычишь. С тобой только срам будет.

— Нет, я заиграю,—тихо, но с вызовом ответил Семка.

Наум Михайлович глянул ему в лицо. Семка смотрел на него дерзко.

— Не струсил?

— Не струшу.

— А ну, давай попробуем. Ну-ка, бери свою дудку, будем репетировать.

Он заиграл на фаготе «Калинушку»,—Семка играл на жилейке не хуже его. Потом «Сени», «Барыню», «Солнце всходит и заходит»... Наум Михайлович перестал хмуриться.

— Теперь один,—отрывисто сказал он.

Семка заиграл один. Он теперь не смущался,—кого смущаться? Он играл с вызовом, напористо. Песни выходили.

— Ага, не плохо. Что ж, посмотрим,—сказал Наум Михайлович и прошелся по комнате. Должно быть, Семкина игра его захватила...

В тот же вечер, часов в восемь, он приказал Семке:

— Сложи в узелок твою рубаху, лапти и шляпу,—оденься, пойдем.

Семка заробел.

— Куда?—спросил он.

— Там увидишь, куда,—буркнул Наум Михайлович.

Семку сразу проняла дрожь. Авдотья говорила, что Наум Михайлович в каких-то театрах представляет. «Неужто в театр поведет?»—подумал Семка, чувствуя, как холод наполняет его живот и грудь...

Это был большой трактир, куда Наум Михайлович привел Семку. В больших залах с прокуренным воздухом сидело за столиком множество мужчин в кепках и картузах и кое-где женщины. В углу самого большого зала Семка увидел возвышение, на котором стоял большой черный ящик—с оскаленными белыми зубами—пианино. Наум Михайлович провел Семку в маленькую комнату, что была позади возвышения. Там какой-то мужчина сидел на стуле и снимал панталоны.

— Что? новый?—спросил он, здороваясь с Наум Михайловичем за руку, и кивнул на Семку головой.

— Новый. Музыкант. Жилеечник,—отрывисто ответил Наум Михайлович.

Мужчина разделся до белья и стал напяливать на себя ситцевый пестрый халат, потом принялся мазать себе лицо мелом. Молодой человек в кургузом пиджаке забежал в комнату, спросил поспешно человека с набеленным лицом:

— Скоро ты?

За стеной чей-то жеребьячий голос орал:

— Музыка! Музыка давай!

— Ну, ты надевай штаны и лапти,—приказал Семке Наум Михайлович.

Семка поспешно стал одеваться.

Мужчина с накрашенным лицом взял балалайку, ушел на эстраду, и Семка тотчас услышал за стеной резкий, фальшивый, смеющийся голос:

— Здравствуйте, граждане и товарищи! С приехалом вас!

Семке почему-то стало смешно. В другую дверь выглянула Лидия Власьева — и ласково закивала переряженному Семке.

— Уже готовы? и вы здесь, Сема? Что же, оба выступаете?

— Сначала я один,—ответил Наум Михайлович.—Потом вместе.

Человек с белым лицом прыгнул по лесенке, не попадая на ступеньки. Лицо у него было горячее, и по лицу лился пот. За стеной орали «браво!». Когда крики смолкли, Наум Михайлович и за ним Лидия Власьева поднялись по лесенке—в дверь на эстраду. Человек с белым лицом начал стаскивать с себя пестрый халат.

— Что, первый раз выступаешь?—торопливо спросил он.

— Первый.

— Ага. Ну, не трусь. Привыкнешь!

Семка, как сквозь сон, слышал игру на флейте, полные звуки пианино,—слышал рев толпы в зале,—и весь дрожал в лихорадке.

Четыре раза Наум Михайлович приходил в комнату и снова выходил на эстраду. Затем он вернулся вместе с Лидией Власьевной—оба они были взволнованные. Обмахиваясь платками, они сели на стулья, улыбались радостно.

— Ну, Семен, держитесь, теперь ваша очередь,—сказала ласково Лидия Власьевна.

Семка криво и беспомощно улыбнулся.

Вошел молодой человек в кургузом пиджаке, сказал:

— Пора!

Наум Михайлович полез на эстраду, и Семка услышал его громкий голос:

— Товарищи и граждане! Сейчас перед вами выступит знаменитый русский жилеечник, пастух Семен Борковский. Несмотря на свою крайнюю молодость, товарищ Борковский уже заявил себя незаурядным музыкантом. Простой пастух, он сумел возвыситься до самых вершин жилеечного искусства:

Кто-то пьяный в дальнем углу крикнул:

— Ура!

Семка, прижавшись к косяку двери, слушал слова Наума Михайловича,—все в нем пылало ознобом. Наум Михайлович подбежал к двери, схватил Семку за руку, повел, шепча:

— Кланяйся, кланяйся!

Семка на ходу неловко поклонился раз, другой, третий. Он не чувствовал ни рук, ни ног. Он едва различал желтые пятна лиц, ото всюду смотревших на него. Кто-то хлопал в ладоши. Кто-то кричал «браво». Лидия Власьевна уже стояла у пианино и поглядывала на Семку с улыбкой.

В зале смолкло. Наум Михайлович подошел к краю эстрады, Семка встал рядом с ним. Сзади зарокотало пианино,—и через секунду прямо в Семкино лицо запел фагот. Семка поднял глаза. Наум Михайлович строго смотрел на него. Семка приложил жилейку к губам, дунул. Звук вышел трепетным, оборвался, потом справился и, побеждая в себе кого-то страшного, кто связывал руки и ноги, Семка тянулся за этим звуком, будто знакомым... да, да, знакомым,—и жилейка запела по-родному. Строгие глаза Наума Михайловича сразу подобрели,—это Семка заметил моментально,—и вдруг волнующая бодрость подхватила его и понесла на крыльях. Семка совсем забыл о зале, о людях, о лаптях, которых он стыдился в городе,—он будто сам стал поющей жилейкой. Он слово за слово говорил своей жилейке: «Ой-да я млада-младешенька была». И сколько угодно мог теперь Семка играть. Вдруг Наум Михайлович закачал фаготом, уменьшил такт и смолк.

В зале заревели. Семка стоял столбом, беспомощно улыбаясь.

Наум Михайлович схватил его за руку, закланялся широко, приседая, и Семку дергал: «кланяйся!» Семка, не гася улыбки, неуклюже поклонился. В зале закричали гуще: «Бис!» Наум Михайлович наклонился к уху Семки:

— «Калинушку». Не трусь. Ну?

Семка вольно заиграл «Калинушку»,—он играл, как, бывало, в деревнях на свадьбах. Будто плотина прорвалась.

Уже исчез с эстрады Наум Михайлович, уже неподвижно сидела Лидия Власьевна у пианино—Семка один играл песню за песней—все задорные. Ему самому хотелось плясать, смеяться, петь...

И каждый раз, когда он хотел уйти с эстрады, в зале поднимался вой, стук стульями...

VII

Давно наступила зима, Семка жил теперь за Пресненской заставой в Тестовском поселке — в маленьком деревянном домике. Он теперь ходил в черном пальто с барашковым воротником, в калошах, в брюках, заглаженных складкой. Белокурый, с тонким лицом и голубыми глазами, он был красив, и случалось: когда проходил по улице, девушки ему улыбались вызывающе.

Три раза в неделю он выступал всё в том же трактире. Посетители к нему привыкли, полюбили его,—и когда Семка выходил на эстраду, его встречали шумными хлопками и криками.

После игры, переодевшись в пиджак, он выходил в трактир,—посетители наперебой звали его к своим столикам. Но Семка робел, отказывался и, съев свой ужин, уходил поспешно из трактира, чтобы во-время попасть домой, где хозяйева ложились спать вместе с курами.

Аккомпанировала ему все та же Лидия Власьевна,—она улыбалась ему все ласковей и ласковей и звала к себе в гости.

Наум Михайлович еще сердился. Он мало разговаривал с Семкой, как-то нехотя позвал его еще раз к профессору. Семка играл теперь вольно,—он уже знал, что такое дерзость,—но профессор морщился, качал головою, пока Семка играл, и под конец спросил:

— В трактирах играете?

— Играю.

— Ну, дело кончено. Не выйдет ничего. Это вы, Наум Михайлович, его устроили?

Наум Михайлович стал оправдываться.

Но теперь Семка уже не унывал. У него были деньги, ему устраивались короткие торжества в трактире. И только пустые дни, когда не нужно было играть, наводили на него скуку.

Однажды Семка играл с особенным подъемом одну песню за другой. Посетители ему подсказывали, что играть. За столиком, что стоял в углу, сидела пестрая компания. Оттуда Семке кричали:

— «Разина»!

— «Яблочко»!

— «Быстры, как волны»!

И Семка играл без передышки.

Когда он кончил и переоделся, к нему подошел молодой человек в кургузом пиджаке и сказал:

— С тобой хочет познакомиться Князев.

— Какой Князев?—спросил Семка.

— Ты не знаешь? О, это такой человек: захочет, червонцами осыпет. Иди—лови счастье.

Он повел Семку к столику, что был в углу. Там сидели три девицы в ярких шляпах, в дорогих шубах. В их ушах сверкали серьги, на руках множество колец. С девицами был коренастый, широкоплечий, уже немолодой мужчина с серыми пронзительными глазами. Он протянул Семке руку.

— Гениальному музыканту честь и место!—сказал он, пододвигая стул,—пожалуйте закусить.

Семка, спаленный взглядом девиц, несмело сел.

— Знакомьтесь,—сказал мужчина,—это Надя, это Соня, это Люба. Люба, налей ему.

Девушка, сидевшая всех ближе к Семке, свернула кольцами, подняла бутылку. Семка поспешно сказал:

— Я не пью.

Мужчина усмехнулся.

— Как так? Нельзя, товарищ, нельзя... Без поливки и капуста сохнет. Пей.

Люба, жеманясь, сказала:

— Такие красивые, а водку не пьете.

— Ну, пить не пей, а маленькую пропусти,—сказал мужчина.

Он позвал официанта, заказал ужин. Семка всё отказывался. Тогда мужчина взял его руку и сказал вполголоса:

— Для Князева можно выпить. Понял? Выпей. Любка, действуй.

В его голосе Семка услышал что-то угрожающее и... выпил.

Веселые девицы рассмеялись, глядя, как Семка сморщился, и потянулись к нему с бокалами. Семка вдруг расхрабрился и выпил еще и еще.

Он чувствовал себя необыкновенным—вольным и талантливым,—ему всё дозволено. Он пристально посмотрел на девиц, на Князева и рассмеялся.

— Вот так,—сказал Князев,—ну-ка вот еще, коньячку...

Очнулся Семка в незнакомой комнате, голый, на постели. У кровати стояла Любка—в одной нижней юбке, растрепанная, с папиросой в руке.

— Вставай же, пора уходить,—теребила она Семку.

Семка перепугался. Он рванул к себe одеяло, закутался до подбородка и хриплым голосом спросил:

— Где я?

И, когда Любка рассказала об их ночных путешествиях, он почувствовал, как сжалось его сердце.

— А я не помню ничего,—сказал он уныло.

Любка повернулась к столу, налила стакан вина.

— Пей! Потом вспомнишь. Знай Князева...

Через день в трактире был опять Князев, заставлял Семку играть арестантские песни, потом опять увез с собой...

И с этого дня Семка уже редко ночевал дома. Шумный Князев возил его с собою по кабакам по всей Москве, на автомобиле увозил далеко за город, где какие-то угодливые люди встречали Князева, как повелителя.

— Служи мне, я тебя озолочу...—кричал пьяный Князев, обращаясь к Семке, и совал ему червонцы.

Семка брал червонцы, но утром, очнувшись, он их не находил в своих карманах.

Но кому-то не нравились Семкины путешествия с Князевым.

В трактире официанты встречали его кривыми взглядами, и даже молодой человек в кургузом пиджаке смотрел на него испуганно.

Раз пьяный Князев продержал его при себе неотступно четыре дня. Когда Семка вечером пришел в трактир, Лидия Власьевна встретила его сурово.

— Вот что, Сема, я хочу поговорить с вами,—сказала она.

— Да, да, Семен. Мы решили поговорить с тобой серьезно,—забубнил Наум Михайлович, стоявший тут же.

Семка усмехнулся.

— О чем же нам разговаривать?—дерзко спросил он Наума Михайловича.

— Поговорить есть о чем,—угрожающе ответил тот.—Кажется, не нынче-завтра твоего Князева не будет.

— Почему не будет?

— А потому, что его арестуют.

У Семки широко открылись глаза.

— Арестуют?

— Да-с. Смотри, чтобы и тебя не прихватили.—И, понизив голос, он добавил:—Князев—бандит.

Семка испугался. Он хотел расспросить, как и за что арестуют Князева, но Наум Михайлович полез на эстраду.

VIII

В пальто с барашковым воротником, в каракулевом картузе (подарок Наума Михайловича), в картузе, хоть и поношенном, но без проплешин, красивом,—Семка был похож на горожанина из богатых. Возле полустанка «Козье Болото» стояло четверо дровней, набитых сеном. Мужики в рваных полушубках и рваных шапках стояли на плат-

форме, жадными глазами посматривая вдоль поезда: не слезут ли пассажиры. Они бегом побежали к Семке,—во-первых, слез только один, а во-вторых, «барин».

— Извозчика, что ли? Пожалуйте. Куда ехать-то! До Борка? Рублик давай. Барин! Гражданин! Меня бери. У меня лошадь стоящая...

Они галдели, налезая на Семку, отталкивали один другого. У Семки сжалось сердце. Он всех узнал—это были не плохие домохозяева,—у одного из них—Платона Липкина—он столовался в череду. Чтобы поскорее отвязаться от надоедливых и крикливых мужиков, он поспешно пошел к саням, сел в крайние. Платон, улыбаясь сдержанной улыбкой, полез на облучек, задергал вожжами. Продрогшая лошадь затрусил.

— Ведь это ты, дядя Платон?—спросил Семка, когда отехали от полустанка.

Мужик—будто его ударили—резко обернулся. Он осмотрел Семку большими глазами.

— Я... а что?—удивленно спросил он.

— Да так... ничего... То-то я смотрю, словно знакомый.

— Да вы чьи будете?

— Иль не узнаешь? Я Семен Петров из Борка.

Мужик весь обернулся, привстал. Круглый рот, завешенный усишками, мелькнул черной дырой.

— Да неужто?—наконец, промолвил он.

— Я.

— Ба-атюшки! До каких ты делов достукался! Ай-ай! Смотри-ка, каракулевый картуз. У нас в такех картузах только господа прежде гуляли. Ну, вот недавно уездный председатель совета проезжал. А теперь, гляди, ты. Ай-ай. Слыхал я, будто тебя назначили на хорошую должность. Как же. Слухом земля полнится. Что ж, к нам-то теперь на побывку? Скучился?

Пока мужик говорил, Семку будто жгло огнем,—так стыдно ему было признаться, что в городе он не привился, оказался ненужный, хоть талантливый он. С трудом, еле ворочая языком, он ответил:

— Да. На побывку.

И весь покраснел. Эта ложь облила его краской.

Мужик начал расспрашивать про город, про Семкины дела, про заработки,—и Семка, мало-по-малу поддался невольному внутреннему молодому задору, сам поверил, что еще не все потеряно в городе—можно вернуться,—в самом деле, не может же он оставаться здесь и пасти коров теперь, когда у него... каракулевый картуз. И, соврав один раз, он стал врать уже уверенней.

— В самом большом театре выступал. Жалованье идет огромное, пастух в целое лето не заработает, сколько мне дают за вечер. Очень меня почитают. Каждый раз червонцы прямо в руки суют. Ты

не гляди, что я из пастухов. Это бывает. Пастухи вовсе не последний народ.

— Кто говорит—последний!—воскликнул мужик.—Будь ты пастухом, а ежели голова на плечах,—тебе везде дорога. Это вот мы, как на цепи прикованные, сидим. Куда сунешься от своего двора?

И, по мужичьему обычаю, он начал жаловаться на свою судьбу. Эти жалобы только теребили Семкино сердце. Куда же денется он со своей бедностью, если вот хороший хозяин не знает, «как ума приложить»? Опять в подпаски?

Деревня Борок ему всегда казалась особенной. «Наш Борок—Москвы уголок»,—говорили борковцы. А теперь, когда он увидел эти избы, занесенные до крыш снегом, окна, похожие на норы, увидел стены, обложенные для тепла навозом,—он сжался, словно ему стало очень холодно.

Мать возилась во дворе. Она выбежала к воротам, в том самом платаном-переплатаном тулупчике, который Семка знал, сколько помнил себя. Воя, мать обняла Семку. Стали собираться соседи. По сугробам бежали ребятишки—в валенках, в треухах. Семка вошел во двор, ребята полезли на плетень. Плетень затрещал. Мать, умильно плакавшая, резко обернулась, закричала:

— Да что же вы, деймоны, плетень ломаете? Пошли прочь!

Отец—всклооченный, с безумными глазами (как всегда с похмелья), серый, большой—вышел на крыльцо в валенках и в одной рубахе. Он молча смотрел на сына, будто не понимал, кто перед ним. Он часто мигал, и глаза у него были круглые, как у совы. Вдруг он заржал:

— Г-гы-ы... Ай-да сынок! Какём барином.

Пошли в избу,—закопченную и тусклую. Семка, не раздеваясь, сел на лавку, и было похоже, что это богатый гость, случайно забредший сюда, где тараканы по всем углам, над печью... Он было ошеломлен, не мог говорить. К обоим окошкам—и со двора и с улицы—прилипли неясные пятна лиц. И в избе стало совсем темно. В растворенную дверь входили все новые лица — бабы и мужики.

— Семен Пахомыч, еще здравствуйте! Прибыли? Слава богу! На побывку? Надолго отпустили?

Семка отвечал будто спросонья.

— На побывку! Не надолго.

— Что ж ты не раздеваешься? Вешай пальтецо вот сюда,—сказала мать и сняла с гвоздя, вбитого у двери, серую мокрую утирку.

Семка снял пальто. Плисовая куртка и галстук мохром всем понравились. Бабы завистливо вздохнули.

— Вот тебе и пастушонок, мать твоя курица!—восторженно воскликнул Маркел Матвеевич, красный, кудлатый мужик, здоровый, как бык.

— Ты бы, Лукерья, поставила самовар, что ли,—сказала молодая баба, всё время пристально смотревшая на Семку,—с морозцу-то попить бы чаю ему.

Семка видел, как сразу смякла и смутилась мать,—и понял, отчего смутилась: у них не было самовара. На момент в избе все напряженно смолкли.

— Аль самовара нет?—опять восторженно крикнул Маркел Матвеевич.—Беги ко мне. Скажи, я велел дать. Да чтоб лампасей там отсыпали.

Мать накинула полушубок и поспешно вышла. Семка вздохнул посвободнее, заулыбался.

— Ну, а вы как тут живете?—спросил он.

Изба галдела, пока не скипел самовар. И лишь только кипящий самовар поставили на стол, все по деревенской вежливости стали уходить, хотя мать каждого оставляла «выпить чашечку». Ушел— и сам Маркел Матвеевич. Тут Семка вынул из чемоданчика подарки: платок матери, трубку отцу и смятый червонец.

«Уеду! Завтра же уеду!—решил он про себя.—Будь что будет!». И ласково засмеялся. Другой червонец он оставил себе на дорогу.



Торжество Арлекина

Рассказ

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

Состояние погоды на фронте штабные писаря узнавали по лицу начдива. Если время от времени начдив благодушно клал закуренную трубку на стол, обсасывал ее и чистил, значит на фронте все спокойно, а когда часто закуривал и трубка гасла, а иногда даже и падала изо рта, — значит красные продвигаются вперед. Но когда трубка стискивается зубами и беспрестанно дымит, можно заранее сказать — какой-нибудь части приходится туго. Кто его близко знал, — может, даже героем не считали. Всему штабу известно — начдив боится сквозняка и человек из себя тщедушный, страдающий насморком и даже осторожный. Когда неприятель бил по штабу, он уходил в писарскую землянку, где и принимал донесения. По способности усидчиво работать и обсуждать вопросы это был человек не полевой. Когда к нему приезжал бравый толстосусый комбриг, он конфузился, протягивая ему тонкую руку, и всегда как бы невзначай спрашивал:

— Иван Карпыч, ведь вы бывший унтер-офицер?

— Имел такую честь, не скрываю. И, чтобы иметь эту честь, сколько бесчестий вынес. Вы не знаете, что такое учебная команда?

— Нет.

— У-у... — разводил руками комбриг.

Начдив привлекал к себе людей своей доступностью. Обыкновенностью разговора. Ничего в нем не было казенного, ни на одну иоту. По неуклюжей походке и неприглаженным волосам он скорей походил на непризнанного художника, чем на военного. Стратег ли он? Говорят — стратег. Но стратегия иногда ломалась. Из-за плохого подвоза, скудости вооружения и тысячи совсем незаметных мелочей.

— Чтобы править фронтом, нужно иметь большую голову, — говорили красноармейцы.

Но, когда белые рвали советский фронт, и расстроенные части отступали в беспорядке, когда армия грозила отливом на десятки верст, начдив в шинели, с поднятым воротником, в больших

круглых очках и винтовкой под мышкой, шел навстречу отступающим. Его мелкая растительность выше щек удерживала на себе капли дождя. И коротко подстриженные усы торчали вперед. От красноармейцев начдив отличался короткой трубкой, конец которой застревал у него в щербатом зубу. Шел он неспеша, как на прогулке, со смеющимся скуластым лицом монгольского типа. Хожение начдива в критический момент на линию его адъютантам всегда напоминало выход комика на сцену. Когда начдив подходил к красноармейской массе, тогда кто-нибудь кричал:

— Да здравствует Красная армия!

Эхо росло, перекатываясь по цепям волнистым гулом.

— Начдив ура-а-а... — ревела тысячная глотка.

Начдив, не останавливаясь, указал в сторону неприятеля. И шел, смеющийся, с лицом лесного бога сибирских тундр. Его глаза в круглых очках были подвижны, как горошины. Начдив хорошо понимал, что дело не в нем, он только — знамя, которое напоминает красноармейцам о их долге. И армия восстанавливала положение не количеством силы, а поднявшимся духом. По непрерывности боев такие случаи не часто, но случались. Если начдив с винтовкой, — красноармейцы верили — наступил час отбоя.

По возвращении в штаб он сидел за столом, низко опустив голову, стыдясь смотреть на товарищей, как-будто его застали на любовном свидании. Он любил вечера с большой полнотелой луной, подолгу смотрел на лохматые ели, облитые светом окон, проходил по несколько раз вокруг дома, замедлял шаги, слушая стук копыт за деревьями, и решал, кто едет — «политрук или ординарец»? Иногда сквозь сучья лошадь протянутой мордой сталкивалась с начдивом. Рассмотрев темную фигуру с остrokонечным верхом, спрашивал:

— Заседать приехали?

Когда огонь светил только в дежурной, и луна пряталась за иглами леса, он заглядывал в писарскую землянку. Ночная смена стучала «ундервудами», землянка пахла свежестроенным помещением и тем специфическим запахом, которым пахнет каждое учреждение. Он обыкновенно садился на подоконник, против спины делопроизводителя. Тот давал ему свернутые бумаги. Просмотрев сводки, начдив подписывал «к опубликованию».

По столу делопроизводителя ползала большая серая муха. Она садилась на ручку пера, семеняла лохматыми ножками по бумаге. Делопроизводитель поймал ее и шлепнул об оконное стекло, — муха скатилась на пол.

— За что вы ее? — спрашивал писарь — Арлекин.

Он поднес к огню коричневые глаза, и его темные углы у переносицы сошлись вместе. Яблоки щек подтянулись выше и покрылись прядью морщинок улыбающегося лица.

— Арлекин! — спросил начдив. — Для меня писем из дому нет?

— Пишут, Михаил Сергеевич.

— Сколько тебе лет?

— Трудно сказать.

— Почему?

— Иногда один год за три года тянется.

— К Октябрьскому празднику готовишься?

— Уже приготовился.

— Нынче посерьезнее придумай, поменьше каламбуров.

— Чем со слезами жить, лучше с песнями помереть.

— Оно так-то так...

Открытую дверь распирала темнота. Она вдруг зашевелилась, издавая холодный голос:

— Михаил Сергеич, к прямому проводу.

Начдив встал, и тень его выросла на противоположной стене, у самой двери она прислонилась к его плечу, и всем показалось, что он вышел с женщиной.

На рассвете писаря спали на столах. Арлекин спал беспокойно, — вертелся с боку на бок и один раз упал на пол.

— Чтоб тебе, грохнул, как снаряд!..

После шипучего голоса сонная улыбка чуть-чуть уколола обросшее лицо делопроизводителя.

Арлекин считался самым захудалым писаришкой, даже сумасбродом, но он нужен был, как свечка в темной комнате, — блеснуть шутовством, разгладить бойцам морщины на их празднике. Арлекин сел на подоконник, его плачущий шопот разбудил спящих:

— Скучно мне, братцы, почему вы лежите, как вареные раки, посыпанные укропом?

Из угла кто-то, не подымая головы, ругался на него:

— Арлекин! Почему ты такая сволочь на свете родилась? Ну, балагань весь день, никто слова не скажет.

— Братцы, да я ж пожалеть вас хотел, смотрите, как Захаров спит, свернулся кренделем, обратите внимание, как у него губы оттопырились, можно подумать «Боже, царя храни» поет.

Обиженный Захаров приподнялся на локте.

Арлекин, скажи пожалуйста, сколько тебе за твое шутовство в балагане платили?

Взрыв смеха разбудил остальных. Делопроизводитель постучал чайной ложкой по стакану.

— К началу, к началу, заходи, друзей заводи, представление начинается!..

Арлекин, закинув ноги к ватылку, ходил по столу на руках.

* * *

Не всегда Арлекину весело, иногда он заберется в глубь леса, в особенности, когда небо, как бы не рассветает, обложенное свинцовыми тучами, медленно ползет над верхушками деревьев. Он срывал

поздние цветы, осыпанные мелким серебром дождя, прижимал их к горячей щеке и чувствовал холод. Подбирал опавшие лепестки и бросал их над головой: «Ловите конфетти, бал начинается». Его нервные тонкие губы кривились улыбкой:

В блесках складки кринолина,
Обруч звездный весь в огне,
Это едет Коломбина
К Арлекину на свинье.

Одно время он часто ходил на конный двор и долго сидел, любясь на морды лошадей. Его спросили, почему здесь ему так нравится? Арлекин ответил неохотно: — «Здесь конюшни напоминают бродячий цирк». — Вообще, человек он мечтательный, какое-нибудь явление природы вызывало в нем соответствующее воспоминание. Однажды при огненном закате он рассказал писарям: — «Вот так горела моя деревня, обожженные отец и мать умерли в больнице». Он долго скитался по дорогам, пока на базаре не набрел на балаган. Отсюда начинается его жизнь с холодом, голодом. Ремесло клоуна давалось туго, хороший артист, Иван Трофимыч «Гваданели», не скупился на оплеухи. Все-таки человек он был добрый, с отцовским чувством приносил ему за кулисы конфеты, нежно гладил по голове и подбадривал:

— Из тебя выйдет толк.

Мальчик слушал молча, уткнувши руки в колени. На репетиции Иван Трофимыч был жесток и придирчив. Обсуждал каждую фигуру, каждое движение и всегда был недоволен. Умирал Иван Трофимыч в степи, около Азовского моря. А первая любовь Арлекина — Ирина Стефани — колола старый стул и кипятила чай. Она была собой недовольна — к ее смуглому лицу не приставала пудра. Тогда Арлекин советовал ей, как он, осыпаться мукой. На рассвете цирк снялся с места, оставляя за собой черный холмик земли и на нем бумажные розы «Артисту Гваданели».

Ирина Стефани сидела внутри фургона, обшивая золотой мишурой и стеклярусом синий ситец. Арлекин шел за фургоном, заглядывая во внутрь — это была самая лучшая Коломбина... Он помнит, как они вдвоем уносили с арены растерзанного зверями укротителя, и после, при выходе в публику, дежурные носилки вызывали в нем нехорошее чувство. А какой был забавный акробат Ибрагим... Нет больше Ибрагима, он сорвался с трапеции и умер у жонглера на коленях. Каждый рискует по-своему, а в этом вся жизнь. Арлекин привык к бродячей жизни, и военная служба его не тяготит. Если штаб пробирается по колейной дороге, он толкается среди повозок и поет таборные песни.

* * *

Из штаба в село Озерное Арлекин приходил с гитарой. И застревал на высоком крыльце у Маруси Былининой. Она подолгу заслушалась его рассказами и не знала — врет этот человек или говорит

правду. Ее лицо начиналось широким лбом и кончалось узким подбородком, от носа с маленькой горбинкой расплывалась улыбка до круглого рта и замыкалась ямочками. Они садились на узком крыльце друг против друга.

— А я тебя сегодня в лесу видела.

— Что ж не подошла?

— Не захотела.

Ее бойкие движения радовали сердце Арлекина. При ней ему никогда не хотелось балаганить. Она поспешно рассказывала последние новости села, сопровождая их то грустно настроенным лицом, то залихватным смехом.

— Арлекин, как тебя зовут по-настоящему?

Тогда он брал ее две заплетенных косы, лежавших на груди, и говорил:

— Глупенькая, не все ли равно.

— Давно мне хотелось с тобой досыта наговориться.

— Ну, говори.

— Ты застал, когда у нас была рыжая телушка?

Впрочем, говорила больше она. Арлекин только слушал, улавливал музыкальность речи и тихо аккомпанировал. Она рукой отводила гриф гитары и садилась на его сторону. Иногда до них долетал разрыв глухих выстрелов. Она тревожилась и говорила замирающим голосом так, как это умеют только крестьянские девушки:

— Красные продвинулись вперед, и будешь ты наигрывать страданья в другом селе...

— Вперед продвинуться ничего, а вот, если пятиться придется — это уже хуже.

Небо, усыпанное осенними звездами, вспыхивало, расчерчивая воздух огненной дугой, дуга рассыпалась, и мелкие светящиеся точки пропадали в тумане. Холодный воздух выветривал траву, низкие заборы. Арлекин зяб одним боком, другой бок согревала Маруся. Стужа сжимала небо, и звездопад усиливался.

— А где сейчас та звезда, по которой мы загоняем коров?

Маруся встала, и в зеленом свете луны ее лицо Арлекин видел неприступным и холодным, отчего она показалась ему еще красивей. Маруся прошлась по мостику до конца двери, узкое городское платье туго обтягивало формы тела, она шла словно под песню, медленно раскачивая корпус... Он покачал головой, чтобы она видела:

— Хороша Маша, да не наша...

Марусино лицо округлилось в улыбку.

— Ты что, как кот на сметану, облизываешься?

— Да уж ладно, солдат терпезом богат.

— Почему?

— Я выбираю женщин, как арбуз — всегда на вырез.

Маруся колотила его концами косынки.

Под утро деревья покрылись инеем. Арлекин с петушиным криком вбежал в помещение. Писаря напряженно работали. Он посмотрел в сторону штаба. У освещенного окна, прижав к лицу штык, стоял часовой. Арлекин достал из стола начальника канцелярии бинокль, в бинокле дрожал свет противоположного окна, за столом начдив о чем-то спорил с бывшим генералом, на круглом конце стола член ВЦИК'а прихлебывал из стакана чай. Арлекин члена ВЦИК'а и бывшего генерала еще днем встретил у начальника штаба, они оба ходили на гостей, приглашенных на семейный обед, а теперь бывший генерал прикусывал усы, а член ВЦИК'а морщил лоб. Начдив угрожающе тыкал пальцем в карту, то-и-дело поправлял очки, потухшая трубка лежала на чернильнице. Арлекин долго бы еще смотрел, если бы часовой не погрозил штыком.

* * *

Третий день шел дождь, ветер наклонял к окну землянки верхушку ольхи, желтые искаженные листья шуршали по стеклу и сыпались на подоконник. Арлекин готовился к Октябрю. Шил из бумаги костюм буржуа, на столе сох от чернил в метр величины картонный наган с надписью: «Подарок повару, если будет менять крупу на самогон». Тут же из раскрытого мешка торчала авантюристская борода, нафабранные усы. Арлекин по вечерам, прежде чем взойти на Марусино крыльцо, несколько раз осмотрит эстраду — сегодня она убрана в хвойную зелень, к карнизу прибит портрет, обитый пунцовым ситцем, напротив из сырого теса сколоченные скамейки обнесены барьером. К Арлекину подошла пожилой крестьянин, его бородастое лицо сложено в уморительную улыбку:

- Ты, что ль, будешь главный представляло?
- А что?
- Отчуди что-нибудь, если вам не в тягость.

Он строго посмотрел на хитренькое лицо крестьянина, но тот смутился и отошел, пятясь спиной вперед. Арлекин вполголоса прочел стишок, написанный для себя в грустный день:

Помню хриплые подмости
И ярко-мутные полотна.
Сядешь на голые доски,
Случайно, совсем мимолетно,
Сквозь пронизан струйкой взоров,
Ведь в темноте глаза рубины,
Поняв толпы сокровенный нор,
Сердце зажигаешь глубины.
Где искусственные клены —
Укротительница Розина
Вслух прогрезит о влюбленной
В полосатого Арлекина...

На рассвете паутиной

Окно ажурит призрак утра,
 На подушку ляжет тинной,
 Осыпаясь с лица пудра;
 Оживут тогда гримасы
 На щеке шута линючей,
 Не услышат только массы
 Смех, не подкрашенный, колючий.

С крыльца на него смотрела Маруся и звала покрасневшей рукой. Он выколотил шлем о ступеньки крыльца, капли дождя прилипли к стене. Маруся показала ему в сторону волсовета. Стоя в автомобиле, начдив разговаривал с крестьянами. Среди писарей ночью шел разговор — на фронте дела очень серьезные. Начдив поедет завтра уговаривать крестьян покинуть Озерное. Население при занятии его красными оказало поддержку тыловым бунтом. Арлекин понял — начдив предостерегает население от репрессий белых. Автомобиль медленно вылез из гущи народа, дымя бензином в бороды крестьян. Они неохотно расходились по избам.

— Дядя Семен, ну что там? — спросила Маруся.

— Что, что, — сердито буркнул старик. — Куда ж мы пойдем от своих хозяйств?..

* * *

В день Октябрьской годовщины парад отменили. Как галки на дожде, мокли окрестные мальчишки, тоскующей стайкой кочевали по месту увеселения, они ждали фокусов, забавы, шута, осыпанного дыбью, разговаривали о громкой медной музыке солдат и спорили — будет или не будет.

— Не будет, — сказала женщина, неся на коромысле воду.

Мальчишки, с досадой цыкая сквозь зубы, тронулись к домам.

Под пустыми скамейками около эстрады бегали куры. Арлекин снял занавес, свернул в четыре полосы и скатал вальком. Мимо проходил батальон, красноармейцы шли по краям дороги.

— Браток, где вода есть?

— Вон в овражке у самого тына.

— А до фронта далеко?

— Вчера было верст восемь, сегодня, говорят, короче. Слышь, по выстрелам?

Красноармеец прислушался, запрокинув затылок к стволу винтовки. Грязь под сапогами пищала, вылезая наверх. Выстрелы походили на стук бильярдных шаров.

При раздаче обеда начальник канцелярии объявил:

— Никому от штаба не отлучаться.

К террасе то-и-дело подкатывали вестовые мотоциклетки с удушливым дымом, облитые грязью. Тут же по лесу перекликалась команда связи, прокладывая полевой телефон, аккуратно скрывая в сучьях тонкую нить. Один из них окликнул Арлекина:

— Вот тебе и праздничек, говорят — обоз крепкие подметки подколотил.

Арлекину слова врезались в сердце; обеспокоенный, он побежал в лес. Смотрел оттуда в просвет дороги на село Озерное. Он представил себе картину после отступления: не пройдет дня, село вспыхнет, как порох, деревня огласится воплем, ревом скотины, и в этой панике бьется в чужих руках Маруся. От ужаса лицо ее острей, и покатые худые щеки налиты густо-красным цветом. Ее миндалевидные зубы, отчаянно проскрипев, впиваются в грязный локоть солдата. Он ударяет ее ленивым ударом, тем, самым обидным ударом, которым колотил городских проституток.

Он долго бы предавался горьким мыслям, если бы его не окликнул знакомый голос:

— Мое сердце предчувствовало, что я тебя встречу.

Ее спокойствие передалось Арлекину.

— О чем ты думал?

— Я вспоминал, когда мне было 17 лет, я любил злых и коварных женщин.

— Неправда. Ты думал о другом...

На Марусю — широкое ситцевое платье, собранное в складки.

— В твоём платье можно полдеревни спрятать.

— Я для этого и надела. Мне мать посоветовала, может, придется скрыться в лес.

— Что ж, мужики не захотели выселяться?

— Ни за что, что будет, то и будет. Два раза не родиться, больше одного раза не помереть... Лататы будешь задавать, — забеги проститься.

— Как же я забегу, небось, на повозке поеду.

— А может, поедешь — шибко ехал, ноги стер.

Арлекин окончательно развеселился и не верил в разлуку. Они долго бродили по кривым тропинкам леса.

— Война кончится, приезжай в наше село.

— А кого я там застану?

— Хоть на пепелище, да наведайся.... А ты бессердешный...

— Почему?

— Расстаемся, может, на всю жизнь, а ты никаких чувств не показываешь, аль вы мужчины все такие безжалостные?

— Все вы женщины, как одна — я привык находить друзей и расставаться с ними. Но, мне думается, назад я никуда не пойду, а если пойду, то только вперед.

— Если бы твоими устами да мед пить.

— Львы проснулись в моем сердце!

Он перепрыгнул через ее голову, на лету уцепился за сосновый сук и закурился волчком. Маруся следила за ним восхищенными глазами.

Когда Арлекин вернулся в землянку, его смена уже работала. Лихорадочно скрипели перья, и желто-синие листы покрывались черным узором строчек. Делопроизводитель строго покосил глаза на Арлекина и кинул ему под нос рассыльную книгу.

— Отнеси материал в печать. — И, не смотря на него, уткнулся в книгу.

Арлекин с бьющимся сердцем вышел наружу. От запаха сырого леса хотелось спать. Он закурил папиросу, но она погасла от упавшей с дерева капли. От поваленных ворот полевой типографии нарочные опрометью гнали коней, развозя воззвания командарма к населению. Мокрые лошади дымились испариной. Рыжая кобыла с нахохленной гривой вздыбилась от близкого выстрела, сталкивая Арлекина в канаву.

— Чтоб тебя чорт сломал! — крикнул вдогонку.

Арлекин с наслаждением слушал шум типографии. Мягкий глухой грохот походил на движение водяной мельницы, в мутном огне суетились люди. В помещении чувствовалась пыль, оседающая туманом на керосиновую лампу.

Придя из типографии, Арлекин заметил — окна штаба занавешены, и в освещенных занавесях мелькают тени.

— Ребята, а дело-то не хвали, — сказал вбежавший делопроизводитель. — Начдив у шинели воротник поднял, уже очки протирает, сейчас ему дадут нечищенную винтовку. — Захаров посмотрел в сторону окна. Темное стекло было похоже на обнаженное сердце — оно нервно трепыхалось от далеко бухающих снарядов.

— Значит ресурсы исчерпаны, это уже последняя ставка.

И верно, через 10 минут начдив с двумя адъютантами сел в автомобиль, попыхивая трубочкой, винтовку он положил на колени дулом к лесу. Автомобиль дрогнул, начдив повернулся к начальнику штаба и сказал:

— Свяжите командарма с оперативным штабом. — И, немного подумав, добавил: — если меня убьют, напишите моей семье.

Дорогой он осматривал каждый кустик. Кучу вороньев, круживших над полем, когда автомобиль об'езжал поваленный дуб с рыжей охапкой листьев, он заметил адъютантам:

— Обязательно убрать.

Адъютанты сидели молча и искоса поглядывали на начдива. Вдруг его лицо ожило, заиграло улыбкой. Он посмотрел на холодное и скучное лицо соседа и, насмешливо толкая в бок, заговорил, растягивая слова:

— Друг мой, не поддавайся настроению.

Адъютант слов не слышал. Его внимание привлек аэроплан, укутанный в ненастное облако. Начдив подтянул потуже ремень, и были его мысли похожи на военную карту, утыканную флажками. Ветер забирался под шлем и хмурил лицо, ударяясь о потресканные губы. По пути из штаба полка начдив передавал в трубку:

— Приготовьте курсантов...

Не доезжая четверть километра до передовых позиций, слез с автомобиля; держа подмышкой винтовку, он самым обыкновенным шагом двигался вперед, и, чем ближе подходил к линии, тем улыбка шире росла по лицу, округливая щеки, — он умело готовился преподнести красноармейцам тот образ героя, который они создали сами. В минуты подвигов он им нужен, и он идет.

Как снопы, разбросанные по одному, лежат на поле красноармейцы. Линия изломана и неподвижна. Далеко назад фланги упираются в лес. В кучу соломы протискивается пулемет. Его кудахтающая глотка бурлит. Людей не видно, видны только шинели, унавоженные грязью. На взгорье нахохленные спины противника, — они трехугольником сжимаются к овинам.

Начдив убрал бинокль и неуклюже двигался вперед, как бы неся всем знакомое очкастое лицо. В это время в дорожную грязь зарылся снаряд. Глотками тысячи быков, приведенных на убой, заревела земля. Политком, вылезая из канавы, видел столб земли, окутанный дымом... Час спустя спешивший на перевязку красноармеец поднял с дороги окровавленную трубку.

* * *

Начдива привезли с забинтованной головой. Молча пронесли в штаб, положили на большой стол, устланный красным полотнищем. В головах склонили знамена с траурными повязками... Разговаривали шопотом и ходили тихо, наступая носками, будто находились в комнате тяжело больного. Он лежал со спокойным, слегка истомленным лицом, туго закрытые глаза впали еще глубже. В грустной глубине морщины выступила крохотная капля влаги. Черная скорбь навалилась на лес, на зданье и проникла в комнаты. Стерла с людей улыбки, лица у всех похудели, в торжественной тишине застыл почетный караул, вытянув руки.

Начальника штаба потянули за рукав. Зовут к аппарату.

Только ярко освещенная дежурка суетилась попрежнему. Начальник штаба принял донесение — «Рота курсантов покрыла себя неувядаемой славой».

— Вечная память погибшим, — ответил начштаба.

Ночью началось отступление. Начдива увезли. Автомобиль тихо пофыркал по лесу, как бы расталкивая деревья. Беспokoйно лошади топорщились в окна штаба, началась эвакуация, та самая, после которой в помещении остается мусор и на окне окурки. После крика «трогай» лошади неохотно выволокли ноги на грунтовую дорогу. Писаря пошли, окружив повозки, но лошадей не хватило, Арлекин остался в землянке караулить вещи. Он несколько раз бродил по пустынным комнатам штаба, выбегал на дорогу, посмотреть на Озерное, голая луна над низкими крышами казалась неподвижной. В сторону от луны отсеивался легкий туман, иногда он вспыхивал от короткого раз-

рыва шрапнели, частые выстрелы издавали звук бутылок, хлопнувших пробками. Арлекин жадно смотрел на село, но там ни одного огня, ни собачьего лая, Большая Медведица стыла над Марусиной крышей, ему вспомнились слова: «Ты меня позабудешь».

— Прощай, Маруся!..

Мимо Арлекина проехал штаб полка, мягко громыхая повозками в липкой грязи, сзади, поспешая и погоняя гиком коней, перлась артиллерия. Арлекин вошел в землянку, прибавил свет в керосиновой лампе. Пол под ногами скрипел, как трапедия в парусиновом балагане. Он прижал руки к груди, спрашивая себя вслух:

— Что это такое? — И тут же сам себе ответил: — Сердце ломит.

Он ускорял из угла в угол шаги, гоняясь за собственной тенью.

— Я, наверно, сейчас похож на мертвеца, — подумал Арлекин. — Нет, нет.... — колотил он руками по столу. — Жить хочу, много жить, хорошо жить, о, Мария..

Он поднялся с колен, протянул руку к потолку и замер. Потом, как мяч, подскочил тело вверх, доставая ногами потолок.

— Это вот идея. Я всегда знал — человек страдает за неимением мысли, которая ему необходима, и вот она пришла. О, мысль моя, дай мне руку, я буду играть, как никогда... но я ведь фантазер, — при этих словах он горько заплакал. Но у таких людей все проходит скоро — он озабоченно наклонился над мешком, время, как легкий сон, обтекало его гибкую фигуру. Заглянув в походное зеркальце, Арлекин увидел себя бледным, с синевой по щекам. Он накладывал на себя грим и стриг бутафорские усы. Через несколько минут щеки были покрыты мелкой растительностью, и короткие усики выдавались вперед. Он долго работал над щеками, рисуя широкие скулы. От близкого взрыва стекла в землянке со звоном потрескались, и пламя лампы, как свет на качелях, прыгало по комнате. Арлекин поднял воротник шинели и через забинтованную голову натянул очки. Раскуривая короткую трубку, он обратил внимание на странный отцвет по стенам, повернувшись кругом, увидел в окне освещенные деревья: зарево, как розовая вода, лилось по мохнатым сучьям. Он с неудовольствием догадался — горит Озерное... Табачный дым посреди комнаты кровянился и был похож на огненный столб.

— Играй, мое воображение, — стонал Арлекин, припадая к ножке стола. Но, когда услышал за стеной крики и выстрелы, дрожащими руками подсыпал в трубку табак. — Это моя самая трудная роль. — Прижав локтем винтовку, он расправил бутафорские усики и вышел отсюда навстречу со смеющимся лицом лесного бога сибирских тундр. Он шел не спеша, подражая походке начдива, и земля ему казалась праздничной, как никогда. Красноармейцы отступали рассыпной толпой. Он столкнулся с одним и почуял — от его шинели пахнет гарью и сам весь черный, только глаза с блестящими, как рыба чешуя, белками.

— Назад! — крикнул Арлекин.

Красноармеец попятился. Арлекина обступили стеной с вопросительно поднятыми лицами. Он махнул рукой в сторону неприятеля, опешенные зорко вглядывались и, как бы разбуженные от глубокого сна, отозвались неистовыми голосами:

— Начдив жив, ура-а-а!..

Спутанные цепи рассыпались в три и, перекатываясь друг через друга, обгоняли начдива. Впереди Арлекина бежал бородатый мужичок в шинели, надрываясь криком:

— Да здравствует начдив!

Командир батальона глянул на него сбоку и, увидав знакомую озабоченную улыбку, пожал плечами... Наступление шло.

* * *

Ночь сменил день. И день поклонился вечеру. При переправе через речку бородатый мужичок присел, держа над грудью простреленную руку, и попросил Арлекина:

— Дай мне твою трубку.

Наклонившись и разглядывая раненого, Арлекин вспомнил—пора кончать. Уже в нем никто не нуждается, он толкается среди свежих частей, как муха в толпе, никем незамеченный. Тогда он затерялся в зарослях, снял с себя все признаки начдива и, осторожно спотыкаясь на кочки, брел наугад, к покинутому штабу.

Арлекин вернулся на следующую ночь. Штаб работал в прежнем помещении. Тут же на дворе торчали разгруженные повозки, и лошади походили на полных дам после непродолжительной прогулки. В боковую дверь теснилась очередь—красноармейцев, окрестных крестьян, ротный повар в колпаке вне очереди пролез проститься. Люди, как натянутые полотнища, обтягивали собою стол и разрывались в клочья, дойдя до выхода. Скорбная музыка стянула нервы Арлекина, и болезненный ком, разрастаясь, давил горло. Начдив спал, и его смуглое лицо отсвечивалось бликами.

Едва Арлекин переступил порог землянки, на него набросился начальник канцелярии:

— Вы где-то пропадали?.. трусу праздновали?.. впереди обоза бежали?.. или лошадям дорогу указывали?..

Но он молчал. Весь с'ежился и стал таким маленьким, как когда-то перед директором цирка. Шинель приросла к плечам и, как клей, вытянулась в длину.

— Предо мной дурачка не валять. На, размножьте приказы.

Покорный, скривив обиженное лицо, Арлекин стучал на «ундervуде».

* * *

В селе Озерном пожилые крестьяне рассказывают заезжим легенду: как убитый начдив встал со стола и, сводив армию в наступление, невидимо пришел в штаб, лег на стол и опять помер.

Коромысла

П. РАДИМОВ

Весел жгучий лик денницы,
Дней весенних ясен смысл.
В небе пляшут вереницы
Золотистых коромысл.

С топей, с гатей налетели,
Будто дунула пурга,
На поля, где льются трели,
На зеленые луга.

Стрекотуний легких стая,
Стрекоча и вереща,
Пляшет, пляшет, отливая
Блеском дивного плаща.

Легкокрылое веселье
Заразило и меня,
В звонкий стих соединя
Четких строчек ожерелье.



Песня морского вала

ПЕТР ОРЕШИН

С. Сергееву-Ценскому

Косматый зверь, тебя ль я слышу?
Морская грива тут и там.
Седые лапы выше, выше
Бросятся по берегам.

Твоя ль растрепанная грива
Несется по ветру к скале?
Тебе ль враждебно все, что живо,
Что расцветает на земле?

Белы твои ночные зубы,
Клыки блестят со всех сторон.
Но ты не знаешь, как мне любы
Твой дикий рев и пенный звон.

Хватай меня, разбей о камни,
Греми толпой свирепых волн, —
В твои прыжки и рокот дальний
Я яростно теперь влюблен!

Хватай меня, я стану грудью,
Окровави свой белый клык...
Рычи по горному безлюдью,
Мой непокорный злой двойник.

Тебя недаром вызывает
На битву черная скала.
Над бурным морем, как живая,
Она свой камень занесла.

Ударьтесь грудью и плечами,
Две силы ярости одной.
Я тоже буду биться с вами,
С глухим прибоем и волной.

Я тоже — зверь с душой крылатой,
И я готов во всякий час,
Друзья мои, кровавой лапой
Любого задушить из вас!

Вот почему в часы прибоя,
Когда гудит морская пасть,
В молитве, чудо голубое,
Я пред тобой готов упасть!



Всенародное покаянье

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

На зеркало неча пенять,
Коли рожа крива.

Поговорка.

Он по когтям меня узнал в минуту,
Я по ушам его как раз.

А. Пушкин.

Бес творчества меня увлек
И, не боясь людской цензуры,
Я написал, как только мог,
«Компошляковский монолог»
И про людей «миниатюры».

С тех пор, беснуясь и кляня,
Кричат мне разные людишки:
— Зачем писал ты про меня?
Как ты посмел? Ведь это слишком!

Я, озадаченный слегка,
Давал стихи на экспертизу.
— Ведь я писал про пошляка?
Про бюрократа? Про подлизу?

Фамилий нет... Я поражен,
Ну, почему вас в пот бросает?

В ответ кричат мне:
— Без имен?
Да все равно ведь нас узнают!

Не дрогнула моя рука,
Но я узнал, что кто-то, где-то,
Обиженный за пошляка,
Прошение подал в Эмкака
На беспощадного поэта.

Я — испугался...

Ай, крути,
Гаврила тяжкого признанья!
За сверхзловредные пути
Готов я миру принести
Свое большое покаянье.

В и н о в е н ! К а ю с ь ! Я — з л о д е й !
Сорвав людскую оболочку,
Я показал н у т р о людей
И, главное, попал ведь в точку!

Я это делал, жизнь любя,
Зовя к делам и чувствам новым.

Но, если кто-то, зад скребя,
В моих стихах узнал себя, —
Ей-ей, я в э т о м
Невиновен.

Пушкин и мужики

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

Окончание ¹⁾

ГЛАВА ВТОРАЯ

Помещик

«Благосостояние крестьян тесно связано с пользою помещиков».

А. Пушкин

I

В ранней молодости, со времени окончания курса наук в лицее до ссылки в Михайловское, Пушкин жил отчасти на жалованье, весьма незначительное, отчасти на литературный гонорар, в это время тоже не крупный, и, наконец, от отцовских щедрот. Скучные щедроты не удовлетворяли Пушкина: скуп был чиновник 5-го класса и кавалер Сергей Львович Пушкин, скуп и беспечен в своем эгоизме. Раздражение против отца и охлаждение к нему сына объясняется преимущественно этими чертами характера Сергея Львовича. К тому же он должен был обеспечить еще и дочь, и другого сына—Льва, любимцев. А между тем Сергей Львович на службе не состоял и жил исключительно на крепостные доходы. Крепостные мужики, работавшие на барщине, на оброке, несли ежегодную дань и кормили своего помещика со чады. Обычно этой дани С. Л. не хватало, и время от времени он получал еще более или менее крупные куши, закладывая в сохранной казне принадлежавшие ему души по десяткам и сотням с соответственным количеством земли. Залог совершался обычно на 37-летний или 26-летний сроки, и помещик должен был ежегодно частично погашать долг и вносить проценты. Дальше начиналась канитель. Разделяя общую помещичью участь, С. Л. Пушкин затягивал уплату и долга и процентов по нему, затягивал до последней крайности: именья описывались, назначались в продажу и с большими усилиями и хлопотами спасались от продажи. Хозяйством сам С. Л. не занимался и предоставлял все дело управителям, наемным вольным или крепостным, от которых требовалось

¹⁾ См. «Новый Мир», № 10 с. г.

только одно—постоянное снабжение господ деньгами. А как ему выбить эти деньги с крестьян, это была уж его забота. Никаких обязанностей по отношению к крестьянам С. Л., конечно, не чувствовал.

В двадцатых годах материальное благополучие Пушкиных сложилось так. У Надежды Осиповны было небольшое имение, известное Михайловское, в нем было всего 80 ревизских душ и 1.965 десятин земли, доход с него был ничтожный, около 2.000—3.000 руб. ассигнациями. Михайловское служило больше для наездов туда господ на временный отдых, а главный доход шел с поместий С. Л. Пушкина в Нижегородской губернии.

Здесь в Лукояновском уезде находилось знаменитое Болдино. Сергею Львовичу принадлежала только половина его, а другая была у брата Василия Львовича и после смерти его была взята должниками за долги, продана с молотка в чужие руки. В половине Сергея Львовича, в которую входила и деревня Львова, по 8-й ревизии (1833 года) числилось 564 души мужеска пола (в Болдине—391, в Львова—173). Земли было пахотной 2.540 десятин, лугу с мелким кустарником по оврагам и вокруг леса—328, леса строевого и дровяного—244, под поселением, садами, огородами и гуменниками—110, под проселочными дорогами—7, под прудами, реками и оврагами—12, всего 3.244 десятины 1.200 саж. Болдино состояло на запашке и приносило дохода в среднем (за период 1839—1849) за год 28.700 руб. ассигнациями¹⁾. Под заклад Болдино С. Л. Пушкин получил 26 июня 1824 года 32.050 руб. серебром и 6 ноября 1830 года еще 8.010 руб. сер.

Неподалеку от Болдина, но уже в Сергачском уезде, было другое имение—Кистенево (Тимашево тож). Земли пахотной при Кистеневе по плану значилось 978 десятин и сверх того в пустоше Кривенке пахотной земли 50 и купленной крестьянами 60, всего 1.088 десятин 2.212 сажень: сенокосной или лугу—262, леса крупного строевого чернолесья—15, мелкого кустарника—6, под поселением, огородами, конопляниками—48, под половиной речки Чеки, озерами и заливами—33, под проселочными дорогами—6, всего 1.460 десятин 1.003 сажени. По седьмой ревизии душ числилось—474, по 8-й уже 524 (и 538 женск. пола). Село Кистенево состояло на оброке. Тягловых единиц в нем числилось 212, каждое тягло платило по 50 руб. ассигнациями, что составляло общую сумму дохода 10.600 руб. сер. Под залог Кистенева С. Л. Пушкин взял 3 февраля 1827 года 5.710 руб. сер. (под сто душ), 10 июля 1828 года—5.710 руб. сер. (еще под сто душ), 10 ноября 1831 года—1.420 руб. сер. (перезаложил), 8 декабря того же года—1.420 руб. сер. (перезаложил) и 19 июля 1834 года—4.340 руб. асс. (под 76 душ).

После ссоры с отцом в Михайловском в 1824 году А. С. Пушкин, повидимому, не получал уже больше никаких пособий, да он в них и не нуждался,

¹⁾ Данные об имениях Пушкина беру из бумаг опеки и вотчинного архива с. Болдина (хранится в Пушкинском Доме). В 1849 году наследники Пушкиных, Сергея Львовича и Александра Сергеевича, начали делиться и собрали точные данные о состоянии имения. Если цифры по сравнению с 30 годами изменились, то совершенно незначительно. (Опуская количество сажень, привожу круглые цифры.)

ибо его литературный гонорар уже стал весьма значительным. С этого времени материальное благосостояние Александра Сергеевича зиждилось преимущественно на литературных заработках. «Я богат через мою торговлю стихистой, а не прадедовскими вотчинами, находящимися в руках Сергея Львовича». Но в 1830 году Пушкин сделал предложение Н. Н. Гончаровой, предложение было принято и ему пришлось позаботиться об устройстве своего состояния. Он обратился с просьбой к отцу. Отец ответил: «Ты знаешь положение моих дел. У меня тысяча душ — это правда, — но две трети моих имений заложены в Воспитательном доме. — Я даю Ольеньке около 4.000 руб. в год¹⁾. В именье, которое досталось на мою долю после покойного моего брата, находится около 200 душ, совершенно свободных, и я даю их тебе в твое полное и безраздельное владение. Они могут принести около 4.000 руб., а со временем может быть и больше». И действительно, 27 июня 1830 года чиновник 5 класса и кавалер Сергей Львович Пушкин совершил в С.-Петербургской палате гражданского суда «запись» — официальный акт, которым он передавал своему сыну, коллежскому секретарю Александру Сергеевичу, часть недвижимого своего имущества, состоявшего в сельце Кистеневе. С. Л. успел уже заложить, как мы видели, в С.-Петербургском опекуном совете в 1827 году 100 душ и в следующем 1828 еще 100 душ. Из оставшихся 274 душ незаложенных он уступил сыну 200 душ в вечное и потомственное владение. По записи А. С. Пушкин был ограничен в праве владения. Запись читается: «Он, сын мой, до смерти моей волен с того имения получать доходы и употреблять их в свою пользу так же и заложить его в казенное место или партикулярным лицам; продать же его или иным образом перевести в постороннее владение, то сие при жизни моей ему воспрещаю; после же смерти моей волен он то имение продать, подарить и в другие крепости за кого-либо другого укрепить, притом за сим отделом предоставляю ему, сыну моему Александру, право после смерти моей из оставшегося по мне прочего движимого и недвижимого имения требовать следующей ему узаконенной части; на перед же сей записи означенное отдельное ему сыну моему по оной имение никому от меня не продано, не заложено, ни у кого ни в чем не укреплено и ни за что не отписано, цену же тому имению по совести объявляю государственными ассигнациями восемьдесят тысяч рубл.»²⁾

Пушкин воспользовался предоставленным ему правом и 5 февраля 1831 года он заложил свои души в Московском опекуном совете за 11.428 руб. 58 коп. серебром³⁾.

Но еще до совершения залоговой операции Пушкину предстояло ввестись во владение. «На-днях отправляюсь я в Нижегородскую деревню,

¹⁾ Это — неправда. С. Л. не давал дочери больше 1.500 р. в среднем.

²⁾ Первая часть этой неизданной записи дословно повторяется в подписанном Пушкиным документе, который я привожу дальше.

³⁾ Пушкин писал Плетневу: «Представляю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38.000 (на ассигнации) и вот им распределение: 11.000 теще, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была с приданым — пиши пропало; 10.000 Нащокину для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17.000 на обзаведенье и житье годичное».

дабы вступить во владение оной», — писал Пушкин 24 августа 1830 года из Москвы дедушке будущей жены А. Н. Гончарову.

«Осень подходит, — писал Пушкин Плетневу 31 августа. — Это любимое время. Здоровье мое крепнет — пора моих литературных трудов настает — а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься, и душевное спокойствие».

В начале сентября он уже был на месте и основался в Болдине. 9 сентября он писал отсюда невесте: «Мое пребывание здесь может продолжиться вследствие обстоятельства совершенно непредвиденного. Я думал, что земля, которую мой отец дал мне, составляет особое имение; но она — часть деревни в 500 душ, и нужно приступить к разделу. Я постараюсь устроить все это как можно скорее».

Пришлось повозиться. В болдинской конторе было составлено следующее прошение (неиздано):

«Всепресветлейший державнейший великий Государь Император Николай Павлович, Самодержец всероссийский Государь всемилостивейший просит дворянин Коллежский Секретарь Александр Сергеев сын Пушкин, а о чем тому следуют пункты.

1

Сего года июня 27 дня родной мой Отец Чиновник 5-го Класа и Кавалер Сергей Львович Пушкин по данной мне отдельной Записи Засвидетельствованной С.-Петербургской Палаты Гражданского Суда во 2-м департаменте, От делил мне в вечное и потомственное владение из собственного своего и недвижимого имения, доставшегося Ему по наследству после смерти брата Его артиллерии подполковника Петра Львовича Пушкина, Состоящего Нижегородской губернии Сергачьского уезда в Сельце Кистеневе, всего писанного по 7-й ревизии мужеска пола Четыреста Семдесят четыре души, из числа оных Двести душ мужска пола с женами их и рожденными отних после 7-й ревизии обоого пола детьми, и совсеми их Семействами, Спринадлежащую на число оных двухсот душ в упомянутом Селце Пашенною и не Пашенною землею, с Лесы, с Сенными Покосы с их крестьянским Строениями и заведениями с хлебом наличными и в земле посеенных, Со скотом, Птицы, и прочими Угодьи, и принадлежностями, что оным душам следует и во владении им состояло. Но как еще оная Запись не явлена, то и прошу.

Дабы высочайшим Вашего императорского Величества указом повелено было сие мое прошение и приложенную при сем подлинную отдельную Запись в Сергачьском уездном Суде принять и поступить на основании Законов, а между тем Нижнему Земскому Суду предписать; ввесть меня во владение того отдельного мне имения, подлинную Запись по списанию с нея Копии возвратить мне обратно.

Всемилоствейший Государь! прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить сентября¹⁾ дня 1830-го года

¹⁾ Оставлено пустое место для числа и не заполнено.

к поданию надлежит в Сергачевский уездный Суд. Прошение в черне Сочинял и на бело переписал Крепостной Его человек Петр Александров, Сын Киреев».

Через строки прошения и в конце собственноручные строки Пушкина:

«К сему прошению Александр Сергеев сын Пушкин 10-го класса чиновник руку приложил.

Прошение сіе верю подать, по оному хождение иметь и подлинную запись получить, человеку моему Петру Кирееву».

Петр Киреев начал хождение. Надо сказать, что срочность проявлена была необыкновенная. 11 сентября 1830 года он подал прошение в Сергачский уездный суд. Прошение доложено было 11 сентября и передано в повыетье (в канцелярию) с приказанием «о введении означенного господина Пушкина вышеуказанным именем законным порядком во владение, со взятъем от него в приеме оного росписки, а от крестьян о бытии у него в должном повиновении и послушании подписки, прописать здешнему земскому суду указом с повелением по исполнении рапортовать». Указ земскому суду был послан 12 сентября. Во исполнение дворянский заседатель Григорьев 16 сентября ввел господина Пушкина во владение, отобрав от него росписку в получении крестьян, а от крестьян о бытии в должном повиновении и послушании. 18 сентября земский суд рапортовал в уездный суд об исполнении приказа. Уездный суд сделал распоряжение о прибитии к судейским дверям листа с извещением о вводе во владение г-на Пушкина и о публикации объявления в публичных ведомостях обеих столиц.

Помещик, от имени которого ведется рассказ в «Истории села Горюхина», созданной как раз осенью 1830 года в Болдине, рассказывает о своем приезде на родину: «Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого рода — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец, принял я наследство и был введен во владение отчиной». Эти строки отразили действительные события в жизни Пушкина — ввод во владение Кистеневкой.

II

Александр Сергеевичу надо было выделить 200 душ по тяглам. Приехали власти и стали делить мужиков. Не знаем признаков, по которым шел дележ, но тягло за тяглом переписывалось на нового помещика — и ревизские души со строением, скотом, хлебом и разным заведением переходили ему. Так и возникает в воображении картина: «Эй, вдова Авдотья Андреева, будешь теперь за бариновым сыном». А у вдовы сын Николай Данилыч и дочь Настасья, лошади нет, одна корова, три курицы, хлеба никакого, только семени конопляного три меры — «дом и состояние бедное» — полтягла на нее и записать. За Авдотьей Андреевой пошел и Петр Осипов Ларцов, жена его Дарья, сын его Матвей, Лука, Лукина жена Федосья, Лукина дочь Офросинья, Петра Осипова дочь Варвара, у них изба, сарай, три курицы и три меры конопли — «дом и состояние бедное» — полтора тягла с них, и пошли Горюновы, Тихоновы, Латышевы, Макаровы, Галкины, Горбуновы, Курочкины,

Перденевы и т. д. Отошло на сторону А. С. всего 96 тягол¹⁾. И стали все эти крестьяне кистеневскими мужиками Александра Сергеевича, и стал Александр Сергеевич помещиком и душевладельцем.

К «хамскому» племени, к крепостным он стал в прямые отношения, как господин, помещик. Раньше, в Михайловском, он был только сын господина, здесь он глава, самодержец. Он повелевает, а его повелений слушаются: управляющий, бурмистр, староста, земские, сотские и иные мелкие сельские власти. В этот болдинский период, прославленный в его творчестве (сентябрь—ноябрь 1830 года), он испытал новые чувства, возникшие из новых для него социальных отношений. Когда-то, лет десять тому назад, он писал:

...барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Теперь земледельцу, в честь которого был сложен сей политический гимн, противостоял землевладелец, которого должен был осознавать в себе Пушкин. И он сделал это и, как всегда, результаты своих размышлений он отразил в своем творчестве, в своих произведениях. Он наблюдал жизнь, как она шла в его поместьи и в поместьях его отца. В 1830 году он был баринном не только у себя в Кистеневке, но и в Болдине. Художественно-хозяйственный отчет о состоянии пушкинских имений и пушкинских мужиков мы находим в «Истории села Горюхина».

«История села Горюхина» в пушкинской литературе еще не обследована. Вряд ли можно считать (и после работ Б. В. Томашевского) установленным текст, нет еще обстоятельного историко-литературного анализа. Писавшие об этом произведении не довели до конца спора, кого в нем пародировал Пушкин, — Карамзина или Полевого. За исключением, кажется, одного А. С. Долинина (Искоза), никто не обратил внимания на автобиографичность, на обстановку, в которой написана «История». Да и он задел эту тему только вскользь, в противовес авторам, ничего, кроме литературной пародии, в «Истории» не усматривавшим. Вопрос помещичий или, что то же, вопрос крестьянский — вот основная тема «Истории», выросшей из наблюдений и размышлений в болдинскую осень над окружавшим Пушкина рабским бытом. Занятия хозяйственные были чужды и владельцу села Горюхина и Пушкину, но новый помещик не мог не вникать в дело, выслушивая доклады, принимая счета и расчеты, просматривая документы крепостного хозяйства, а главное, наблюдая непосредственные результаты крепостного хозяйства господ Пушкиных. Он не мог, конечно, пройти мимо ревизских сказок, мимо составленных конторщиком описаний имущественного положения тяглецов, в роде тех, образцы которых мы только что приводили. А в списке источников, послуживших к составлению «Истории Горюхина», показаны как раз «ревизские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян». Другие источники — календар-

¹⁾ Фамилии и подробности взяты из подробного описания половины А. С. Пушкина из дел опеки.

ные записи помещика о повседневных событиях помещичьего быта (4 мая Тришка за грубость бит, 6 — корова бурая пала, Сенька за пьянство бит и т. д.) — существовали также в болдинской действительности и восходят к записям дяди Пушкина Петра Львовича и к управительским журналам и памятным книгам, образцы которых я приведу дальше.

Конечно, Пушкина в «Истории Горюхина» интересовала не литературная форма произведения, не пародийная ирония по адресу историков, а правда жизни, открывавшаяся ему в новой социальной обстановке. Тема «Истории» точно указана Пушкиным: «образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиками, и, наконец, непосредственно под рукою помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов будут развиты мною в течение моего повествования». И, конечно, все три способа помещичьего правления Пушкин наблюдает не на протяжении многовековой истории крепостного права, а в современности, находившейся в пределах его наблюдения. Непосредственная власть помещика над крестьянами — не в историческом прошлом, а в современном быту. А современный помещик — сам Пушкин. В «Истории села Горюхина» меньше всего истории: она укладывается в период 20 — 30 лет.

Итак, описанию подлежат три способа правления в Горюхине: 1) власть старост, выбранных миром, 2) власть приказчиков, поставленных помещиками, и 3) власть помещиков. Описал Пушкин в «Истории» только два способа:

«Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных.— Но предки мои, владея многими другими вотчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну... Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося». Эта картина — точная копия болдинской действительности. Дед Пушкина, Лев Александрович, прикупкой округлял нижегородское свое имение, а после его смерти оно начало дробиться, перешло трем братьям и двум сестрам, а после смерти Петра Львовича дробление пошло дальше между Сергеем и Василием Львовичами. «Ныне огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок; последнее родовое имение скоро исчезнет», — записал Пушкин. Ни Сергей, ни Василий Пушкины, поделившие Болдино, почти и не заглядывали в болдинское поместье.

«Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирского сходкою называемом... Грозные предписания (обедневших внуков богатого деда) следовали одно за другим. — Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошем». Крестьяне, предоставленные самим себе, не заботятся о выгодах помещика: «староста, выбранный ими, до того им потворствовал, плутуя за одно, что Иван Петрович Белкин принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут

крестьяне, пользуясь его слабостью, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникой и тому подобным; и тут были недоимки». Этот эпизод из помещичьей жизни Белкина напоминает «новый порядок», учрежденный Онегиным в 1824 году:

В своей глуши мудрец пустынный,
 Ярем он барщины старинной
 Оброком легким заменил;
 И раб судьбу благословил.
 Зато в своем углу надулся,
 Увидя в этом страшный вред,
 Его расчетливый сосед.

Бросается разница в отношениях к «лёгкому оброку» у Пушкина в 1823 и 1830 году. В 1830 году система «легкого оброка» оказалась вредной именно с точки зрения помещичьих интересов, которые стали занимать Пушкина. Иронизирует Пушкин и над органами крестьянского самоуправления. Он наблюдал мирское правление и воочию, и по многочисленным документам вотчинной конторы — по приговорам о выборе стариков, бурмистров, старост «доброго и хорошего» поведения, приговорам, которые утверждались помещиком или исправником ¹⁾).

Невыгоды управления через старост почувствовал и владелец Болдина — С. Л. Пушкин. Уж очень плохо поступали деньги.

В Горюхине, в один прекрасный день, староста Трифон Иванов получил предписание господина: «Трифон Иванов! Вручитель письма сего, поверенный мой ** (любопытно отметить: Пушкин не дал никакой фамилии приказчику) едет в отчину мою Горюхино для поступления в управление оною. Немедленно по его прибытии собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А все, чего он потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостью. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство».

И в Болдино в один прекрасный день 1825 года явился поверенный С. Л. Пушкина крепостной человек Михайло Иванович Калашников, предъявил мандат, который вряд ли многим разнился от типичной барской доверенности, воспроизведенной в «Истории Горюхина», и начал управлять.

Правление приказчика ** описано так:

«** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы. Она заслуживает особенного рассмотрения.

«Главным основанием оной была следующая аксиома: чем мужик богаче, тем он избалованнее; чем беднее, тем смиреннее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. — Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедных. 1. Недоимки были разложены на всех зажиточных мужиков и взыскиваемы с них

¹⁾ Сохранились среди вотчинных болдинских документов в Пушкинском Доме.

со всевозможной строгостью. 2. Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню — если же по его расчетам труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться — заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю: ибо от оногo по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодья или разоренного. — Мирские сходки были уничтожены. — Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало. Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; ребятишки пошли по миру — и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного».

В одной из программ «Истории Горюхина» Пушкин набрасывает схему истории села: «Была вольная богатая деревня. Обеднела от тиранства, поправилась от стр. (конечно, строгости. П. Ш.), пришла в упадок от нерадения»¹⁾. Подчеркнуть стоит убеждение автора в полезности строгости для крестьян или, точнее, для помещицкого хозяйства.

Приказчицья система управления в Болдине сложилась так.

Калашников вступил в управление имением С. Л. Пушкина в январе 1825 года. С 30 января этого года заведена Калашниковым книга для записи: спереди — поступления оброчных взносов, сзади высылки денег барину. Оброки Калашников собирал небольшими суммами в течение целого года²⁾, и деньги высылал не периодически, а по мере накопления. Стереотипная запись о высылке денег: «отправлено' оброку в Санктпетербург 500 руб., за отправку страховых и весовых—8 руб. 40 коп., почталиону за сургуч — 20 коп., для себя земский (отвозивший деньги) издержал 1 руб. 60 коп. Надо думать, что первое время Сергей Львович был доволен своим управляющим. Так в июле 1825 года Михайле Калашникову было пожаловано 150 руб., в декабре того же года — 100 руб. Наблюдения за Калашниковым барин никакого не имел. Он почти никогда не наезжал в Нижегородское имение. Впрочем, в книге Калашникова есть запись об одном приезде барина, запись — скорее в цифрах, чем в словах — весьма выразительная. Приезжал Сергей Львович в сентябре 1825 года, очевидно, для того, чтобы показаться в своей новой деревне Кистеневе, которая только что отошла к нему после смерти Петра Львовича. 15 сентября Калашников занес в книгу: «Отправлено Льву Сергеевичу 400 рублей, за отправку страховых и весовых 6 руб. 40 коп., для себя издержал бурмистр 1 р. 25 коп. Сергею Львовичу отдано в Кистеневе

¹⁾ Напечатана И. А. Шляпкиным, неправильно прочитавшим: «поправилось при отце». Цитирую по автографу, хранящемуся в Пушкинском Доме.

²⁾ Приказчик в «Истории Горюхина» оброк собирал понемногу и круглый год.

400 руб., в церкви дано Сергею Львовичу 4 рубля, еще на свечи в церкви 60 коп., Никите Козлову тулуп 16 руб. (Никита Козлов, старый слуга господ Пушкиных, который был отпущен служить Александру Сергеевичу в 1820 году, когда его выслали на юг), вина для крестьян 3 ведра—26 руб. 40 коп.; за починку колеса в коляску—1 рубль; при отъезде вашей милости дано—100 руб.». Целая картина барского посещения вотчины, заставившего управителя подобраться. Вдали от барских взоров, Калашников забрал власть над тысячей душ. Вместе с управляющим половиной Болдина, принадлежавшей Вас. Льв. Пушкину, Елисеем Дорофеевым, он главенствовал в Болдинской округе. Этот крепостной человек старался жить под барина. Так 16 августа 1830 года, за две недели до приезда Пушкина, у него был прием: прибыли управляющие соседних имений, г-на Аникеева ардатовский мещанин Василий Павлов, управляющий г-на В. Л. Пушкина Дорофеев, еще управляющий Алексеев, был тут и болдинский конторщик П. А. Киреев. Тут произошла ссора, оставившая след в вотчинных бумагах. «Василий Павлов объявил на Калашникова неудовольствие, будто бы он, Павлов, приезжал в село Болдино к священнику Федору Михайлову и, находясь у него в гостях проживающий у него, священника, на квартире дьякон Алексей Ильин объявил ему, чтобы он со двора не ездил для того будто бы управляющий Михайло Иванов посылал конторщика Киреева и старосту поймать его и убить». По поводу этого «объявления» конторщик писал даже жалобу в Лукьяновский уездный суд. Вот как жил Калашников.

Когда Пушкин жил в Болдине в 1830 году, управлению Михайла Ивановича Калашникова шел уже шестой год. Но результаты уже были налицо. Мы имеем свидетельства об управлении Михайлы Иванова, правда не от 1830 года, а от 1834-го, но три года не меняют дела. Ученый управитель Рейхман, посетивший Болдино летом 1834 года по предложению Пушкина и ознакомившийся с хозяйством Болдина и Кистенева, писал ему: «Вы мне рекомендовали Михайла Иванова, но я в нем ничего не нашел благонадежного, чрез его крестьяне ваши совсем разорились в бытность же вашу прошлого года в вотчинах крестьяне ваши хотели вам на него жаловаться и были уже на дороге, но он их встретил и не допустил до вас, и я обо всем оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но и от посторонних по близости находящихся соседей». Грабительские инстинкты Калашникова были хорошо известны родне Пушкина. Муж сестры Ольги Сергеевны, Н. И. Павлицев, писал Пушкину в январе 1835 года: «Михайло разорял, грабил имение двенадцать лет сряду; чего же ожидать теперь? — первой недоимки, — продажи с молотка и, может быть, зрелища, как крепостные покупают имения у своих господ. Я не говорю, чтобы Михайло купил его, нет; — но уверен, что он в состоянии купить». У нас есть и высказывание и самого Пушкина в письме к П. А. Осиповой 29 июня 1834 года. «Все, что мне нужно: честный человек. Я не могу иметь доверия ни к Михайле, ни к Пеньковскому, поскольку я знаю первого и не знаю второго».

Особенно пострадали от управления Калашникова кистеневские мужики. Я могу привести свидетельство о положении кистеневских мужиков более позднего времени — 1849 года. Сосед по Болдинскому имению, товарищ по

кавалергардскому полку второго мужа Н. Н. Гончаровой, П. П. Ланского и опекун над малолетними детьми Пушкина, отставной полковник Г. В. Бобоедов, по просьбе друга, ездил в имение, осмотрел его и доложил: «По письму твоему я ездил в имение г-д Пушкиных сельцо Кистенево, где нашел крестьян можно сказать в бедственном положении, такой нищеты я мало видал. Есть крестьяне, у которых не только нет лошади и коровы, даже нет курицы и избы, где бы он мог приклонить свою голову, многие из них не в состоянии платить не только оброка, даже и подушных казенных сборов; управляющий на их щет занимает в частных руках по 1.000 и более рублей, чтобы внести в подушные и оброк, платит за это по 8 и 10 процентов и записывает этот долг порашету на тех, за кем состоит эта недоимка, следовательно на самых бедных, который не имеет ничего, а долги на нем увеличиваются, чем же это должно кончиться, посуди сам, и теперь на этих крестьянах слишком девять тысяч этого долгу и от такого положения у многих из них совершенно испортилась нравственность и сделались просто бродяги и пьяницы, пахотной земли у них очень мало, лесу ничего нет, а лугов довольно, вот положение крестьян сельца Кистенева»¹⁾.

Если подвести итоги подворной описи сельца Кистенева, части А. С. Пушкина, то получим: при 246 душах мужеска пола и 237 женского — 96 тягол, при имуществе 79 лошадей, 86 коров, 142 овец, 47 свиней, 359 кур, хлеба ржаного 191 четверть 4 меры, ярового 265 четвертей 3 меры, семени конопляного 12 четвертей 2¹/₂ меры, пчелы 4 пенька. Мочала для производства рогож было 924. Все население ютилось в 80 избах. При оценке дворов оказалось «лучших» всего 6, хороших 2, средственных 21, бедных 35, весьма бедных 3, не имеющих ничего 1. Таков инвентарь Кистенева в части Александра Сергеевича Пушкина.

Других комментариев к хозяйственной системе Михайлы не требуется. Второй образ правления себя не оправдал.

Осязательные результаты второго образа правления не могли не поразить Пушкина, не наполнить смущением его сердца.

III

Возвращаюсь к вопросам, поставленным и не разрешенным Ходасевичем.

Михаил Иванович Калашников привез в 1826 году в Болдино свою семью и свою дочь Анну, тяжелую. Я не могу пока ответить, сошли ли

¹⁾ В специальной работе о Болдине находим следующее известие: «В списке населенных мест» (неизданном) Кистенево показано, как часть прихода с Болдина. Вероятно, оно было выселено сюда по господскому велению за самоуправство и бунт; не даром улицы Кистенева получили столь характерное наименование, как Самодуровка и Бунтовка. Нам думается при этом, что этот опальный поселок был образован дедом поэта Л. А. Пушкиным. В Болдине он сам жила и, как человек, отличался, по свидетельству А. С. Пушкина, крутым и вспыльчивым характером. Все население Кистенева было русское, православное; крестьяне состояли на оброке; кроме хлебопашества, они были заняты выделкою рогож. Мочало получали из Симбирской губернии из-за Суры (А. И. Звездин, О болдинском имении А. С. Пушкина в Нижегородской губернии, Нижн.-Новг. 1912, стр. 9).

благополучно роды, кто родился, мальчик или девочка. Но достоверно следующее. Михаил Иванович, мужик крепкий, доверенный барина, управляющий, нашел выход и покрыл грех дочери. Он выдал ее замуж, за вольного (значит, она тоже получила вольную), за мелкого чиновника, какого-нибудь протоколиста, повытчика, вообще человека на казенной службе. Он даже владел несколькими душами, служил где-то неподалеку от Болдина, пьянствовал, дебоширил. Надо думать, он срывал при всяком удобном случае обиду за то, что его сделали ширмой, покрывавшей грех жены. Если ребенок был жив, ему пришлось, конечно, дать свое имя, но это лишь предположение. Он бросил службу в 1832-1833 году, вышел в отставку и вместе с женой поселился в Болдине у своего тестя. Анна Михайловна претерпевала за свое увлечение, находясь в бедном положении и горестной жизни, но к виновнику своего несчастья она относилась не только без раздражения, но, наоборот, с дружеской привязанностью и интимной любезностью. Отношения с бариним не порвались после ее отъезда из Михайловского. Она была даже в переписке с ним. Из этой переписки дошло до нас только одно ее письмо, которое дало мне материал для предыдущих строк. Я приведу его дальше. Она и была предстательницей перед сыном барина за своего отца, и скажем здесь — ее слова, ее просьбы имели значение для Пушкина.

Была ли она в Болдине осенью 1830 года? Нет ничего неправдоподобного в положительном ответе на этот вопрос. Если она и не жила в Болдине, то, конечно, могла и приехать повидать Пушкина. А вот как они встретились или встречались в Болдине в эту осень, знаменитую в творчестве Пушкина? Этот вопрос я оставляю без ответа и даже не рискую строить какие-либо предположения.

Но, не правда ли, крепостной роман, завязанный в Михайловском, получил дальнейшее развитие в социальной обстановке, окружавшей помещика А. С. Пушкина?

IV

Вокруг Болдина местность степная, безлесная, встречаются лишь небольшие рощицы из дубняка и осинника. «Что за прелесть здешняя деревня! степь да степь; соседей не души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает». Пушкин весь отдался творческому порыву, а мужиков все-таки наблюдал и изучал. Они величали его титулом «Ваше. здоровье», а он держал тон шутливо-добродушный. В хозяйственную жизнь он не входил, и только исключительные обстоятельства — открытие в смежных с Нижегородской губерниях холеры — заставили его войти в более близкие отношения. Правда, Пушкин отбил от принятия официальной должности по холере, от назначения чем-нибудь в роде инспектора карантинных или попечителя квартала, но в роли антихолерного пропагандиста ему пришлось выступать. «Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху помер, да не стоишь ты этого подарка», — писал Пушкин Плетневу 20 сентября. В мемуарной литературе сохранился не лишенный достоверности рассказ:

П. Д. Боборыкина: «Дядя П. П. Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с нижегородской губернаторшей Бутурлиной... Это было в холерный год. — «Что же вы делали в деревне, А. С — ч? — спрашивала Бутурлина. — Скучали?» — «Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди». — «Проповеди?» — «Да, в церкви, с амвона, по случаю холеры. Увещевал их.—И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»

Но это чрезмерное добродушие было напускным. Сущность крестьянско-помещичьих отношений раскрывалась перед его сознанием, и от нее нельзя было отмахнуться добродушием. Оставался третий способ управления крестьянами — власть осуществляется непосредственно помещиком. В «Истории села Горюхина» выгоды и невыгоды сего образа правления оказались неразвитыми: «История» оборвалась на втором способе. Оно и понятно: в Болдине и Кистеневе третий способ не нашел осуществления. В «Отрывках из романа в письмах» читаем: «Звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши. Небрежение, в котором мы оставляем наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута-приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает; мы проживаем в долг наши будущие доходы и разоряемся».

В 1830 году Пушкин сознал обязанности свои по отношению к крестьянам, но не взял их на себя. Он не мог положить конца управлению плута-приказчика. Что мог сделать в устройстве крепостных порядков он, в первой молодости с блеском выступавший против крепостного принципа? Пушкин иронизировал над собой, когда описывал положение Ивана Петровича Белкина (в предисловии к «Повестям»). «Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, — повествует друг Белкина, — я почитал долгом предлагать и сыну свои советы, и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута-старосту и, в присутствии Ивана Петровича, занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими розысканиями и строгими допросами плута-старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле».

Но у Пушкина были особые отношения к своему — как никак — блудному тестю — Михаилу Ивановичу Калашникову. Он «не вмешивался в его хозяйственные распоряжения и предал его дела распоряжению всевышнего». Пушкин не без удовольствия, надо думать, посчитался на бумаге

в рукописи «Истории села Горюхина» с приказчиком, т.-е. с Калашниковым. Но для продолжения «Истории» у Пушкина не хватило материалов, просто не было наблюдений.

V

Пушкин уехал из Болдина в начале декабря 1830 года. Приказчик остался управлять имением. Барские доходы Пушкина были не велики. Кистеневские мужики платили оброк по 50 рублей ассигнациями с тягла — всего должно бы выйти около 4.500 рублей в год, но и этой суммы он не получал. Так в 1831 году он получил всего 3.600 рублей. Из этой суммы нужно было платить проценты по займу, да еще делать ежегодное погашение долга. В бюджете Пушкина оброчные суммы не играли никакой роли. В тридцатых годах Пушкин жил преимущественно на литературный гонорар, но его не хватало, чтобы вести тот широкий образ жизни, к которому привела Пушкина женитьба. Пушкин делал долги, долги росли с каждым годом.

Нижегородскими имениями Пушкиных—отца и сына—продолжал управлять Михайло Иванович Калашников, продолжая разорять и грабить. В сентябре 1832 года Пушкин даже выдал ему доверенность. Сохранилось несколько писем Калашникова к своим господам — и Сергею Львовичу, и Александру Сергеевичу. Писаны письма писарем и только подписаны Калашниковым. Все они делового характера, обычно содержат сообщения о высылке денег, о состоянии хлебов, дают стереотипную фразу «при вотчине вашей все благополучно» и неизменно заканчиваются: «честь имею остаться с истинным моим высокопочитанием и преданностью милостивого государя покорный слуга и раб навсегда пребуду Михаила Калашников».

Но и беспечнейший Сергей Львович обратил, наконец, внимание на бедственное положение имения и пришел к решению отставить Калашникова от управления. Калашников чувствовал, что надвигаются на него неприятности, искал защиты у молодого барина. Он писал ему и сам, и просил дочь ходатайствовать за него. Любопытно его письмо от 9 января 1833 года к А. С. Пушкину: «Я к батюшки писал и просил Его Милости себе со старухой неоставить которая на смертном одре и более ни о чем; еще уведомил сколько какова хлеба здал на лицо ровно и денег; вся надежда на вашу милость». В этом письме после стереотипной официальной подписи есть еще характерная приписка, отдающая намеком на интимность: «старуха моя желает всех благ от вышнего вам со слезами и кланеется все вместе». Через месяц с небольшим писала Пушкину и дочь Калашникова. Это письмо находится сейчас в моем распоряжении; оно — единственное сохранившееся из переписки поэта с героиней крестьянского романа. Калашникова была неграмотна и должна была диктовать свои письма, а писал ей обычно ее муж. Очевидно, он не совсем следовал диктовке и изображал в письме не совсем то, что слышал, и кроме того, предавался по временам канцелярскому словоизвитию, а от этого стиль выходил чересчур кудрявым. Пушкин обратил внимание на кудрявый стиль писем бывшей своей возлюбленной и спросил ее, откуда такие кудрявые письма. Когда ей при-

шлось отвечать на вопрос Пушкина в письме к ней, она обратилась не к мужу, а к сельскому грамотею, тому самому, который писал письма ее отцу. Им и написано это единственное *сохранившееся письмо. Вот из тридцатых годов голос милой, доброй девушки, оживленной лучем вдохновения и славы Пушкина.

«Милостивый Государь

Александр Сергеевич,

Я имела щастие получить от вас Письмо, за которое чувствительно вас Благодарю что вы не забыли меня находящуюся в бедном положении и в Горестной Жизни; впрочем покорнее вас прошу извинить меня что я вас беспокоила на счет Денег, Для выкупки моего мужа Крестьян, то оные не стоят что бы их выкупить, это я Сделала удовольствие Для моего мужа, и Стараюсь все к пользы нашей но он не чувствует моих благодеяний, каких я ему неделаю, потому что Самый беспечный человек, на которого янинадеюсь инет надежды иметь куска хлеба, потому что Какие только Могут Быть пасквиль- ные Дела то все оные Есть у моего мужа первое пьяница и Самой развратной Жизни человек у меня вся надежда на вас Милостивый Государь что вы не оставите Меня Своею милостию, в бедном положении и в Горестной Жизни, мы вышлитоставку и Живем у отца в болдине, то инезнаю Будут ли якогда покойна от Своего мужа или нет, а на батюшку все Сергей львович поминутно пишет неудовольствия и Строгия приказы то прошу вас Милостивый Государь защитить Своею Милостию Его от Сих Наказаний; вы пишете, что будите Суда или внижний, тоя С нитерпением Буду ожидать вашего приезда, ио благополучном пути буду Бога молить, о Себе вам Скажу что явообречении и уже время приходит, К разрешению, то осмелюсь вас просить Милостивый Государь нельзя ли Быть восприемником, Если вашей милости Будет непротивно но хотя нелично, но имя ваше вспомнить на крещении. Описьмах вы изволити писать, то оная писал мне мой муж инепонимаю что значут кудрявые, впрочем писать Больши Нечего, остаюсь С истинным моим почтанием и преданностью из вестная вам».

Письмо датировано: «Село болдино, февраля 21 Дня 1833 года», а подписи никакой нет. «Известная вам» — так и кончается текст письма.

Одно письмо дошло из переписки помещика и крепостной крестьянки, ее письмо. Но и это единственное письмо дает материал для суждений. Отношения, нашедшие здесь отражение, представляются проникнутыми какой-то крепкой интимностью и простотой. Они в переписке, она с доверием прибегает к нему за поддержкой, не скрывает от него своих горестей. Главная горесть—муж, пьяница и самой развратной жизни человек, и вся надежда у нее на Пушкина: он не оставит ее своими милостями. Необходимым считает сообщить Пушкину о своей беременности, просит в крестные отцы, хоть по имени назвать. Ждет с нетерпением приезда. Нет никаких следов озлобления и раздражения, которое было бы естественно после истории, разыгравшейся в 1826 году; наоборот, пишет человек, относящийся к адресу с чувствами дружеского уважения и приязни, не остающимися безответными.

Жизнь разрешила эпизод крепостной любви не так, как казалось Ходасевичу, а совсем наоборот. Вспомним его фантастическое построение; сопоставим с нашими сообщениями; не задерживаясь на нем, пройдем мимо, и освободим Пушкина от ответственности, к которой Ходасевич привлек его за преступление, им не совершенное.

VI

В 1833 году С. Л. Пушкин подыскал, наконец, нового управляющего для своих имений в Нижегородской губернии,—белорусского дворянина Иосифа Матвеевича Пеньковского. Доверенность или, по тогдашнему казенному выражению, верующее письмо Пеньковскому С. Л. выдал в Новоржеве 25 сентября. Круг обязанностей Пеньковского определяется так: «...По случаю пребывания моего в Санктпетербурге прошу вас... мое имение принять в полное ваше распоряжение и хозяйственное управление, и буде случится по означенному моему имению дела, то по оным иметь хождение, следующие прошения, объявления, и всякого рода бумаги от имени моего за вашим вместо меня рукоприкладством, во все присутственные места и лицам подавать... крестьян от всяких обид защищать, и для работ или промыслов их выпускать по рассуждению вашему с законными видами, также и имеющих при селе Болдине и сельце Кистеневе, Тимашеве тож, дворовых людей выпускать по паспортам, полагая на них оброк по вашему же рассмотрению, и буде окажутся неисправными и дурного поведения меня уведомлять. Из крестьян или дворовых людей, кто-либо окажется ослушным или уличенным в преступлении, таковых без пристрастия предавать суду и меня извещать. При том наблюдать, чтобы казенные повинности и подати в свое время уплачиваемы были сполна. С оброчных крестьян положенный мною оброк в назначенные мною сроки, получать без недоимок, и ко мне высылать. От управляющего в селе Болдине крепостного жены моей человека Михайлы Калашникова принять все в свое ведомство по имеющимся у него книгам и документам, и буде имеются наличные из моих доходов деньги, то оные тотчас от него приняв доставить ко мне ровно и от бывших земских, бурмистров и старост, находящихся в живых, собрать все сведения по их управлению. Бурмистра кистеневского, Никона Семенова, при прежней должности оставить под непосредственным вашим надзором; словом, прошу вас по оному имению действовать и распоряжаться так, как бы я сам лично, собираемые с оного доходы доставлять ко мне»...

8 октября Пеньковский из Острова извещал С. Л. Пушкина, что он получил доверенность и отправится в Болдино 11 и никак не позже 12 октября. В самом конце октября Пеньковский был на месте и приступил к приемке инвентаря. Первого ноября Калашников уже сдавал сельский запасной магазин. Переход власти из рук Калашникова к Пеньковскому совершился как раз в то время, когда Пушкин находился в Болдине (приехал 1 октября, уехал в середине ноября). Пеньковский вступил в управление Болдиным, а Калашников... Калашников остался в Болдине и продолжал исполнять какие-то управительские функции. Пеньковский должен был с ним счи-

таться. По Кистеневу, в части А. С., он оставался управляющим. Конечно, таким положением Михайло Иванов был обязан Александру Сергеевичу Пушкину и своей дочери.

Осенью 1833 года помещичьи интересы привлекали внимание Пушкина. Враг раздробления крупных имений, Пушкин мечтал о воссоединении частей Болдина, поделенного между С. Л. и В. Л. Пушкиными, о приобретении находившейся в опеке после смерти дяди Василия Львовича его половины. 6 ноября 1833 года А. С. писал жене из Болдина: «Здесь я было вздумал взять наследство Василия Львовича, но опека так ограбила его, что нельзя и подумать».

По возвращении в Петербург Пушкин повидался с отцом, и тот был очень рад предложению сына взять Болдино. А в первой половине декабря 1833 года Пушкин сообщал Нащокину: «Наследники дяди делают мне дурацкие предложения—я отказался от наследства. Не знаю, войдут ли в новые переговоры». И через год Пушкин вел переговоры, но неудачно. В конце концов, в 1835 году, часть Василия Львовича была продана с аукциона полковнику С. В. Зыбину за 220.000 рублей.

В 1834 году Пушкину пришлось стать еще ближе к помещичьим делам. «Обстоятельства мои,—сообщал Пушкин Нащокину в начале марта 1834 года,—затруднились еще вот по какому случаю: на-днях отец мой посылает за мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать в постеле, весь дом в ужасном беспокойстве. Что такое? — Имение описывают. — Надо скорее заплатить долг. — Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя. — О чем же горе? — Жить нечем до октября. — Поезжайте в деревню. — Не с чем. — Что делать? Надо взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва».

Обстоятельства сложились так, что Пушкину пришлось взять за себя нижегородское имение и управлять им. Рассуждал он здраво: «Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром; Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, и придется взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горя мало! Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья!». И вот, в результате вышло так, что Пушкин должен был работать на своего братца, откровенного лентяя и бесстыдного мота, и на чету Павлицевых — Ольгу Сергеевну и ее супруга Николая Ивановича, хладнокровного и убежденного вымогателя. Это ли еще не горькая обида жизни! Несомненно, на решение Пушкина влияло страстное желание сохранить Болдино в роде Пушкиных, а потом Пушкин мечтал, что он разделается же когда-нибудь со двором, со светом, с городом, уедет в Болдино и проживет баринном. Жена Наталья Николаевна была против того, чтобы муж брал Болдино, и Пушкину не раз впоследствии пришлось вспоминать о ее словах. 13 апреля 1834 года Пушкин отправил Пеньковскому письмо, являющееся первым по времени памятником его управления Болдиным. «Батюшке угодно было поручить в полное мое распоряжение управление имения его. Посему, утверждая доверенность, им данную вам, извещаю вас, чтобы отныне относились вы прямо ко мне по всем делам, касающимся Болдина. Немедлен-

но пришлите мне счет денег, доставленных вами батюшке со времени вступления вашего во управление, также и вами взятых в займы и на уплату долга, а засим и сколько в остатке непроданного хлеба, несобранного оброка и (если случится) недоимок — приступить вам также и к подворной описи Болдина, дабы она к сентябрю месяцу была готова».

Первое время Пушкин не верил Пеньковскому и имел намерение пригласить нового управляющего. А. Н. Вульф посоветовал ему взять немца-агронома К. Рейхмана, управлявшего тверским имением П. А. Осиповой Малинниками. П. А. Осипова, узнав о намерении Пушкина, пришла в необыкновенное волнение. В ее глазах Рейхман был никуда не годный агроном-теоретик. «Поверьте мне и моей малой опытности, что лучше иметь управителем человека, умеющего, дав известный доход вам, сохранить и себе малую толику, чем честного дурака, который, ничего не зная, расстроит все ваше хозяйство и не приобретет ничего»,— писала 17 июня из Тригорского Осипова. Пушкин отвечал ей 24 июня: «Касательно Рейхмана отвечу вам откровенно. Я знаю его за честного человека, а в данную минуту мне только это и нужно. Я не могу иметь доверие ни к Михайле, ни к Пеньковскому, так как знаю первого и вовсе не знаю второго. Не имея намерения поселиться в Болдине, не могу и думать об устройстве имения, дошедшего, между нами будь сказано, до совершенного разорения; я хочу только, чтобы меня не обкрадывали, и хочу проценты исправно вносить в ломбард. Улучшения придут впоследствии. Но будьте спокойны: Рейхман пишет мне, что крестьяне находятся в такой нищете, а дела идут так худо, что он не мог взять на себя управление Болдиным, и в эту минуту он в Малинниках. Не можете себе представить, до какой степени тяготит меня управление этим имением. Нет сомнения, что Болдино стоит того, чтобы его спасти, хотя бы для Ольги и для Льва, которым грозит в будущем нищета, или по меньшей мере бедность. Но я не богат, у меня самого семья, которая от меня зависит и без меня впадет в нищету. Я принял имение, которое принесет мне одни заботы и неприятности. Родители мои не знают, что они на волос от полного разорения». А, сообщая жене, что новый управитель Рейхман отказался от управления и уехал, Пушкин прибавлял: «Думаю последовать его примеру. Он умный человек, а Болдино можно еще коверкать лет пять». Много крови испортило Пушкину управление Болдиным. «Хлопоты по имению меня бесят» или «Теребят меня без милосердия. Вероятно, послушаюсь тебя и откажусь от управления имения. Пускай они коверкают, как знают: на их век станет, а мы Сашке и Машке постараемся оставить кусок хлеба»... «Здесь меня теребят и бесят без милости. И мои долги, и чужие мне покоя не дают. Имение расстроено и надобно его поправить, уменьшая расходы, а они обрадовались и на меня надели. То—то, то—другое»...

Эти фразы точно рисуют положение Пушкина в деле управления имением. Отказаться у него не хватило решительности. Первой мыслью было, конечно, извлечение денег из Сохранной казны или Опекунского совета под залог ещё не заложенных 76 душ кистеневских. Эта операция тянулась довольно долго, сообщения о залоге имения находим чуть не в каждом письме к жене за время ее отъезда — в мае, июне, июле. Только 19 июля сделка была

завершена, и 20 июля Пушкин получил деньги и кое-как мог удовлетворить аппетитам родни.

Осенью 1834 года Пушкин был в Болдине (13 сентября он приехал, а 15 октября он был уже в Петербурге).¹ Здесь Пушкину опять пришлось выступить в роли помещика. Он записал в своем дневнике: «с'ездил в нижегородскую деревню, где управители меня морочили — а я перед ними шарлатанил, и, кажется, неудачно». Управители — Пеньковский и Калашников: весной 1834 года, будучи в Петербурге, Пушкин хотел отделаться от того и другого, но кончил тем, что оставил обоих. Пеньковскому он дал доверенность. Любопытно, что, совпадая почти текстуально с доверенностью, выданной Сергеем Львовичем, документ, подписанный Александром Сергеевичем, содержит новый пункт: «буде окажутся дурного поведения и вредные вотчине крестьяне и дворовые люди, таковых отдавать во всякое время в зачет будущего рекрутства; если окажутся неспособными, то отдавать без зачету, предварительно меня о том уведомив». В письме к жене от 15 сентября Пушкин рассказывает о своей встрече с крестьянами: «Сейчас у меня были мужики с челобитьем; и с ними принужден был я хитрить; но эти наверно меня перехитрят, хотя я сделался ужасным политиком»...

VII

В остатках вотчинного архива с. Болдина сохранилась за 1833—34 год «памятная» книга, куда сам управляющий и конторщики заносили достопримечательные события и факты болдинской подневольной жизни. Записки любопытны не только как свидетельство об управлении имением Пушкина, но и как памятник крепостного быта. В этой книге читаем запись: «корова отелилась, родился бычок», а рядом важный административный указ: «Я по вступлении моем в управление в село Болдино по данной мне доверенности г. С. Л. Пушкина нашел ослушным против моих приказаний и не достойным исправлять должность бурмистра Игн. Сем. Сягина, при собрании всех стариков устранию его от должности»... Тут записаны и остальные назначения: в хлебные старосты, бурмистры и т. д. Столь же обычными являются записи о расправах. «Кистеневский крестьянин Вас. Игнатов просил на кистеневского земского Гавр. Алексева, что насильно перевязал овец (за долг) и прибил женщин, одной женщине разорвал рот. Решено Гав. Алексева лишить иску, за побои наказан розгами 20 ударов». Еще запись о применении желез к Якову Семенову, бегавшему от солдатчины и месяц скрывавшемуся. Пред тем, как он был поставлен на суд перед собранием стариков, он был в железах, и из оных выпущен Михаилом Ивановичем Калашниковым. Решено дать 25 ударов розгами. Еще повседневный случай: «Ефим Захаров принимал в свой дом язовских воров — ослушался по приказанию моему, дабы явиться из кабака в судную — мною лично был замечен с язовскими ворами в кабаке пьянствующего и украл тулуп у кистеневского крестьянина» и т. д. Наказан 50 ударами розгами. А вот еще ослушник Тимофей Пядышев, тоже не явился из кабака в судную; решено было наказать его 40 ударами, но он был прощен «за вызнание о многих вещах им же в воровстве прошед-

шем,— и он же доказал на бывшего бурмистра Игната Семенова, что изпод колосников рожь крал и привозил в собственный дом, а рижник Кирей за шубу давал ему, Пядышеву, барского овса 4 четверки». Вот оно, пушкинское хозяйство! Ну, и так далее. Все эти записи — реальный комментарий к отрывку из «Истории села Горюхина»: «Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы — а старик Тимофей сына откупил за 100 руб.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 руб., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес — и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах — а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку-пьяницу».

Особое место занимают записи о рекрутском наборе. В ноябре 1833 года Болдинская экономия назначила в солдаты семь человек. Против первых четырех фамилий в списке пометки «вор», а физические характеристики такие: Ефим Захаров — течет с ушей, Пядышев — рана в ноге, Кандалов — желтью болен, Ананьин — палец на левой руке крюком. Только два без особых патологических примет, а из них Сягин («чист») сбежал, очевидно по дороге в Арзамас, от отдатчика. Целая система поставки рекрут государству! И эту систему — защищал Пушкин. Напомню особенный пункт в доверенности, выданной им Пеньковскому, и приведу характерные рассуждения по этому поводу из «Мыслей на дороге»: «Власть помещиков, в том виде, как она теперь существует, необходима для рекрутского набора. Без нее правительство в губерниях не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрут. Вот одна из тысячи причин, повелевающих нам присутствовать в наших поместьях, а не разоряться в столицах под предлогом усердия к службе, но в самом деле из единой любви к рассеянности и чинам. Очередь, которой придерживаются некоторые помещики-филантропы, не должна существовать, пока существуют наши дворянские права. Лучше употребить сии права в пользу наших крестьян и, удаляя из среды их вредных негодяев, людей, заслуживших тяжкое наказание и проч., делать из них полезных членов обществу. Безрассудно жертвовать полезным крестьянином, трудолюбивым, добрым отцом семейства, а щадить вора и пьяницу обнищалога, из уважения к какому-то правилу, самовольно нами признанному. И что значит эта жалкая пародия законности!».

Пушкин знал болдинскую действительность, нищенский рабский быт разоренных имений Пушкиных, и поэтому грустным памятником резкого несоответствия жизненной правде является изображение крепостного мужика в сравнении с английским рабочим в тех же «Мыслях на дороге», изображение, дающее повод говорить о защите крепостных устоев. «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность... Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром, барщина определена законом; оброк не разорителен... Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем он вздумает, и уходит иногда за

2.000 верст выработать себе деньги... Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны. Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна; проворство и ловкость удивительны... В России нет человека, который бы не имел собственного своего жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши;

<u>Май</u>		
24 ²⁰	звон. мед. пункт	100 р.
30 ⁴⁰	—	200 р.
	расходы	6 ²⁰ 300 р.
<u>Июнь</u>		
4 ²⁰	звон.	50 р.
6 ²⁰	карт. деньги	678 р.
8 ²⁰	дом	150
9 ²⁰	дом	350
	всего расх.	1228
<u>Получено от бабушки 400 р.</u>		
<u>Всего расхода от 6²⁰ апреля</u>		
по 9 июня	(изв. с. с. с.)	3924 р.
всего денег	—	550
	всего	4,474 руб.
<u>прихода</u>	—	400 руб.

у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности... Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения. Избави меня, боже, быть поборником и проповедником рабства; я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою помещиков,—и это очевидно для всякого. Злоупотребления встречаются везде».

В своих имениях Пушкин не мог найти подтверждения благополучному состоянию мужика. В наших руках — подворные описи кистеневских мужиков, мы уже приводили общие итоги; в частности, были мужицкие семьи — бездомные, бескоровные, безлошадные (на 96 семейных единиц—79 лошадей, 86 коров). Несомненно, в своей публицистике, которая, несмотря на все компромиссы, не увидела света, Пушкин перегнул и даже слишком.

	Июль	
9 ^н	_____	50
	Июль	
3 марта	_____	50

6 ^н	_____	30 руб.
20 июля	_____	74 руб.
За 13, 260 руб. (60 руб. за лош.)		

Земля в с. Замоскворецком 220 р.		
Вязанье сукна _____		280 р.
23 в. в. в. _____		837 р.
31 М. в. _____		950 р.
	август	
14 авг. за перевод писем		95 р.
16 — в. в. в.		500
_____ садом.		166
приходы	13,230 руб.	
расходы	3,088 руб.	за табак и т. д.
остаток	4,070	
	7,148	

VIII

Мы дорожим всякой пушкинской строкой, и не художественной. Пушкинисты тщательно собирают и воспроизводят все заметки Пушкина, все записи с адресами, о долгах, о суммах литературного гонорара, о получении

жалованья и т. д. К истории хозяйствования Пушкина относится один неизданный документ,—это заведенная им, самодельная книжка, сшитая из 16 перегнутых пополам листков почтовой бумаги большого формата. На первой странице Пушкин дал титул:

«Щеты по части
управления Болдина
и Кистенева
1834».

Записей здесь немного. Листы 1 об., 4 об., 7 об. и дальше до конца чистые. Период, захватываемый «щетами», начинается, очевидно, с того месяца, когда Пушкин, заявив отцу о том, что он берет Болдино, начал производить на семью расходы из собственных средств, и кончается июнем 1835 года. Дальше Пушкин, очевидно, перестал вести бухгалтерию.

1834 года.	л. 2.
Апреля 6 за дом заплачено	666 р.
» 9 деньгами	200 »
Старого долгу осталось.	550 »
	<u>разходу всего . . 1.416 р.</u>

За брата Льва Сергеевича	
апреля 29-го за квартиру	1.330 р.
в ресторанцию	260 »
	<u>разходу всего . . 1.590 р.</u>

М а й.

л. 2 об.

24-го деньгами матушке	100 р.
30-го „ „	200 р.
	<u>разходу всего . . . 300 р.</u>

И ю н ь.

4-го деньгами	50 р.
6-го каретнику	678 р.
8-го деньгами	150 р.
9-го деньгами	350 р.
	<u>всего разх. 1.228 р.</u>
Получено из Болдина 400 р.	

Всего разходу от 6-го апреля
 по 9 июня (кроме долгу) . . . 3.924 р.
 старого долгу 550 „

 всего 4.474 руб.
 Прихода 400 руб.

И ю н ь.

л. 3.

9-го 50 р.

И ю л ь.

3 портному 50
 [4-е каретнику]
 6-го получено оброку 30 руб.
 20 июля заложено 74 души
 за 13.260 рублей (60 задержано в ломб.).
 Тож числа

За Льва Серг. заплачено Дюме . . 220 р.
 Выдано ему же 280 р.
 23 в Варшаву за Л. С. 837 р.
 31 Льву Серг. 950 р.

А в г у с т

14 авг. за перевоз мебели 35 р.
 16 „ в деревню 500 р.
 „ „ за дом 166

Приходу 13.230 руб.
 разходу 3.088 руб. да забранные
 вперед 4.070

7.158

3 л. об.

Итого из всей суммы остается 6.042 руб.

С е н т я б р ь.

1-го в Совет 350 р.
 Шет портного за Льва Серг. . . . 391 „

О к т я б р ь.

22 в деревню 500 р.

Н о я б р ь.

1-го за 4 месяца людям 168 р.
 18-го послано в дерев. 350 р.
 21-го от Ив. Кувшина получено . 30

Декабрь.

4-го людям дано 40 р.

21-го дек. 150 р.

28-го дек. за дом 800 р.

„ „ За Л. С. Беклемишеву . 1.500 р.

л. 4.

В конце декабря из доходов

Болдина, заплачено 1.270 р.

в С. П. Б. Опекунский совет (просроченных процентов) в течение лета заплачено . . 300 р.

1835 года.

л. 5.

Приход.

л. 5 об.

11.114 рублей в феврале заплачены в Опекунский совет (просроченные проценты).

Разход.

л. 6.

3-го янв. дано 15 р.

4-го „ „ 150 р.

11-го „ „ 500 р.

26-го 100 р.

765 р.

Февраль.

15-го дано 100 р.

15-го от Ан. Ник. взято 20 р.

16-го за дом 300 р.

22-го дано 75 р.

495 р.

Март.

1-го дано 200 р.

4-го за дом 300 р.

17-го дано 100 р.

31-го 100 р.

700 р.

Апрель.

л. 7.

6-го дано 200 р.

17-го 100 р.

300 р.

Май.

3-го дано 200 р.

17-го 150 р.

150 р.

500 р.

Июнь.

14-го 25 р.

17-го 375 р.

20-го портному 175 р.

575 р.

Для правильного учета влияния крепостного быта на Пушкина нужно твердо запечатлеть одно очень важное обстоятельство: Пушкин не жил на крепостные доходы — от крестьянских оброчков, от продажи на ст. Лысково хлеба, собранного его мужиками.

IX

А что же приказчик Михайло Иванов? что его дочь? Мы уже видели, что он оставался в хозяйственной должности и после появления Пеньковского. Пушкин продолжал неизменно покровительствовать ему. Сохранилось письмо Калашникова к нему от 26 июня 1835 года — неизданное.

«Милостивый Государь
Александр Сергеевич!

При сем спешу доставить к вашей милости квитанцию, состоящие в недоимки Государственных податей полученную из Сергаческого Казначейства в 6 рублях 17-коп. то теперь уже никакой недоимки за Кистеневым неимеется, по приезде моем домой нашел в вашей водчине все благополучно. Мы все молим бога, чтобы продлил ваши лета в самом благополучии и здоравьи, наша только одна осталась надежда только на Вашу милость, Вы извольте узнать от батюшки уплочены ли занятые ими деңги Зайкину. Есть ли уплочены то нужно подать прошение чтобы уничтожили оный иск. Вашим честь имею быть с истинным моим к вашей милости почитанием и преданности

Ваш Милостивый Государь
всенижайший раб навсегда пребуду
Михаил Калашников».

Ряд сообщений о Калашникове находим в письмах Н. И. Павлицева Пушкину. Калашников раздражал мужа Ольги Сергеевны, и он назойливо докучал Пушкину. До него дошел слух, что Пушкин хочет отказаться от управления имением, и он писал Пушкину в январе 1835 года: «Зная довольно хорошо домашние дела Сергея Львовича, я не могу хладнокровно подумать о намерении вашем отказаться от управления имением. Отказываясь от управления, вы оставляете имение на произвол судьбы, отдаете его в руки Михайла, который разорял, грабил его двенадцать лет сряду; что же ожидать теперь? — первой недоимки — продажи с молотка, и может быть зрелища, как крепостные покупают имения у своих господ. Я не говорю, чтобы Михайло купил его, — нет; но уверен, что он в состоянии купить».

Михайло Калашников положительно не давал покоя Павлицеву. В июле 1836 года последний писал из Михайловского Пушкину: «Позволять себя обкрадывать, как Сергей Львович, ни на что не похоже. Вы говорили, помнится мне, однажды, что в Болдине земли мало и запашка не велика. А знаете ли, как мала она? 225 четвертей одной ржи, т.-е. вдесятеро больше против здешнего (это начитал я нечаянно в одном из писем Михайлы к батюшке, заброшенных здесь в столе). Обыкновенный урожай там сам-10; поэтому

в продаже должно быть одной ржи до 2.000 четвертей, на 25 тыс. рублей. Каково же было раздолье Михайле? ну, уж право не грешно взять с него выкупу тысяч 50: он один стоит Михайловского, также им ограбленного».

А в августе 1836 года Павлицев опять подзуживал Пушкина: «Не забудьте также, что рекрутский набор на носу. Не худо бы забрить лоб кому-нибудь из наследников Михайлы; жаль, что он сам ушел от рекрутства. Но это вы сами решите». И в ноябре 1836 года Павлицев опять возвращается к Калашникову: «Послушайте меня, Александр Сергеевич, не выпускайте из рук плута Михайлу с его мерзкой семьей: я сам не меньше вашего забочусь о благе крепостных; в Михайловском я одел их, накормил. Благо их не в вольности, а в хорошем хлебе. Михайло и последнего не заслуживает. Возьмите с него выкуп: он даст вам за семью 10 тыс. Не то, берите хоть оброк с Ваньки и Гаврюшки по 10 руб. в месяц с каждого, а с Ваньки (получающего чуть ли не полковничье жалованье) по 20 руб. в месяц, обязав на случай их неисправности, платить самого Михайлу: вот вам и капитал 10.000».

Положим, что Павлицев не знал, что связывало Пушкина с семьей Калашниковых, а то его предложения разделаться с Михайлом звучали бы слишком зловещей иронией. Ну, как мог Пушкин расправиться с отцом возлюбленной, милой и доброй крестьянской девушки, бывшей его женой в 1825 году! Он сам прекрасно знал грабительские повадки Михайлы, но не мог принимать никаких мер против своего блудного тестя и не принимал. 14 июня 1836 года, давая распоряжения по болдинскому имению управителю Пеньковскому, Пушкин писал: «О Михайле и его семье буду к вам писать».

Так и не написал Пушкин о семье Михайлы, так мы и не знаем, какие же намерения у него были в отношении семьи Калашникова.

О дальнейшей судьбе дочери Калашникова у нас пока нет известий.



Движение вещей

БОРИС КУШНЕР

Нам, в стране Советов, пришлось узнать самые крайние пределы разрушения транспорта. Было время — железные дороги у нас фактически почти не работали, флота не было ни морского и ни речного, а лошадей либо люди с'ели, либо сами они пали от бескормицы.

Кроме нас такого состояния не испытал еще никто никогда, и принято думать, что в подобных условиях не только действовать, но и просто существовать нельзя.

Мы существовали и действовали.

Зато никто не сознаёт так хорошо пользы транспорта, как мы. Западные европейцы на этот счет слишком избалованы. В их языках нет таких слов, как «транспортная разруха», «бездорожье», «распутица». Не знают они таких вещей. А если и знали когда, то уж давно забыли. И пользуются они благами транспорта, так сказать, бессознательно. Мы же сознаем, и живо чувствуем, и горячо любим каждый новый наш паровоз, каждый новый автобус, появившийся на московских улицах, каждого жеребенка, который современем вырастет, станет лошадей и будет возить людей и клади. Все, что есть у нас транспортное, мы бережем:

как солдат, обрубленный войною,
ненужный, ничей,
бережет
свою единственную ногу.

Но современного, технически хорошо организованного транспорта мы не знаем — никогда не видели. Наша транспортная культура убога и несовершенна. Железнодорожная сеть даже в европейской части нашего Союза в десять раз слабее развита, чем английская и германская. Через наши морские порты и гавани грузов проходит в 30 раз меньше, чем через английские и в 15 раз меньше чем через порты ограбленной и обескровленной, разоренной Германии. В отношении новейших способов передвижения и перевозки грузов дело обстоит еще хуже. Автомобилей в Англии в 50, а во Франции в 35 раз больше, чем у нас. А ведь нас, при наших неизмеримых пространствах, нельзя и сравнивать с территориально небольшими странами Западной Европы. Нам бы нужно меряться на американский масштаб, да уж величины-то получаются совсем несоизмеримые. На каждый наш железнодорож-

ный километр в Соединённых Штатах приходится 8, а на каждый наш автомобиль целая тысяча. Где уж тут меряться!

Не следует думать, что мировой транспорт состоит только в преодолении больших расстояний. Дело вовсе не только в том, чтобы нашу волжскую пшеницу перевезти из Новороссийска в Роттердам или фордовские тракторы из Детройта в Ленинград. Передвижение больших товарных масс на малые расстояния всего лишь в несколько метров — при отгрузке и перегрузке — сопряжено отнюдь с неменьшими трудностями, чем преодоление самых больших расстояний. Так товарному пароходу в 8.000 тонн нужно всего лишь десять дней для того, чтобы пересечь Атлантический океан. На погрузку же и разгрузку этого парохода в порту, если работы эти производить без применения соответствующего усовершенствованного механического оборудования, придется затратить не менее двух недель. Передвижение груза с набережной в трюм и обратно потребует большей затраты времени и труда и будет стоить соответственно дороже, чем его переброска на 6 тысяч километров с одного материка на другой.

На хорошо оборудованном западно-европейском транспорте перегрузочные приспособления играют особо важную роль и поражают своей разнообразностью, богатством и изобилием. У немцев об этом написаны обстоятельные толстые книги, увлекательней романов Бальзака.

В число задач транспорта, кроме преодоления расстояний как больших, так и малых, входит еще и задача преодоления времени. Редко случается, что груз по прибытии к месту назначения без промедления идет в дело. Обычно его приходится хранить, прежде чем он будет использован. Долго ли, коротко ли — это зависит уже от самого груза и от разных иных обстоятельств. Для преодоления этого мертвого времени на транспорте или иначе, для хранения грузов сооружаются разного рода складочные помещения — открытые портовые пакгаузы, закрытые многоэтажные каменные или железобетонные склады, хлебные элеваторы, холодильники и проч. Лучшие, прекраснейшие образцы современной индустриальной архитектуры встречаются именно среди этих сооружений.

Германия — страна рекордов. Немецкая буржуазия, предписывая честь их создания себе, весьма гордится и дорожит ими. Немцами построен после войны для Соединенных Штатов самый большой в мире дирижабль, знаменитый «ЦР III», который перелетел через Атлантический океан с такою же легкостью и уверенностью, с какой у нас совершаются пробные полеты над полем имени Троцкого. Три самых больших океанских пассажирских парохода — «Беренгария», «Мэджестик», «Левиафан» сооружены на немецких верфях и плавали некогда под немецким флагом.

Гамбургско-Берлинский поезд претендует на звание самого скорого в Европе. В Кельне на Ганзаринг стоит Вавилонской башней восемнадцатизэтажный дом — самый высокий в Европе. Центральная электрическая районная станция в Гольденберге представляет собой тройной рекорд. Во-первых, это самая большая в мире паровая центральная станция, во-вторых — самая крупная установка, работающая на буром угле и, в-третьих, на станции этой работают самые большие в Европе турбогенераторы. Не-

мецкие рекорды долго насчитывать. Чтобы их всех пересчитать, пришлось бы упомянуть и о немецкой сорокадвухсантиметровой гаубице, о подводной лодке, прошедшей во время войны 10 тысяч километров и о пушке, обстреливавший Париж с дистанции в 130 километров. Но о военных рекордах даже сама немецкая буржуазия предпочитает помалкивать — слишком дорого обошлись они стране. Самый удивительный рекорд Германии это Гамбург — величайший порт нашего континента.

Гамбург лежит не у моря и не у устья Эльбы. Сто километров нужно ехать от него до морской волны, до морского простора. Что же это за удивительная река такая, на которой, так далеко забравшись, все еще можно было соорудить гигантский мировой порт, у причальных перронов которого ошвартовываются самые крупные трансатлантические турбоходы? Должно быть, река эта сама шириной в морской пролив и глубины такой, что дна нету? Какое! Река, слов нет, порядочная, но о каких-нибудь исключительных измерениях и речи нет. Во всяком случае, против нашей Невы не выстоит. Природа для Гамбурга никаких особых чудес не творила. Его порт с начала и до конца представляет собою сплошное искусственное сооружение, создание рук человеческих.

Город Гамбург по величине своей уступает во всей Германии одному только Берлину. В нем жителей значительно больше миллиона. Вместе с тем он благоустроен и красив.

В Гамбурге умеют поработать. Деловая жизнь здесь начинается в 7 часов утра. Гамбуржцы гордятся своим американизмом и любят показывать заезжим гостям два своих огромных дома, построенных в стиле небоскребов. Называются они — один «Альберт Баллин», главная контора паровозного о-ва Гамбургско-Американская Линия, другой — «Чили-Хауз». Высотой они всего лишь в 11 этажей, но на вид небоскребны и внушительны. Оборудованы на американский манер непрерывно движущимися вверх и вниз подъемными машинами и иными хитростями. С их плоских крыш видна большая часть города. Чили-Хауз назван именем отдаленной южно-американской республики якобы потому, что построивший его купец вел торговлю с этой страной. Народная молва утверждает, впрочем, что республика Чили здесь не причем, а что владелец Чили-Хауза или ближайшие предки его нажили свои несметные богатства на торговле рабами-неграми. В настоящее время в Гамбурге собираются строить новое здание центрального телеграфа и почты — первый настоящий небоскреб на европейском континенте в двадцать четыре этажа.

По оборудованию уличного движения Гамбург не хочет отставать от мировых столиц. Его круговая подземно-надземная городская железная дорога, разумеется, скромнее берлинской. Насчитывает всего лишь около 30 станций. Протяжением однако все же более 60 километров.

Вдоль гавани по портовой набережной идет воздушная линия на железном виадуке. Оставив гавань за собою и свернувши в гущу городских домов, воздушная дорога теснится среди них и пробирается по направлению к одному из старинных каналов. У канала она делает резкий поворот и быстро скользит вниз. По крутой наклонной плоскости виадук, двойная рельсовая колея,

и электрические поезда на них стремительно ниспадают в стоячие воды канала. Нырют куда-то, не то под воду, не то под фундаменты зданий, и исчезают из виду. Современный Гамбург не знает, что ему делать с его многочисленными средневековыми венецианскими каналами. Вот и использовал один из них для перехода воздушной дороги в подземную.

В Гамбурге есть все, чем по традиции должен обладать портовый город.

Во времена парусов и бригантин океанские рейсы длились месяцами. Моряки на утлом суденышке в течение долгого срока были лишены всего, что почитается удобством и радостью в сухопутной жизни. Естественно, что в те времена моряки, дорвавшись до порта и сохранив за время плавания свой скудный заработок неприкосновенным, представляли собою легкую добычу для кабацкой предприимчивости. Естественно, что в те времена портовые города были главными очагами пьяного промысла и проституции. С тех пор, однако, обстоятельства изменились коренным образом. Ныне пересечь океан — дело всего лишь нескольких дней. Пребывание в море без захода в порт редко исчисляется неделями. И нет у моряков больше особых причин считать себя лишенными земных радостей в большей мере, чем лишены их трудящиеся на сухопутьи. Да и условия жизни на борту корабля в наши дни не в пример прошлым. Традиция портового пьянства и разгула держится, тем не менее, во всех капиталистических странах очень прочно. Где порт, там обязательно должны быть и так называемые трущобы. Недаром удивился и развел руками весь буржуазный мореходный мир, когда убедился воочию, что советские краснофлотцы, сойдя на берег после долгого плавания, не пьют, не бесчинствуют, не безобразничают и всюду, куда бы ни забросила их участь мореплавателей, умеют сохранить человеческое достоинство.

В Гамбурге есть целый специальный район, отведенный под моряцкие буйные увеселения. Этот район является одной из наиболее известных гамбургских достопримечательностей. Он называется Сан-Паули, представляет собою западную окраину Гамбурга и сливается непосредственно с городом Альтона. Альтона — самостоятельный город. Ни муниципально, ни политически с Гамбургом не связан, наоборот, всячески отделен от него. Только улицы их вливаются непосредственно одна в другую. Свернешь направо с перекрестка — город Альтона, свернешь налево — город Гамбург.

Широкая улица Реепербан — главная увеселительная артерия в Сан-Паули. С 10 часов вечера и до глубокой полночи бурлит тут шумное балаганно-кабацкое производство. Оперетты, кабаре, варьете, ипподромы, тир, просто кабаки и балаганы особого назначения. На разные вкусы и особенно на разные достатки. Так, чтобы всякому по карману, чтоб никто не ушел — слишком, мол, дорого или слишком дешево. Тут можно вполне комфортабельно наливаться шампанским по червонцу за бутылку и тут же рядом за 20 пфеннигов показывают чудо из чудес — женщину без головы. Она сидит полуголая на высоком табурете, как осьминог ворочает руками и ногами, а головы нет у ней никакой, между плеч пустое место. Здесь в больших залах шум, свист, попойки, танцульки и дым коромыслом. В грязных кабачках, разделанных под матросские притоны, два-три испитых

музыканта производят столько грохота, сколько не сможет произвести и целый полковой оркестр. Здесь вновь пришедших посетителей встречают для настроения добрым тумачом в бок.

На боковых улицах, сохранивших еще старинные гордые названия Большой и Малой Свободы, веселие вылито прямо на улицу, на мостовую. В под'ездах и в воротах приютились открытые ларьки с дешевыми сладостями, горячими колбасками и прохладительными напитками. Толпа такая, что двигаться можно лишь очень медленно. Гул такой, что голоса соседей не слышно.

Замечательней всего маленькая и кривая Сан-Петер Штрассе. С обоих концов своих она отгорожена от смежных улиц деревянными воротами. С 7 часов вечера ворота закрываются на запор. Открытой остается лишь калитка на тротуаре. С 7 часов вечера и до 6 часов утра прекращается всякое экипажное движение. Так написано на воротах. Зато пешего народу набирается тьма. Густая толпа медленно и чинно движется и по мостовой и по тротуарам, соблюдая благопристойность и относительную тишину в полный контраст с обеими Свободами. Толпа на Сан-Петер состоит не из прохожих, а из посетителей. На этой улице все без исключения дома — публичные. Иных зданий здесь нет. Сан-Петер чистая улица. Ни сора, ни мусора, ни каких бы то ни было других видов загрязнения на ней нету. Все дома заново выкрашены светлой масляной краской, оконные стекла блестят, как зеркала, занавески на окнах белей морской пены, белей крыла чайки. Дисциплина, видимо, железная. Некоторые из содержателей здешних борделей в наивном честолюбии надписали имена свои золотыми буквами на стеклянных фромугах входных дверей. Дома не велики. В деревянных филенчатых дверях проделаны продолговатые отверстия, аккуратно притворяемые ставнями. Когда в доме есть незанятая проститутка, она открывает ставню и стоит у выреза двери, обнажая свои соблазны и прелести более или менее, в зависимости от времени года и от погоды. Свет внутри дома устроен так, что дверной вырез и женщина в нем освещены наиболее благоприятным и заманчивым образом. По улице густой толпой взад и вперед медленно гуляют мужчины. Разглядывают женщин и оценивают их промеж себя. Время от времени кто-либо из мужчин, сделав свой выбор, подходит к женщине в вырезе и не слишком громко вступает с ней в переговоры. Если условия подходящи, мужчины скрываются за дверью и ставня тотчас же захлопывается. Что делается внутри этих стерильно чистых домов на Сан-Петер Штрассе, с улицы не видать. Надо думать, что и там все так же солидно, чисто и организовано. Все продаваемые наслаждения, наверно, строго регламентированы и на все своя такса. Не бордель, а прямо зубоврачебный кабинет.

При выходе из калитки, у ворот, отгораживающих улицу, раздают прокламации какого-то человеколюбивого общества. В прокламациях гражданам настоятельно рекомендуется спать с женой и не ходить к проституткам, так как это вредно и неблагочестиво.

Вот, что называется поставить дело на ять!

Реепербан, Сан-Паули и Сан-Петер широко известны на обоих полушариях земли. Про них слагают песни и называют эти песни матросскими.

Зря порочат пролетарское матросское сословие. Я, по крайней мере, пройдя по этим улицам, ни одного матроса на них не встретил.

Нет смысла слишком долго останавливаться на всех гамбургских городских благоустройствах. Основное в Гамбурге — это его гавань.

Каналы старой гавани между Альстером и Эльбой называются флээтами. Они нешироки и извилисты. Многоэтажные корпуса складов, плотно прижавшись друг к другу, поднимаются из темных неподвижных вод. Среди складочных зданий много старинных и средневековых, но есть не мало и совсем новых, построенных по всем правилам техники последней четверти века. Древний черный ил настолько засорил наиболее старые русла, что во время отлива жирное дно и источенный водою камень домовых фундаментов совсем обнажаются. Тогда тупоносые баржи садятся на землю и отдыхают неподвижно, как крокодилы, вылезшие на илистый нильский берег.

В этом венецианском районе Гамбурга сохранились совсем старинные улицы. Их названия свидетельствуют о том, какого высокого мнения был издревле Гамбург о самом себе. Одна из наиболее сохранившихся средневековых улиц называется кратко — Великолепие. Узка, бессветна и входись в нее не без робости. Дома мрачны, каждый кажется таинственным притоном. Тротуаров нет, зато сточная канава проходит как раз по середине мостовой. Предназначалась она отнюдь не только для атмосферных осадков, но и для всех жидкостей, которые извергали дома, не имевшие не только канализации, но и выгребных ям. Интересно знать, как выглядели улицы, не казавшиеся великолепными современникам этого Великолепия?

Искусственные бассейны, из которых состоит современная гавань Гамбурга, обширны, вместительны и многочисленны. Система их распланирования сложна. На глаз не усмотришь никакого порядка. И речные рукава, заливы, затоны, острова между ними, шлюзы, ворота, причальные линии, склады и всякие портовые сооружения кажутся нагроможденными друг на друга без какого бы то ни было плана. Куда не помотришь, нигде конца порту не видно. Пароходные трубы, корабельные мачты, сигнальные вышки, гранитные набережные, бетонные здания и железные фермы заполняют все поле зрения. Нельзя увидеть глазами, ни понять сознанием, ни примириться с мыслью, что тут перед тобою река. Ничего такого кругом не видеть, что можно было бы счесть за речные берега. Тут вода и земля переплелись так чудно, что одно другого не ограничивает. За каждой водной поверхностью виднеется узкая полоска суши. За каждой сушей отсвечивает нефтью и сталью поверхность воды. От горизонта до горизонта все застроено и заставлено. И все движется—по воде, по рельсовым путям, по мостовым, виадукам, эстакадам, конвейерами. Грузы в бочках, в ящиках, в мешках, в кипах, в рогожах, в разных тарах летают по воздуху на длинных цепях под'емных кранов. Железные двустворчатые черпаки жрут уголь без всякой тары и упаковки. Пневматические сосуны, запустив свои рукава в пароходные трюмы, пересыпают зерно в закрытые лихтеры, в вагоны или в элеваторные склады, смотря по назначению.

Даже на самых оживленных столичных площадях не бывает больше движения, чем здесь в проходах между бассейнами и на водяных перекрест-

ках. То-и-дело уверенно и грузно проплывают мимо приходящие и уходящие морские суда и океанские пассажирские пароходы. Они слишком тяжелы для речной волны и на речной волне их качает не больше, чем каменные дома на набережной. Пузатые буксиры, осевшие круглыми задами в воду, тянут железные караваны речных и портовых тяжеловозов. Между высокими бортами пароходов и плоско вдавленными в воду баржами снуют и лавируют, очертя голову, маленькие паровые катера и моторные лодки в неисчислимом количестве. Это — водяные извозчики гамбургского порта, имеющие главную стоянку у причальных перронов Сан-Паули. Их тут такое множество, что если смотреть сверху с гранитной набережной, то они похожи на уснувшие и всплывшие на поверхность стада камбалы.

Любой из водяных извозчиков за 3 целковых об'ездит с вами порт во всех направлениях и покажет вам самые укромные и заповедные уголки. Впрочем, показывать порт любопытствующим стало здесь промыслом. Занимаются им специальные компании. У них пароходы с двойной открытой палубой. Забирает сотню-другую пассажиров и медленно об'езжает с ними все главные портовые бассейны. При этом не только показывают, но и дают разъяснения касательно всего виденного.

Основная масса судов, поддерживающих современное мореплавание и перевозящих большую часть грузов через моря и океаны — это пароходы вместимостью, примерно, от трех до восьми тысяч, так называемых, брутто регистровых тонн. Сверх восьми — это уже стальные горы, гиганты, колоссы, считаемые единицами и известные наперечет по именам. Меньше трех тысяч тонн имеют, обычно, лишь суда ближнего плавания. Что же осталось от немецкого торгового флота после войны, когда союзники отобрали у него все суда вместимостью свыше 1.600 тонн и половину судов, имевших от 1.000 до 1.600? Довоенный торговый флот Германии уступал лишь английскому и был в мире по счету вторым. По Версальскому договору он стал одним из самых незначительных и сразу оказался отброшенным на тринадцатое место. Собственно говоря, не имея ни одного судна даже на две тысячи тонн, он и вообще-то названия флота больше не заслуживал.

Дирижабль «ЦР III», конечно, большое достижение. Перестройка, хотя и принудительная, в недолгий срок всех военных заводов на мирное производство и выработка первоклассных сельскохозяйственных машин там, где раньше строились только пушки да пулеметы, это — событие, поднявшее побежденную страну, сравнительно с странами-победительницами сразу на несколько ступеней вверх по лестнице культуры и цивилизации. Достоинно глубокого удивления, что Германия в течение трех послевоенных лет не только восстановила свой довоенный паровозный парк (паровозы также в большинстве были отобраны), но и превзошла в этом деле собственный свой довоенный уровень.

Но все эти культурно-хозяйственные успехи отходят, однако, на задний план, стусевываются перед фактом восстановления немецкого торгового флота. А между тем, это подлинный, реальный факт, гораздо более реальный, чем вхождение Германии в Лигу Наций. По судостроению Германия уже сейчас вновь занимает второе в мире место. Мощность немецкого тор-

гового флота растет со сказочной быстротой. Он уже выдвинулся на пятое место по порядку и почти сравнялся с флотом Франции и Японии.

Восстанавливаясь из небытия на протяжении немногих последних лет, германский торговый флот является, естественным образом, самым современным и самым совершенным по качеству. Характерная черта его—значительное количество судов, отапливаемых нефтью. Это результат Версальского договора, лишившего Германию большей части ее каменного угля. Жидким топливом отапливаются котлы самого большого современного немецкого парохода «Колумбус».

Нефть употребляется в немецком торговом флоте и для отапливания котлов и для непосредственного сжигания в двигателях внутреннего сгорания, в дизелях. Немецкое судостроение настолько далеко ушло по пути применения для океанских и морских судов жидкого топлива, что уже довольно громко поговаривают о постройке турбины внутреннего сгорания. Такое чудо нужно, конечно, еще изобрести, но уже и то, что задачу подобную ставят в порядок дня, является убедительным показателем высоты технического прогресса. Если действительно удастся изобрести турбину, работающую от внутренних вспышек жидкого топлива, то она перевернет вверх дном весь наш современный машинный мир.

Говоря о современных немецких пароходах, нельзя обойти молчанием и тех работ, которые проделаны германским судостроением по борьбе с качкой. Качка, а с ней вместе и морская болезнь, являются истинным бичем для большинства неморских людей, вынужденных переезжать через моря и океаны. А таких с каждым годом и десятилетием становится все больше и больше. Укрупнение морских и океанских судов уже само по себе уменьшило качку и страдания от нее. Стальной колосс, весом в миллион пудов и длиной в четверть километра, не каждая волна качнет. Большинство волн разбиваются о такую громаду, как о каменный утес. Однако, широкие океанские водяные холмы с легкостью раскачивают и даже бросают из стороны в сторону самые большие суда, какие только существуют на свете. Недавно лишь я слышал рассказ о том, как пассажиры, ехавшие на «Беренгарии», прибыли в Англию в синяках и с исцарапанными носами. Немцы на новых судах своих стремятся уничтожить качку при помощи особой конструкции бортов или тем, что устанавливают жилые палубы на вращающихся все время волчках. Чертеж парохода, небоящегося или, вернее, малобоящегося качки, можно видеть в витрине Гамбургско-Американской Линии на набережной Альстера в Гамбурге.

Почтительно замедлив ход, проходит туристский пароходик мимо новых судов—«Кап Нортэ» и «Альберт Баллин». Первый только еще спущен на воду. На нем нет ни труб, ни всего привычного палубного пароходного строения. Люки и всякие отверстия затянуты брезентом, от чего туловище парохода похоже на спеленутого новорожденного кита. «Кап Нортэ»—теплоход, предназначенный для южно-американских рейсов.

Пароход «Альберт Баллин» принадлежит к породе океанских исполинов и современный немецкий флот может гордиться им. Он стоит ошвартованный у Императорской набережной (она в республике не стала республи-

канской) и в промежутке между двумя рейсами его осматривают толпы туристов со всех концов земли немецкой. Здесь же продают его фотографические карточки.

По своему устройству «Альберт Баллин» воспроизводит в уменьшенном виде те сверх-гиганты, которые отобраны союзниками после войны. Не забыты ни зимний сад с эстрадой для вечерних концертов, ни гимнастический зал, уставленный всякими эквилибристическими машинами.

Характерной особенностью гамбургского порта являются невысокие заборчики из деревянных жердей, торчащие над поверхностью воды и разгораживающие речной фарватер. Это таможенная линия вокруг вольной гавани. В вольную гавань суда заходят и уходят из нее, не подвергаясь таможенному досмотру. В складах на ее территории товары хранятся безданно и беспошлинно. В ее пределах не мало фабрик и заводов, возникших для переработки беспошлинного привозного сырья. Благодаря устройству вольной гавани значение Гамбурга вышло далеко за пределы обслуживания германского экспорта и импорта. Он стал мировым портом, поддерживающим транспортную связь Европы со всеми остальными частями света.

Полноводная Эльба не нуждается, как-будто, в настоящих шлюзах. Их, кажется, и нет в гамбургском порту, зато есть много водяных ворот, регулирующих течение и движение воды по всем многочисленным бассейнам и рукавам между ними. Ворота эти с торжественной медленностью раскрываются для проходящих судов и неожиданно делают доступными для глаз отдаленные и сокровенные уголки порта. В ожидании пропуска перед воротами собирается большая толпа разнообразнейших пловучих средств. Буксиры с откидными трубами, простые баржи, тюленьи туловища баржей наливных, моторные баржи—самоходы, катера и моторные лодки всякого калибра—легковой извоз этой водной страны. Столпившиеся суда лениво покачиваются, легонько постукивая борт о борт соседей, словно они сошлись сюда между делом, чтобы посудачить и передохнуть.

Несмотря на стокилометровую отдаленность моря, прилив и отлив сильно ощущается на Эльбе. Причальные сваи—дюкдальбен, как их здесь называют—то прячутся в воду по самую шею, то вылезают на половину своего роста, отряхивая мокрые и темнозеленые от речной плесени тела.

Глубоки речные фарватеры, предназначенные для прохода океанских судов, вода в них по морскому темна и беспокойна. В свежую погоду тут на катерах и на моторных лодках изрядная качка, и белая пена с верхушек волн брызжет через борт.

Чтобы с лодок, катеров и пассажирских судов было всегда удобно сходиться на берег при меняющемся уровне воды, построено много пловучих причальных платформ. Главная—у набережной Сан-Паули и называется—Сан-Паули-Ляндунгсбрюккен. Это снова европейский рекорд. Сан-Паули-Ляндунгсбрюккен представляет из себя большой морской водяной вокзал. Выступая за край набережной, уходя фундаментом в воду, стоит серое каменное вокзальное здание и на нем высокая башня с часами. В здании имеется все, что должно быть на вокзале. Конторы пароходных обществ, ресторан, ванны, уборные и прочее. У подножия вокзального здания свободно плавают

на воде железобетонная платформа длиною в полкилометра и шириною в десять сажен. С платформы к зданию ведут наклонные подвижные скользящие мосты. Верхним концом они посредством шарнира укреплены на неподвижном краю набережной, их нижний конец—на роликах и свободно скользит по платформе. Он опускается и подымается вместе с платформой и вместе с уровнем воды в прилив и отлив.

Если спросить у человека, только что посетившего гамбургскую гавань, сколько в ней мостов, он подумает и ответит:

— Миллион!

Таково непосредственное впечатление. В верхней по течению части порта огромные мосты перекинуты через главный рукав реки—Северную Эльбу. Каждый имеет в длину не менее полуверсты, и фермы их причудливым сплетением нависли над чертой горизонта. Через железнодорожный мост ведет четырехколейный путь. Мост для уличного движения еще шире. Кроме обоих мостов-великанов мосты поменьше в расточительном изобилии разбросаны всюду, перекинуты через все бассейны и рукава. Они соединяют с материком и между собою все многочисленные острова и полуострова, вдоль которых протянулись главные причальные линии и главные складочные помещения. Подвижных мостов, переброшенных к пловучим пристаням, так много, что в начале только их и замечаешь. Из-за множества мостов кажется, что весь порт построен сплошь из прозрачных железных ферм.

В нижней по течению части порта через главный рукав Эльбы никакого моста не перекинешь, так как здесь ежеминутно проходят самые большие суда, заходящие в порт. На островах же, лежащих в этой части, расположены большие судостроительные верфи и главные таможенные учреждения. Постоянная связь островов с городской набережной необходима. Проложили под рекой тоннель—Эльботоннель. В его подземные пространства люди, автомобили и тяжелые грузовозы спускаются на мощных поместительных подъемных машинах и таким же образом вновь доставляются на свет дневной у другого тоннельного конца. Сам тоннель состоит из двух узких коридоров. По каждому из них движение происходит только в одну сторону. Стены и потолки выложены светлыми изразцами. Чистота—словно все ежедневно здесь мылом моется. Изразцовые поверхности отражают свет электрических ламп. Если, прищурившись, смотреть в тоннельную даль, то она представляется большим и светлым диском, по которому от центра к окружности проведены блестящие белые лучевые полосы. Как у быстро вращающегося круга или колеса.

Вдоль городской набережной, от Внутренней Гавани и до Сан-Паули, бежит по виадуку надземная железная дорога. С вокзалов и из окон проходящего поезда открывается широкий вид на порт. Весь порт взглядом охватить нельзя. Он протяжением огромен и водная система его раскинулась на пространстве не меньше, чем территория миллионного города Гамбурга вместе с городом Альтона. Один лишь вольный порт занимает площадь свыше чем в тысячу десятин.

С виадука надземной дороги видна лишь центральная часть порта, примыкающая к руслу Северной Эльбы.

Почти в центре видимого пространства на мысу мола, разделяющего два бассейна, стоит высокая башня. На башне шест, на шесте черный шар—так называемый, Шар Времени. Ежедневно ровно в час пополудни по средне-европейскому времени шар падает вдоль шеста. По ниспадению шара все суда, находящиеся в гавани, выверяют свои хронометры. Ниже шеста—круглый циферблат и стрелка на нем указывает уровень стояния воды. Башня возвышается на крыше склада, вмещающего миллион пудов различных грузов.

Вокруг башни с Шаром Времени, на километры во все стороны—не просто застроенная земля, не просто вода, обремененная судами. Здесь в каждую пядь земли, в каждый квадратный метр речного русла вложен труд тысяч и десятков тысяч человек.

Над водой, над землей, все воздушные пространства заполнены сеткой железных сооружений. Выше всех портовых зданий, выше башен, труб и мачт корабельных возвышаются тысячи под'емных кранов и эллингов судостроительных верфей.

Особо выделяется знаменитый стопятидесятитонный мостовой кран. Его верхняя поперечная ферма укреплена на одной лишь единственной вертикальной стойке, и все сооружение имеет форму занесенного в небо молота. Общая длина всех причальных линий в гавани около сорока километров, закрученных в изгибы, зигзаги и петли бассейнов. Вдоль всех причальных набережных густо один у другого стоят под'емные краны. Есть неподвижные, вделанные в гранит, есть—вращающиеся, есть—бегающие по рельсам—катучие. Больше всего порталных, т.-е. катучих на двух ногах и полупортальных, т.-е. имеющих одну лишь ногу и одним плечом опирающихся на карниз склада.

Сколько таких кранов на протяжении всех сорока километров? На этот вопрос ни от кого я не мог получить ответа. Удивлялись пустой моей любознательности, как-будто я спрашивал, сколько звезд на небе или цветов на лугу. Кем-то, кому о том ведать надлежит, все краны все же взяты на учет и на каждом из них написан его порядковый номер. Не найти только непосвященному, где начинается и где кончается счет. Все же, я видел, если не ошибаюсь, восьмитысячные номера. Разнообразии встречающихся здесь форм, систем, конструкций не описано исчерпывающе, по всей вероятности, даже и в специальной литературе. Имеются краны электрические, паровые, гидравлические, масляные, пневматические и, даже, ручные. Краны движутся, вращаются, ворочают журавлиными шеями, машут длинными руками, захватывают пригоршнями и горстями бочки, кипы, ящики и забрасывают их с судов на берег и обратно. Краны в семьдесят пять, полтора ста, двести пятьдесят и более тонн, т.-е. подымающие от 6 до 25 тысяч пудов сразу, стоят особняком, одиночками. Они приходят в движение лишь от времени до времени. Тогда можно видеть, как неторопливо, соблюдая величественную выдержку, проплывают по воздуху части мостов, станины машин в десятки тысяч лошадиных сил, землечерпалки, упакованные в ящики, объемом превосходящие деревенский дом, или, наконец, целые паровозы без всякой тары и упаковки, с колесами выше человеческого роста.

Они висят беспомощно в воздухе, как котятка, поднятые за шиворот и растопырившие лапки.

Качающиеся, вращающиеся, подвижные краны доставляют товар в разнообразнейшей упаковке из глубины корабельных трюмов прямо к широким воротам складов. Тут он подхватывается цепкими «кошками», свисающими со складских потолков. «Кошки» мчат груз по потолочным рельсам без дальнейших передач прямо в указанное отделение к предназначенному месту. Груз не волокут, не тащат, не катят. Он весь свой путь совершает по воздуху и руки человеческие прикасаются к нему так редко, как только можно.

Не всякий товар может выдержать и оправдать упаковку. Каменный уголь не будешь заколачивать в бочки, или руду насыпать в мешки, или строевой лес обшивать рогожей. Такие грузы перевозятся без всякой тары в их естественном виде. Отгрузка их при помощи обыкновенных кранов протекала бы слишком медленно и стоимость ее была бы слишком велика сравнительно с ценой товара. Для полной механизации и ускорения процесса погрузки бестарных массовых товаров строят большие и сложные сооружения. Подвижные мосты, мостовые краны, высокие эстакады, конвейера, приспособления для опрокидывания сразу целых вагонов, подвижные наклонные плоскости, черпалки, ковши на бесконечных лентах, канатные дороги, и прочие средства захватывать груз, передвигать его и распределять по площади, предназначенной для хранения.

Совершенно особняком от всех других товаров стоят зерновые хлебные грузы. Зерно, примерно, в десять раз дороже угля и может легко окупить несложную тару в роде грубого мешка. Так исстари в мешках зерно и грузили, перевозили и хранили. Развитие капитализма привело к созданию целых наций, которые сами не жнут и не сеют, а ищутся исключительно привозным хлебом. Зерно в наше время передвигается с материка на материк, из страны в страну количествами в десятки и сотни миллионов пудов. Какая могучая текстильная промышленность понадобилась бы, какая армия текстильных рабочих, чтобы заготовить мешкотару на такие количества зерногрузов? И сколько рабочих на транспорте нужно было бы занять непроизводительным трудом насыпания зерна в мешки и высыпания его из мешков? Здесь количество сделало тару неприемлемой экономически и технически невозможной. Большая часть всех хлебных зерновых грузов перевозится и хранится в наше время в бестарном виде — насыпью или россыпью. Для их отгрузки заведены специальные машины. Из всех портовых приспособлений и сооружений они самые невидные и незаметные. По своему устройству и по результатам работы они самые удивительные и самые совершенные.

Пловучая машина величиной и высотой с небольшой подъемный кран. Только форма не крана. Внизу стойки, наверху бак — в общем трудно разобрать, что за вещь и для чего служит. Из вершины бака выходит, закругляясь вниз, толстая кишка. С противоположной стороны свисают несколько рукавов, в роде пожарных, только покороче. И наконечники у них металлические, похожие на пожарные брандсбои. Это — сосуны,

зерновые насосы. Они запускают свои рукава в трюм парохода или в чрево баржи и сильной воздушной тягой всасывают в себя сыпучее зерно. Зерно выбегает из насосного бака по толстой кишке, высыпаясь по назначению.

Как черный портовый полип, стоит, присосавшись к борту парохода, зерновой насос. Рукава его спущены в люки, конец толстой кишки засунут в пузо железной баржи. Снаружи никакого движения. Рабочий с масленкой и тряпкой похаживает по пловучему основанию зернососа, матросы на борту корабля несут свою портовую службу и развешивают для просушки белье. В голову не придет, что тут разгрузка. Между тем, пробегут часы — и тысячи тонн зерна переместятся из пароходного трюма в речную баржу. И неторопливо, все так же спокойно вытаскивает сосун свои рукава из пароходных люков, отваливает и медленно плывет в другое место порта, чтобы и там в несколько часов проделать в тиши полусонной работу, которую прежде на протяжении многих дней с великим шумом и с громкой бранью делали десятки людей, надрывая потные спины. Зернососов в Гамбурге множество. Они обозначены белыми жирными литерами и, когда не работают, стоят в середине одного из бассейнов, сбившись в кучу, как испуганное стадо попавших в ловушку животных.

Самые тихие разгрузочные машины — это зернососы, самые тихие здания — это хлебные элеваторы, огромнейшие дома, в которых живет и отдыхает зерно. Оно покоится в обширных залах по родам, сортам и происхождению, ограждено деревянными щитами. По особым трубам, воронкам и заслонкам может пересыпаться из этажа в этаж. Все прибывающее на склад зерно поступает по ковшевым подъемникам — нориям на чердачное помещение. Здесь оно просыпается на широкую движущуюся ленту, и лента с шелестом и журчанием, как зерновая река, доставляет груз по чердаку к месту, находящемуся как раз над той залой, где зерну назначено лежать. С чердака вниз груз идет самотеком по трубам. Когда нужно отгрузить зерно с элеватора дальше, его спускают по трубам из соответствующей залы в нижнее помещение, и здесь на движущейся ленте подают к отгрузочным закромам. В последнее время строят хлебные элеваторы, в которых нет ни ковшевой нории, затаскивающей зерно на чердак, ни движущихся лент, ни труб, по которым оно сбегает. Все нужные перемещения производятся воздушно-сосущими машинами, зерновыми насосами, такими же, как те, что работают в гамбургском порту, да и во всех мировых портах.

Морские суда, как и всякие вещи, не бессмертны. Проживши срок своей жизни, они умирают. В течение жизни болеют и нуждаются в лечении — ремонте. Ремонтировать приходится время от времени и подводную часть судна. Очищать от морской грязи, красить, менять проржавленные листы обшивки, исправлять повреждения от аварий. Для этих работ нужно обнажить подводную часть судна. Прежде, при малых деревянных судах, делали это просто: вытаскивали судно на берег и спокойно работали под ним. Теперешние стальные громады в сотни тысяч и миллионы пудов весом на берег на канате не вытащишь. Делают для

такого выволакивания особые устройства. Многосильные машины тащат судно из воды по сложной рельсовой системе. Дорогой это способ и редко к нему прибегают. Обычно суда чинят в так называемых сухих доках. Такой док — это небольшой бассейн, вместимостью, обычно, на одно лишь только судно. Стены и дно сплошь выложены камнем. Закрывается плотными водонепроницаемыми воротами, в роде шлюзовых. Когда судно в такой док введено и ворота закрыты, насосами выкачивают из него воду и судно садится килем на специальные подпорки. Устройство сухих доков сравнительно просто и они во всех отношениях удобны. Только место для них нужно отводить вдоль береговой линии. А как раз береговое-то пространство ценится в гамбургском порту больше всего. В искусственной гавани легче строить искусственные речные русла, рукава и бассейны, чем искусственную береговую линию. Сухие доки для Гамбурга — недоступная роскошь. Приходится ему сооружать более дорогие и более сложные вещи — доки пловучие. Такой док — стальная платформа, ограниченная двумя продольными стенками. Встречаются даже только с одной. Стальное тело платформы внутри пусто, т. е. заполнено воздухом. Когда нужно поставить судно в пловучий док, воздух из тела платформы отчасти выпускается и замещается водой. Док погружается на нужную глубину. Когда судно поставлено над окунувшимся доком, из тела стальной платформы вся вода вновь выгоняется сжатым воздухом и док всплывает на поверхность, подымая на спине своей судно. Такие доки можно перетаскивать по воде с места на место и вследствие этого они в наименьшей степени загромождают портовое пространство. Пловучие доки в Гамбурге представляют собою настоящую передвижную портовую мебель, на которой отдыхают и оправляются усталые от тяжелой морской службы суда.

Как полоска высокой золотой пшеницы среди низкорослых усатых ячменных полей, как косматый дуб среди кудрявого орешника, как широкозадый московский автобус среди тоненьких извозчичьих пролеток, как Дом Советов — Метрополь среди прочих домов, так среди портовых сооружений Гамбурга стоит-подымается железный эллинг судостроительной верфи Блом и Фосс. Нависла над землей неподвижная железная полудымчатая, полупрозрачная туча. Туча держится за землю высокими восьмидесятипятиметровыми тоненькими железными стойками. Из чрева тучи свисают цепи и тяжелые крюки двадцати мостовых подвижных кранов. Нет такого угла во всем огромном эллинге, куда не доставали бы цепи кранов. С любой точки уберут они лишнее и всюду, куда ни понадобится, подадут нужное. Под железной тучей эллинга, сгустившейся из тончайших мостовых ферм, можно без труда поставить несколько каких угодно больших домов. В этом эллинге, на этой верфи построены чудовища — «Бисмарк» и «Фатерланд». Уже на большом расстоянии от верфи приходится, разговаривая, повышать голос. Когда вплотную под'едешь, то лучше совсем помолчать. От крика скоро охрипнешь, а все немного наговорил. Под железной эллинговой тучей грохочет вечная гроза. Огоньки передаваемых раскаленных докрасна заклепок сверкают в воздухе, как электрические разряды, как короткие местные молнии. Вибрирующая дробь

пневматических клепальных молотков пробуждает в стальной котловине строящегося корпуса такое громовое эхо, что его не покрывает даже и настоящий небесный гром. Работа в судостроительном эллинге — это работа под открытым небом. Круглый год, во всякую погоду и непогоду. Работа тяжелая и неудобная, как и всякая, связанная с морем. В Киле на крупновском заводе Германия — Верфт судостроительный эллинг защищен от ветра и непогод сплошным стеклянным перекрытием. Чад горнов и грохот клепки, благодаря перекрытию, досаждают рабочим еще больше, чем любая непогода. Приходится окна и двери держать настежь и работать на постоянном сквозняке. Трудно сказать, где тяжелее работа — на открытой верфи или на закрытой. С точки зрения условий труда — обе они хуже.

Во всей необозримой области технических чудес и необычайных явлений на производстве нет ничего столь же необычного и чудесного, как спуск на воду готового корпуса океанского парохода. Не изобретены и не сделаны еще такие краны, чтобы переносить тяжести в десятки тысяч тонн, в сотни тысяч и миллионов пудов. Никто не строил еще машин, которым было бы под силу волочить такие грузы по земле. Вновь отстроенные корпуса судов сходят из заводских эллингов на воду собственной своей тяжестью. Во время постройки корпус стоит на особых подпорках. Когда корпус закончен постройкой, часть подпорок вышибают из-под него и стальная громада начинает скользить по наклонной плоскости по направлению к воде. Сначала совсем медленно, едва-едва. Потом все скорее и скорее, приобретая постепенно инерцию и живую силу горного обвала. И всей своей страшной тяжестью, которую даже не каждая земля сдержит — грунт под эллингами специально укрепляется — врезается стальной остов будущего парохода в воду и несется по прямой линии, все ломая и сокрушая на своем пути, слепой еще, бездушный и неуправляемый. Рабочие, стоящие на носу его, чуть могут успеть только перерубить канат, удерживающий якоря. И якоря вылетают из клюзов с такой стремительностью, и так яростно бежит из них якорная цепь, что искры сыплются от ударов стали на сталь.

Самое прекрасное в природе — это движение. Лучшие и прекраснейшие вещи — это те, которые движутся или служат для движения других.

О книжной пыли, о комплиментах Рузвельта и о двух великих русских революциях¹⁾

В. ВЕРЕСАЕВ

Наверно, старенькие-старенькие старички. Наверно, профессора. Даже, может быть, академики. А если нет, то скоро будут. Пергаментные лица, жующие, беззубые десны, нижняя губа отвисла. На выцветших, близоруких глазах — сильно-вогнутые стекла в роговой оправе.

Сидят старички в никогда не проветриваемых кабинетах, на книжных полках пыль, в углах паутина. Сидят старички, уткнувшись носами в пыльные книги, и — исследуют.

Темы — узенькие, коротенькие, чихательно-пыльные, под-стать самим старичкам.

«Как сделана «Шинель» Гоголя?». Видите ли, значительную роль здесь играют каламбуры разных видов. К этому присоединяется прием звукового подражания. «Постараемся теперь уловить самый тип сцепления отдельных приемов». И уловляется. И вывод: «Шинель» Гоголя сделана по типу гротеска» (Эйхенбаум, 149 и сл.).

«Строение рассказа и романа». Строятся они по-разному. Бывает, что сборник рассказов оформляется в одно целое каким-нибудь рассказом, играющим роль обрамления. Еще шире распространен другой прием сюжетной композиции, — прием нанизывания: один рассказ ставится после другого и связывается тем, что все они связаны единством действующего лица. Популярной мотивировкой нанизывания сделалось путешествие и, в частности, путешествие в поисках места (Шкловский, 65—69).

И все темы в таком же роде: каким путем пришел Пушкин от стихов к прозе, по каким принципам в роман «Дон-Кихот» вкраплены не относящиеся к роману рассказы и т. п. Тоскливо вспоминается пятый класс гимназии, «Теория словесности» Белоруссова...

¹⁾ Б. Эйхенбаум, Литература (Теория. Критика. Полемика). Раб. изд. «Прибой», Ленинград, 1927.

Виктор Шкловский, Теория Прозы, изд. «Круг», Москва — Ленинград, 1925.

Размах тем, как видите, комариный. Однако, наши старички-профессора убеждены непоколебимейшим образом, что только разработка подобных тем и есть разработка подлинной истории литературы. Они пишут:

«Формалисты отрицают не методы, а беспринципное смешение разных наук и разных научных проблем. Основное их утверждение состоит в том, что предметом литературной науки, как таковой, должно быть исследование специфических особенностей литературного материала, отличающих его от всякого другого, хотя бы материал этот своими вторичными, косвенными чертами давал повод и право пользоваться им, как подсобным, и в других науках... Эволюцию литературы мы изучаем в той мере, в какой она носит специфический характер, и в тех границах, в которых она представляется самостоятельной, независимой непосредственно от других рядов культуры» (Эйхенбаум, 121,145).

Но ведь это то же самое, как если бы метеоролог сказал, что его задача — исследовать явления, имеющие специфически-метеорологический характер, поэтому, во избежание научной беспринципности, он выключает из области своего исследования все, что относится к другим наукам, — астрономии, географии, физике и т. д. Или если бы историк исключил из круга своего исследования все, относящееся к области экономики, статистики, религии, науки, искусства и т. д. Что бы осталось? Одни пустячки. Такие-то вот пустячки в области литературы остались и нашим педантам-старичкам.

Пророк Иеремия говорит:

«Ты влек меня, господи, — и я увлечен; ты сильнее меня, — и превозмог... И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и — не мог».

Такое настроение испытывает и всякий настоящий художник, будь то Эсхил или Софокл, Микель-Анджело или Леонардо-да-Винчи, Моцарт или Бетховен. Душа художника через край полна огромным, важным, глубоко-своеобразным содержанием, он жадно стремится излить его, воплотить в слово, краски, музыку, — «было в сердце моем, как бы горящий огонь, и я истомился, удерживая его, и — не мог». И естественно, что это новое, это свое, это не бывшее раньше художник воплощает в новых, своих, не бывших раньше формах. Иначе не может быть.

Наши старички презрительно кривят губы. Совсем не важно, что художник переживает, и вовсе не эти переживания побуждают его к творчеству.

«Всякое произведение искусства создается, как параллель и противуположение какому-нибудь образцу. Новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою художественность» (В. Шкловский, 26).

Всякого писателя в его художественной деятельности ведет это стремление, отталкиваясь от старых форм, создать новые формы.

Вот, например, — Лев Толстой. В своих романах «Война и Мир» и «Анна Каренина» Толстой вернулся к старому английскому роману. «Этим самым Толстой, как бы завершил круг его развития. Произошло как бы саморазложение традиционной формы, по крайней мере, на русской почве. Переход Толстого к народным рассказам подготовлен самими романами Толстого вне религиозных и социальных теорий... Переход этот не неожиданный... Разочарование в старой форме семейно-психологического романа привело Толстого к примитиву» (Эйхенбаум, 72, 71).

Толстой бился в остро осознанных им чудовищных противоречиях жизни, задыхался в них, не находил себе места. Сам же Эйхенбаум приводит такую цитату из дневника Толстого: «А мы Бетховена разбираем. И молился, чтоб он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь!». Бетховена Толстой отвергал не потому, что находил плохими его художественные приемы, а потому, что он, по мнению Толстого, недоступен и непонятен трудовым людям. На этом же основании Толстой отвергал и свои прежние художественные произведения и искал новых форм, которые были бы доступны и понятны народу. И в новые эти формы он вкладывал не свое глубокое, ни в какие схемы не укладывающееся жизнеотношение в целом, а лишь морально-религиозные идеи, являвшиеся маленьким и едва ли очень органическим придатком в этом его жизнеотношении.

Старичок-профессор, жуя беззубым ртом, поучает: «разочарование в старой форме семейно-психологического романа...». Какого там чорта, — в форме семейно-психологического романа! Разочарование во всех формах жизни, — нелепо изуродованной, бесчестной, полной сытых бездельников и голодных работников! А профессор бесстрастно продолжает: «Возвращаясь после периода напряженных размышлений и философской работы к художественному творчеству, Толстой пишет роман «Воскресение», который должен собою как бы поправить те ложные, с теперешней его точки зрения, приемы, которые развиты в ранних романах. Вместо семейного романа является роман социальный» (75).

Толстой совсем уже и сам готов превратиться в жующего ртом старичка с выцветшими, не загорающимися глазами, которому никакого нет дела до жизни и интересны только приемы его ремесла: разочаровался в форме «семейного» романа, создал новую форму «примитива», поправил прежние ложные «приемы» и создал роман «социальный». Наши старички, от души радуясь обогащению теории словесности, с приветливой улыбкой раздвигаются и предлагают место Толстому. Но вдруг в глазах их проползает недоумение. Они — перестают понимать!

«В последние годы жизни, — пишет Эйхенбаум, — в творчестве Толстого вспыхнуло что-то, напоминающее ранние его вещи. Среди религиозно-нравственных размышлений в дневник 1897 г. врывается лирическая запись» (цитируется известное место, где Толстой говорит о прелесть зарождающейся любви, «когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блеснуть эта звездочка»). — «В этом смысле, —

продолжает наш профессор, — неожиданной кажется и поздняя его повесть «Хаджи-Мурат»... Возникшая из далеких воспоминаний, повесть эта, по стилю своему, возвращает нас к эпохе «Севастопольских рассказов» и «Войны и Мира» (Эйхенбаум, 76).

Кажется — «неожиданной»? Ну, а дальше? Для кого художественное произведение есть результат сложных и разнообразных факторов, среди которых лишь некоторую роль играет и искание формы, — для того в «Хаджи-Мурате» нет ничего неожиданного: Толстой сбросил с себя подвижнические вериги «служения народу», вольно отдался творчеству — и создал «Хаджи-Мурата», — и по форме, и по содержанию совершеннейшее, типично-толстовское произведение. Но как же наш-то профессор? Повесть кажется ему неожиданной. Так нужно подождать делать выводы, пересмотреть свои послышки. А он и не замечает, что своим словечком «неожиданный» самым блестящим образом опроверг все, что наговорил! Поставил точку и удовлетворенно понюхал табачку.

Или вот — Некрасов. Казалось бы, как возможно понять его творчество вне сложного общественного фона 1840—70-х годов, игнорируя своеобразный темперамент Некрасова и его общественное положение? Нет, все это никакого касательства к его творчеству не имеет. Решительно никакого! «Искусство живет на основании сплетения и противопоставления своих традиций, развития и видоизменения их по принципу контраста, пародирования, смещения, сдвига. Никакой причинной связи ни с «жизнью», ни с «темпераментом» или «психологией» оно не имеет» (Эйхенбаум, 94).

Болезнь совести, ощущение глубокой своей вины перед угнетаемым и обираемым народом, сознание необходимости жертвы и своей неспособности на нее, — совсем не этим жил Некрасов, как художник. Перед ним было нечто куда поважнее всего этого, именно: борьба с омертвевшим каноном пушкинского стиха. «Надо было, — шамкает наш профессор, — надо было искать новых приемов, новых методов и в области стиха, и в области жанра. Надо было создавать новый поэтический язык и новые поэтические формы» (81).

Связь со старым у Некрасова ощущалась отчасти в виде фона для смещения и пародирования, отчасти же и без этих оттенков. «Старые формы должны были проникнуть в его поэзию, — хотя бы для того, чтобы убедить его в своей изжитости. Творчество Некрасова в пределах 1845—1853 гг. характерно именно этими колебаниями между старыми и новыми формами» (94).

И вот что мы видим: к старым, изжитым формам Эйхенбаум за этот период относит: «Когда из мрака заблужденья», «В неведомой глуши», «Родина», «Муза», «Блажен незлобивый поэт», «Последние элегии», «Памяти приятеля», — т.-е. как раз все то, чем волновал и покорял Некрасов сердца своих современников, что делает его именно Некрасовым, своеобразным и неповторимым. К новым же формам Эйхенбаум относит за этот период: «Современная ода», «Пьяница», «В дороге», «Секрет», «Нравственный человек», «Вино», стихотворные фелье-

тоны, — т.-е. как раз то, чем Некрасов очень мало отличается от Курочкина, Конрада Лилиеншвагера, Диамантова, Розенгейма и прочих. Вот что получается, когда близоруко копаются в одной лишь форме художественных произведений!

«Годы 1854—55, — продолжает Эйхенбаум, — следует считать годами решающими. Элегии прекращаются. Развиваются «бестолковые» поэмы, фельетоны, повести, проповеди и т. д.» (95).

Немного в сторону. В стихотворении Некрасова «Поэт и гражданин» гражданин говорит поэту: «твои поэмы бестолковы, твои элегии не новы». Наш профессор по этому поводу серьезнейшим образом замечает: «так Некрасов в 1856 году определил сам свою поэзию и предупредил суждения критиков» (94). Профессору, видимо, совершенно неизвестно, что у поэтов очень распространен обычай с притворным самоуничтожением говорить о своих произведениях. Пушкин, напр., сообщает в «Евгении Онегине»:

... после скучного обеда,
 Ко мне забредшего соседа
 Поймав неожиданно за полу,
 Душу трагедией в углу.

Гете свои произведения называет «*Siebensachen*» (по-русски приблизительно: «литературные грешки»). Однако, Пушкин в действительности вовсе не полагал, что чтением его «Бориса Годунова» можно удушить человека, а Гете вовсе не стыдился своего «Фауста», как литературного грешка. Наш же простодушный старичок-педант готов все это принимать совершенно всерьез!

Итак, по Эйхенбауму, в решающие для Некрасова годы он перестает писать «не новые», по его собственному мнению, элегии и переходит к «бестолковым» (опять-таки по собственному его мнению) поэмам, фельетонам и т. п. Главное, как мы уж знаем, чем горит Некрасов, это — желание найти новые формы. Помните ли вы его стихотворение «Поэт и гражданин»? Содержание его — до очевидности ясное: что не время предаваться «чистой» поэзии, что наступило суровое время, что силы всех должны направиться на общественную борьбу.

Пора вставать! Ты знаешь сам,
 Какое время наступило!

 Будь гражданин! Служа искусству,
 Для блага ближнего живи,
 Свой гений подчиняя чувству
 Всеобнимающей любви...

 Поэтом можешь ты не быть,
 Но гражданином быть обязан.

И это-то стихотворение, такое ясное и бесспорное, Эйхенбаум ухитряется использовать тоже, как доказательство формальных исканий Некрасова! Вот как он его цитирует:

«Идет мотивировка сдвига, который необходимо должна пережить поэзия:

Не время песни распевать!

 Ужель в каюте отдаленной
 Ты стал бы лирой вдохновенной
 Ленивцев уши услаждать
 И бури грохот заглушать?

 Ах, будет с нас купцов, кадетов,
 Мещан, чиновников, дворян,
 Довольно даже нам поэтов
 (Но нужно, нужно нам граждан,—

этот стих Эйхенбаум пропускает!).

«Здесь же — индекс ставших банальными поэтических тем:

Еще стыдней в годину горя
 Красу долин, небес и моря
 И ласку милой воспевать...

«Так Толстой в трактате об искусстве перечисляет поэтические штампы, — девы, воины, пастухи, пустынные ангелы, лунный свет и т. д.» (стр. 90).

Так? Совсем не так, почтеннейший! Некрасов перечисляет указанные темы вовсе не как ставшие банальными, а лишь как ставшие несвоевременными... Позволительно ли так искажать смысл приводимых цитат в угоду своим взглядам?

В заключение профессор наш замечает:

«Интересно отметить, что в 70-х годах Некрасов опять возвращается к элегиям,—и опять появляются традиционные стиховые формы как в отдельных строках, так и в целых периодах» (97). Вот-те раз! Преодолея Пушкинский канон, создал новые формы, «вынес приговор» элегиям — и опять воротился к ним?! И опять профессор наш совершенно не замечает, что опроверг все свои построения этими двумя маленькими словцами: «интересно отметить»! Опять — удовлетворенная точка и понюшка табаку!

Курьезно наблюдать манипуляции, посредством которых живые люди — художники, кипящие разнообразнейшими чувствами, настроениями и мыслями, превращаются у этих сухарей-профессоров в сухих литераторов, только и думающих о том, как бы написать «напротив» тому, как писали их предшественники.

«Декамерон» Боккачио. Самоуверенный, дерзкий и нестыдящийся вызов лицемерному, аскетическому средневековью, буйно вздымающаяся, озорная «реабилитация плоти». Есть в Декамероне рассказ: красавица, дочь вавилонского султана, переживает в пути целый ряд приключений, переходит из рук одного мужчины в руки другого, в конце концов выходит замуж за давнего своего жениха и — «она, познавшая, быть может, десять тысяч раз восемь мужчин, возлегла рядом с ним как-будто девственница». И мораль: «Vocca basciata non perde ventura; anzi, rinnuova

come fa la luna». Мысль относительно женщины для того времени (да и для того ли только?) совершенно революционная: кому какое дело, кого эти уста целовали раньше? «Уста от поцелуя не умяются, а как месяц обновляются».

Для наших согбенных старичков все это, конечно, совсем не так. Боккачио, видите ли, имел в виду написать пародию на «сюжет похищения». «Здесь дело в том, что эффект классической авантюрной повести с девушкой-героиней заключается именно в сохранении ею невинности даже в руках похитителей. Над этой девственностью, неприкосновенной в течение 80 лет, смеялся еще Сервантес» (В. Шкловский, 43). В чем существо пародии? В усиленном выдвигании неудачных и смешных сторон оригинала, в преувеличении их. Пародией здесь было бы, если бы красавица со всех постелей, в которых она спала с разбойниками, принцами и авантюристами, вставала нетронутой девственницей. У Боккачио же как раз все происходит так, как и естественно предполагать в подобных положениях. Где же тут пародия?

Всякий порыв, всякая вольная игра душевных сил старичками нашими воспринимается с большим трудом. Но что для них уж совершенно непонятно, чего их миокардические сердца воспринять совершенно не в состоянии, это,—когда искусство начинает волноваться и кипеть, когда оно начинает говорить о действенном вмешательстве в жизнь, о любви, ненависти, борьбе. Искусство можно изучать, можно смаковать, но чтоб сердце в ответ забилося любовью, ненавистью, желанием борьбы.. Ххе-ххе! Вот потеха! Где что-нибудь подобное проявляется в искусстве, там наши старички усматривают «торжественную риторику» (у Некрасова,—Эй х е н б а у м, 96), «сентиментально-мелодраматическую декламацию» (у Гоголя,—Эй х е н б а у м, 157) и т. п.

Помните ли вы в «Шинели» Гоголя место, где описываются издевательства, которым подвергали Акакия Акакиевича его сослуживцы, как Акакий Акакиевич в отчаянии воскликнул: «оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?», и как одному молодому чиновнику, участвовавшему в потехе над стариком, стало стыдно. «И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» и в этих проникающих словах звенели другие слова «я брат твой!» И много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много в нем скрыто свирепой грубости». Это место дает тон всей повести Гоголя о забитом, жалком, униженном человеке. «Становится понятно и памятно, что кругом происходит, познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Так отзывается у Достоевского в «Униженных и оскорбленных» отец Наташи о романе Достоевского «Бедные люди». То же можно сказать и о «Шинели» Гоголя, из которой ведь целиком и вышли «Бедные люди».

Наш миокардический старичок ужасно потешается над подобным толкованием указанного места в «Шинели». «Это,—пишет он,—то знаменитое

«гуманное» место, которому так повезло в русской критике, что оно, из побочного художественного приема, стало «идеей» всей повести» (157).

Значение же этого места всего только вот какое: «Искусность и искусственность гоголевского приема в этом отрывке «Шинели» особенно обнаруживается в построении ярко-мелодраматического каданса, — в виде примитивно-сентиментальной сентенции, использованной Гоголем с целью утверждения гротеска... Мелодраматический эпизод использован, как контраст к комическому сказу» (161).

И больше ничего. А эмоций никаких искусство вообще не может и не должно возбуждать. Другой из наших старичков, тряся дряхлую голову, поучает: «По существу своему искусство внеэмоционально. Кровь в искусстве не кровава, она рифмуется с «любовь», она или материя для звукового построения, или материал для образного построения. Поэтому искусство безжалостно или внежалостно, кроме тех случаев, когда чувство сострадания взято, как материал для построения. Но и тут, говоря о нем, нужно рассматривать его с точки зрения композиции» (В. Шкловский, 151).

Склеротическая атрофия всякого живого человеческого чувства особенно ярко проявляется в статье Б. Эйхенбаума об американском писателе О. Генри. Вы, конечно, знаете этого писателя. Чудесно-остроумный, но поверхностный, с глубоко-обывательскою, мало интересною психологией, с однообразными, трафаретно-неожиданными концами всех своих рассказов. Великолепная железнодорожная беллетристика. Однако, у О. Генри есть ряд и других рассказов, в которых он затрагивает общественные темы.

«Американскому читателю,—презрительно замечает Б. Эйхенбаум,—больше говорят чувствительные рассказы о бедных нью-иоркских продавщицах. Приводят фразу Рузвельта: «Реформы, которые я пытался провести в пользу нью-иоркских продавщиц, были внушены мне рассказами Генри». Это — старая школьная легенда: влияние «Записок охотника» Тургенева на отмену крепостного права, влияние романов Диккенса на реформу английского суда и т. п. Министры и президенты, произнося подобные фразы, думают, что они делают большой комплимент литературе и себе; на самом деле — они свидетельствуют только о своей чудовищной наивности... Очень может быть, что Генри был великодушным человеком, и несомненно, что в условиях американской цивилизации он нередко страдал сам и ужасался страданиям других. Но рассказы свои он писал все-таки не для министров (?) и ценил их несколько дороже комплиментов Рузвельта» (169).

Да, так и сказано: «комплиментов Рузвельта». Старичок наш лукав, — ужасно лукав. Но до чего он в то же время наивен! Он считает нас с вами, читатель, совершеннейшими простачками. Он думает, мы услышим: «комплименты Рузвельта» — и насмерть сконфузимся за писателей, способных действительно откликнуться на неурядицы жизни. Одобрение Рузвельта! Вы только подумайте: президента самой капиталистической и империалистической державы!.. Полноте, гражданин профессор! Если ху-

дожник вмешивается в жизненную борьбу, вам не удастся нас уверить, будто он в этом случае «пишет для министров». И если мы думаем, что искусство может играть огромную организующую роль в жизни, то это вовсе не значит, что, не будь «Записок охотника», у нас до сих пор существовало бы крепостное право.

Генри, по уверению нашего старичка, стремился к цели гораздо более важной, чем «комплименты Рузвельта». Это, опять-таки, конечно, цель чисто формального характера, — усвоенная Генри «система литературной игры и иронии, построенная на осознании традиционных приемов конструкции и на обнажении их» (194). Восторженно следит старичок, как умеет Генри иронически подчеркивать традиционные приемы конструкции (это делает почти всякий юморист, и делал еще Аристофан), восхищается, «на каком пустяке может Генри построить остроумнейшую новеллу» (196) и восклицает: «Точно Генри прошел сквозь «формальный метод» в России и часто беседовал с Виктором Шкловским. А ведь на самом деле он был аптекарем, ковбоем, кассиром, сидел три года в тюрьме, — все условия для того, чтобы стать обыкновенным бытовиком и писать, не мудрствуя лукаво, о том, как много на земле несправедливостей. Да, Генри ценил искусство дороже комплиментов Рузвельта!» (195).

Ах, милый старичок, — до чего же ему¹ полюбились эти «комплименты Рузвельта», сколь смертоносными он их считает! Но тут интересно выяснить условия, которые, по мнению Б. Эйхенбаума, толкают писателя на обличение несправедливостей жизни. Что Генри был техасским ковбоем или аптекарем, — это, конечно, никакой роли тут играть не может. Но вот, что он три года просидел в тюрьме, — это дело другое. Кто, борясь с несправедливостями, идет за это на три года в тюрьму, тот, конечно, и в творчестве своем не будет оставаться равнодушным к несправедливостям... Хотя, впрочем, — позвольте! А за что, собственно, Генри сидел три года в тюрьме? Вот что точно сказано в подлиннике, из которого Эйхенбаум приводит свою цитату о жизни Генри: «он был аптекарем, художником, ковбоем, бухгалтером и, спасаясь от судебного преследования, исколесил чуть не всю Южную Америку вместе с главарем известной шайки железнодорожных воров» (О. Генри. Рассказы жулика. «Всемирная литература». 1924. Вводная статья, стр. 7).

Д-да-а... Так вот, значит, за что сидел в тюрьме наш автор! И вот, значит, каковы самые естественные условия, чтобы писатель начал писать о несправедливостях жизни: участие в шайке железнодорожных воров!..

Исследователи наши очень гордятся строгою научностью своих методов исследования и с презрением говорят о предшествующем поколении критиков. «Развилась литература импрессионистических этюдов и «силуэтов», широкой волной разлилась «модернизация» старых писателей, превращение их в «вечных спутников» (Эйхенбаум, 143).

Сами они, уважаемые наши исследователи, — они не такие, они не переиначивают изучаемых писателей по своему вкусу, судят о них не по мимолетным своим настроениям, а на основании строго-научных методов. Так и говорят: «Важно было противопоставить субъективно-эстетическим принципам, которыми вдохновлялись в своих критических работах символисты, пропаганду объективно-научного отношения к фактам. Отсюда — новый пафос научного позитивизма, характерный для формалистов (стр. 120).

Вот и посмотрите, каково у них объективно-научное отношение к фактам.

Гоголь обладает исключительным мастерством в рисовании портретов своих героев. Мы можем неясно представлять себе Онегина, Печорина, Рудина, Наташу Ростову, Раскольникова. Но Плюшкин, Собакевич, Ноздрев, Манилов, генерал Бетрищев, — они, как живые, стоят перед глазами. Кажется, — бери карандаш и рисуй. Столь же четко рисует Гоголь и портрет Акакия Акакиевича в «Шинели»: «Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысинкой на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, гемороидальным». Портрет, — как нарисованный, с этими «морщинками по обеим сторонам щек», нанесенными рукою большого мастера-портретиста. Вот как воспринимает это место Б. Эйхенбаум:

«Вся фраза имеет вид законченного целого, — какой-то системы звуковых жестов, для осуществления которой подобраны слова. Поэтому слова эти, как логические единицы, как значки понятий, почти не ощущаются (!), — они разложены и собраны заново по принципу звукоречи... Это не столько о п и с а н и е наружности, сколько мимико-артикуляционное ее в о с п р о з в е д е н и е... Внутреннее зрение остается незатронутым (нет ничего труднее, я думаю, как рисовать гоголевских героев), — от всей фразы в памяти скорей всего остается впечатление какого-то звукоряда, заканчивающегося раскатистым и почти логически-обесмысленным (!), но зато необыкновенно сильным по своей артикуляционной выразительности словом — «гемороидальным» (с. 156).

Это слово «гемороидальный» на нашего старичка производит впечатление почти апоплексическое. Он восклицает: «слово звучит грандиозно, фантастично, вне всякого отношения к смыслу!» Успокойтесь, почтеннейший, — в полнейшем отношении к смыслу! Не надо так волноваться. Вы бы, серьезно, ~~+~~ поспокойнее. Тогда и слово «гемороидальный» перестанет для вас так непропорционально выпирать из текста.

Неужели же это — объективно-научный подход к фактам? Тот же безудержный импрессионизм, где каждый разрешает себе видеть все, что заблагорассудится. Ярко, пластически, в ряде вполне логически и последовательно расставленных слов Гоголь рисует портрет своего героя, а нашему исследователю угодно видеть тут какую-то футуристическую задумь, логически-обесмысленный звукоряд!

Или вот исследование Виктора Шкловского о том, как сделан «Дон-Кихот». Автор отмечает, что Сервантес задумал Дон-Кихота немумным. Но в дальнейшем он понадобился Сервантесу, как «соединительная нить мудрых речей». Сервантес «холил его на своих мыслях» и сделал умным, начитанным.

«Холил на своих мыслях»... Нужно заметить, что у Шкловского язык вообще ужасный. Уж, конечно, Дон-Кихот у него не надевает на голову, а «одевает» таз цырюльника (75). Хочет он сказать, что в одном рассказе Конан-Дойля у отчима героини были основания совершить убийство падчерицы, и выражает эту мысль так: «эти сведения показывают, что отчиму стоило произвести убийство» (102). Или так: «остаётся нерасказанным, что увидел Шерлок Холмс на стуле и в чем дело с плеткой» (108). Да, да! «В чем дело с плеткой»!. Гражданин, в чем дело с мануфактурой? Почему просите за метр? «Шерлок Холмс бьет змею», — рассказывает автор (109). Он хочет сказать: «убивает». Или попробуйте разобраться в таком комке жеваной бумаги: «а между тем, как явно для умеющих смотреть, насколько чуждо обобщение, как близко к раздроблению искусство, которое, конечно, не марш под музыку, а танец-ходьба, которая ощущается, точнее — движение, построенное только для того, чтобы оно ощущалось» (28).

Так вот, значит, — Сервантес «холил Дон-Кихота на своих мыслях» и сделал умным. Следует семь небольших страничек, где исследователь наш приводит выдержки из речей Дон-Кихота, свидетельствующие об его уме и начитанности. А дальше автор пишет:

«Подвожу некоторые итоги, хотя и не люблю делать этого: выводы делать должен читатель» (77).

Попробуйте, читатель, сделайте вывод. Ручаюсь, не сделаете: легче разгадать без подсказки армянскую загадку. Оказывается, исследователь наш извлекает вот какой вывод:

«Тип Дон-Кихота, так прославленный Гейне и размусленный (?) Тургеневым, не есть первоначальное задание автора. Этот тип явился, как результат действия построения романа, так как часто механизм исполнения создавал новые формы в поэзии. Сервантес в середине романа осознал уже, что, навьючивая Дон-Кихота своей мудростью, он создал двойственность в нем; тогда он использовал эту двойственность в своих художественных целях».

«Объективно-научный» вывод из приведенных В. Шкловским фактов можно было сделать только один: что образ Дон-Кихота и отношение к нему автора в процессе писания романа несколько изменились. Случай, в литературе весьма нередкий и отмечавшийся давно (Евгений Онегин, Мефистофель в первой и второй частях «Фауста», мистер Пикквик и т. д.). Почему это мешает, чтобы образ Дон-Кихота умилял и приводил в восторг Гейне и Тургенева? Дело в том, что старичку нашему претит все, что говорит об эмоциональном действии искусства. Гейне, напр., пишет: «Сердце мое готово было разорваться, когда я читал, как благородный рыцарь, ошеломленный и избитый, лежал на земле и, не подымая

забрала, сказал победителю слабым голосом: «Дульцинея — прекраснейшая женщина в свете, а я — несчастнейший рыцарь на земле, но неприлично, чтобы моя слабость отвергала эту истину, — ударяйте копьём, рыцарь!». Ах, этот светящийся рыцарь серебряного месяца, победивший самого мужественного и благородного человека в мире, был переодетый цырюльник!» Вот такой-то «эмоциональной» реакции на произведение искусства совершенно не в состоянии переварить наш сухарь-исследователь и ни к селу, ни к городу присоединяет к своему выводу ироническое подмигивание по адресу Гейне и Тургенева.

Одновременно с двумя книжками наших исследователей мне довелось читать книгу академика И. П. Павлова о работе больших полушарий головного мозга. Вот тут, действительно, чувствуешь, что такое — объективно-научное отношение к фактам. Автор не позволяет себе сделать ни одного обобщения, пока для него остается что-нибудь «неожиданным», пока хоть один факт отказывается уложиться в его обобщение. Полное отсутствие догматизма и импрессионизма, перед вами звено за звеном выковываются твердые, как сталь, факты, и, — хотите, не хотите, — вы не можете не прийти к тем выводам, к которым ведет вас Павлов. А там, где начинается область догадок и фантазирования, он круто останавливается и дальше не идет. Вот где истинный «пафос научного позитивизма»! Рядом с ним производят впечатление раздражающей, ребячьей игры в науку «научные» обобщения наших ученых, полные только неисчерпаемого апломба и полнейшей методологической беспомощности.

Эйхенбаум высказывает, напр., такую мысль:

«Никакой причинной связи ни с «жизнью», ни с «темпераментом» или «психологией» искусство не имеет... «Душа» или «темперамент» — одно, а творчество — нечто другое» (94—96).

Высказать такую ответственную мысль можно было бы только после огромнейшей предварительной работы над фактическим материалом, изучив жизнь и психологию творчества большого количества художников и показав на конкретных фактах, что «душа» или «темперамент» художника — одно, а творчество его — совсем другое. Автор не только не сделал этого, — больше того, он заявляет: «мы не вводим в свои работы вопросов биографии и психологии творчества, полагая, что эти проблемы, сами по себе очень серьезные и сложные, должны занять свое место в других науках» (145). И тем не менее — вышеприведенное ответственное утверждение!.. Научный пафос позитивизма!

Или — уже отмеченное выше положение Виктора Шкловского: «По существу своему, искусство внеэмоционально, оно безжалостно или внежалостно». И в доказательство Шкловский ссылается на то, что в сказке «Мальчик с пальчик» дети не позволяют пропускать деталь, как людоед отрезает головы своим дочерям, или что их не ужасает, когда людей сажают в сказках в бочку, утыканную гвоздями, и скатывают в море. Да неужели Шкловскому нужно объяснять, что все зависит от того, как подать сказку детям, какие именно эмоции хочет в них пробудить

автор или рассказчик? Можно рассказать так, что дети будут смеяться, а можно рассказать, — что они изойдут слезами над дочерьми людоеда или человеком в бочке, ночей не будут спать, вспоминая об них.

Два эти примерчика из детских сказок, еще примерчик из плясовых песен, — и готово обобщение самого сногшибательного сорта. Нет, уж не ошибся ли я, предполагая, что наши исследователи — профессора? Это просто фельетонисты, ориентирующиеся на очень нетребовательного читателя, которого способно кинуть в оторопь банальнейшее «противуположное общее место».

Профессора ли они или фельетонисты, но народ они в общем весьма курьезный. Представьте себе, они серьезнейшим образом убеждены, что это они открыли важность формы в художественном произведении, что до них об этом никто не подозревал, и от художества требовалось только «содержание», по принципу:

Они немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут.

И если кто заговорит о важности формы, они восторженно трубят в победные трубы и объявляют его своим пленником.

«В борьбе с напостовцами, — пишет Эйхенбаум, — Воронский дошел почти до формализма. Вот его слова: «Разумеется, коммунистическая идеология — явление первостепенной важности, но ведь речь идет о произведениях искусства, а искусство — это не фельетон, не пропагандистская или агитационная речь, не публицистическая статья. Оно имеет свои методы, свои особенности. Так как существо искусства зачеркивается и оставляется «идеология», то и получается, что писатели и произведения расцениваются только по той или иной идеологии; художественная оценка писателя и произведения подменяется оценкой идеологии. На этом основании Гоголь и Толстой должны быть признаны вредными писателями, так как один был явный крепостник, а второй — граф» (289).

И торжествующе Эйхенбаум восклицает: «Да, нам к этому нечего прибавить!».

Ну, и чудак!

Нельзя, конечно, оспаривать, что работа наших исследователей в той узенькой области, которую они себе отмежевали, может быть весьма полезно. Читателям, правду говоря, довольно безразлично, «как сделан» рассказ Гоголя или О. Генри, — ему подавай рассказ, чтобы был хорош. Но для писателя, конечно, в высшей степени важно быть знакомым с приемами, употреблявшимися его предшественниками. Полезны могут быть разбираемые работы и вообще для поэтики.

И если бы старички наши, закупорившиеся в пыльных своих кабинетах, скромно разрабатывали многообразные «вопросы поэтики», их можно бы было только приветствовать, и совершенно не подобало бы над ними смеяться.

Но, представьте себе, старички глубочайшим образом уверены, что свою разработкою вопросов этой самой их поэтики они производят в Совет-

ском Союзе величайшую революцию, не меньше Октябрьской! Б. Эйхенбаум пишет: «В наше время... Под нашим временем я разумею в данном случае революцию не политическую, а научную» (77), — революцию, которую, изволите видеть, произвели они, наши старички, своими исследованиями над конструкцией новеллы и способами «обнажения приема»!

Ну, и чудачки!

Изучение существа художника, причин, обусловивших характер и направление его творчества, — все это нашими революционерами упразднено. Покаянная тоска Некрасова, несокрушимое жизнелюбие и правдоискательство Толстого, трагическая раздвоенность Блока, тоска Чехова по гармонической жизни, вулканические подземные взрывы и бесплодное богоискание Достоевского,—ххе! Этим пусть занимаются те, кому дороги комплименты Рузвельта, президента империалистической и капиталистической державы. Они же... О, они подошли к художникам по-новому, по-революционному. Восторженно цитирует один из наших старичков другого, который подводит итоги их сокрушающей революционной работе:

«Водевилист Белопяткин становится Некрасовым, прямой наследник XVIII века Толстой создает новый роман, Блок канонизирует темы и темпы «цыганского романа», а Чехов вводит «Будильник» в русскую литературу. Достоевский возводит в литературную норму приемы бульварного романа. Каждая новая литературная школа — это революция, нечто в роде появления нового класса» (Эйхенбаум, 114; Шкловский, 163).

Да-с! Ни больше, ни меньше!

Ну, и чудачки!..

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. А. ЗАПРОВСКАЯ. Иоганнес Р. Бехер.— 2. Д. ФРИМЕН. „Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти“.— ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Графические искусства и культурная революция.— 4. ФРОЛ СКОБЕЕВ. Литературный ларек.— 5. ПУТЕШЕСТВЕННИК
Уездные очерки.

1. ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

(К приезду И. Р. Бехера в СССР и к судебному процессу против него в Германии)

А. Запровская

Имя Иоганнеса Бехера знакомо германскому пролетариату — по его книгам, по его стихам в коммунистической печати и по его выступлениям на митингах и рабочих собраниях. Германский пролетариат знает Бехера, как энтузиаста революции, как пламенного стихотворца, отзывающегося в своем творчестве на все острые вопросы политической жизни. Бехер пользуется доверием и уважением пролетариата.

Немецкая левая интеллигенция тоже знает Иоганнеса Бехера. Эта интеллигенция, испугавшись в свое время активных действий, осталась на почтительно-мрачном расстоянии от революции. Но все же она, время от времени, выступает вместе с коммунистами против мещанства и реакции в вопросах культурной жизни страны. Бехер пользуется авторитетом среди этих кругов и ведет там большую пропагандистскую работу. Но интеллигенция его уважает как хорошего поэта, считая часто его принадлежность к коммунизму увлечением или чудачеством поэта.

Иоганнеса Бехера знают и реакционные круги в Германии. Недаром кон-

фискованы его книги «Люизит» и «Труп на троне», недаром он сейчас привлекается к судебной ответственности «за предательство родины» — республики, за клевету на религию, за употребление выражения «революционная диалектика».

Задача настоящего очерка — установить, насколько Бехер действительно близок рабочему классу, насколько он действительно является поэтом пролетариата. Для этого нам придется, в кратких чертах, указать пути его литературного развития.

Бехер — выходец из буржуазной среды. Его отец — крупный судебный чиновник Баварии — старый реакционер. Иоганнес Бехер поврал с семьей, и перешел к полупролетарской жизни городской богемы; он изучал сначала медицину, потом философию и филологию.

Его первый сборник стихов и прозы появился в 1914 году, накануне мировой войны, и называется «Распад и Триумф».

В этом сборнике Бехер выступает как поэт города, большого, хаотичного, нового города, подавляющее и погло-

щающего маленького, растерянного, недовольного богемца-интеллигента.

Он в хорошо сделанных стихах, в красивых и мастерских по форме сонетах дает образы встретившихся ему в огнях городских кафе, в дыму кабаков — бродяги, поэта, проститутки, — всех тех, кто чем-то недоволен, обижен, придавлен жизнью. В этой книге жалобы на судьбу, образы холодного неприветного города, где чувствуют себя хорошо только те, кто гонятся за материальными благами, где торжествует сытый, тупой и жадный мещанин, против которого Бехер выступает с наибольшей яростью.

Это недовольство, однако, еще очень неопределенно, туманно. Поэт мечется по городу, чувствует, что в жизни что-то неладно, жалуется на непонятный, тяжелый рок, висящий над человечеством.

Это неясное недовольство Бехера было в сущности недовольством немецкой интеллигенции того времени.

В попытках исканий выхода, разрешения неясных вопросов, в попытках пробраться через нависшую над по-этом туманно-тяжелую обстановку, Бехер призывает к возмущению, к скандалу, как это звучит в стихах:

Скандальте! Скандальте! Мир стал уже
тесен.

Орут бедняки перед дворцами не песни.
И в щепки ворота. И вдребезги окна.
И стены шатаются, пулей язвимы.

(Стих. «Стеснение»).

Но эти выкрики не имеют под собой твердого основания. Под бедняками здесь понимаются, опять-таки, вышибленные из мещанского общества богемско-люмпенпролетарские элементы. Так, в одном из стихотворений говорится: «Подымитесь из притонов, больниц, тюрем, подымитесь из домов сумасшедших, бараков чумы, все — кто заточен, вязнущие алкоголики, стонущие туберкулезные, замаскированные сифилитики... О, ты, мой крик, и крик времени! Встаньте! Ударьте! Присоединяйтесь! Начните!».

А что начать, к чему, к кому присоединяться — ни интеллигенция, ни сам Бехер этого не знали.

Чувствуя беспочвенность этих призывов, неясность цели, — Бехер удерживается в религиозность, в мистику, призывая к духовной борьбе при помощи священных сил.

Но неуравновешенность чувствуется и в его религиозности. Ища в небесных силах помощи, Бехер в то же время разочаровывается в них, и готов, с присущей ему темпераментностью, их проклясть, уничтожить.

Во время войны, когда часть немецкой интеллигенции нашла успокоение в шовинизме, в восхвалении грядущих побед, Бехер не пошел за этой волной. Он примкнул к пацифистам. В своих стихотворениях он боролся против войны — темпераментно, но пацифистски, не активно. Он ненавидит войну, но не понимает, какие силы ее вызвали. Он хочет бороться с ней, но не знает как, зовет к примирению, к мирному возрождению.

Потом пришла революция — сначала русская, а скоро после нее — германская. Интеллигенция вздрогнула, обрадовалась и пошла за революцией.

Бедствия войны, давившие почти на все слои населения, вдруг оказалось возможным устранить, узел войны и сопровождающих ее ужасов — разрубить.

Но революция в Германии осталась недоделанной. Вспыхнувшие в Баварии и в Гамбурге попытки пролетарской революции — подавленными.

Буржуазия, мещанство испугались и остались стоять на глиняных ногах «республики», республики, в которой трудно определить ее настоящее лицо, в которой равноправием пользуются как республиканский, так и монархический флаги.

Многие из радикальной, мещанской, богемской молодежи примкнули тогда к революции, восторгались ею и даже принимали то или иное участие в ней. Многие из них, возмущаясь предательством, бюрократизмом социал-демократии, примкнули к спартаковцам, к коммунистам. Но часто это было увлечением, коммунизмом чувства. Эти слои не знали и не признавали ни марксизма, ни теории коммунизма, ни обусловленности определенных шагов партии

жизненными обстоятельствами. Они остались при своих неопределенных взглядах, хотя временно пошли с пролетариатом, интересуясь не столько пролетариатом, сколько собой, полагая, что цели пролетариата и их — одинаковы.

Когда же выяснилось, что пролетариат имеет свои определенные цели и программу, не совпадающие с программой и целями этой интеллигенции, тогда она отошла от пролетариата, обвинив его в возврате к социал-демократии, объявив себя настоящими коммунистами, а впоследствии отрекшись от всякого коммунизма.

В это время Иоганнес Бехер тоже примкнул к спартаковцам. Но этим он не изменил по существу содержание своего творчества. Он изменил только свою устремленность. Коммунизм стал его целью. Но содержание его стихов осталось старое. К героям — богемцам присоединились и рабочие и крестьяне, которые здесь ничем не отличаются от прочих богемцев. Он с восторгом пишет о коммунизме. Но коммунизм Бехера сохранил еще налет религиозного мистицизма. Такие герои пролетариата, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт, являются у него возвышенно-религиозными образами. В его стихах, посвященных рабочим, крестьянам и солдатам рядом с яростными призывами к классовой борьбе звучат глубоко-религиозные и мистические мотивы. Но Бехер не видит противоречия в этом. Он не знал рабочего класса и его идеалов, он примкнул к нему со всей своей искренностью и преданностью, но он не уяснил себе сущности коммунизма. До 1923 года он все еще мечется между коммунизмом и католицизмом, не разбирая, которая из этих двух сил может принести спасение человечеству. Он мечтатель, не разбирающийся в окружающей обстановке. Стихи его путанны и туманны, часто непонятны. И даже такая агитационная песня, как «Рабочие, крестьяне, солдаты», которая теперь тоже присоединена к его обвинительному акту «о предательстве республики», — идеологически является весьма не выдержанной, для рабочего непонятной.

Этой непонятности способствует и та экспрессионистическая форма выражения, в которой написаны произведения Бехера того времени. Экспрессионизм же являлся в то время формой выражения переломных переживаний буржуазной культуры Запада, и вряд ли был подходящим для выражения определенных и ясных целей пролетариата, как их понимал сам пролетариат.

Но в то время как, начиная с 1920-21 года, часть интеллигенции, из энтузиазма присоединившаяся к рабочему классу, под влиянием поражения и обнаружившегося несоответствия стремлений, начала от него уходить, упрекая рабочий класс в оппортунизме и недостаточной левизне, Бехер все же не ушел и остался с коммунистами. С 1923-24 года начинается его углубленная теоретическая работа над вопросами марксизма, начинается внимательное прислушивание к пролетариату и работа над вопросом, какое искусство нужно пролетариату в его борьбе с капитализмом. Бехер становится идеологически выдержанным, хотя психологически, даже в таких сборниках, как конфискованный «Труп на троне» и роман «Люизит», мелькают еще черты бывшей богемской психологин, не так легко изживающейся.

Сборник стихов «Труп на троне» написан перед выборами Гинденбурга в президенты и издан в 1925 году. К сожалению, он конфискован и известен немецкому пролетариату только по тем отрывкам, которые читались самим Бехером на собраниях и митингах.

В этом сборнике три темы: пролетарские бои и борцы в Германии, реакция в Германии, хотя и в парламентарски-республиканской Германии, и большевистская Россия. Особенно вызывающе и резко, с сарказмом Бехер критикует современную Германию, что и послужило поводом для конфискации сборника. С особой любовью и восторженностью он пишет о Советской России, о большевистской партии. В то время, как в Германии господствуют живые трупы и люди живут как звери, в России идет настоящая работа, и воздух новой России насыщен запахом душистых лугов.

Форма стиха у Бехера здесь уже яснее. Она отходит от напряженного экспрессионизма и приближается к благозвучному стиху с вольным ритмом.

Нельзя не отметить поэмы Бехера, написанной на смерть Ленина¹⁾. Она является прекрасным поэтическим воплощением скорби по поводу смерти великого вождя. Перед глазами опять проносятся мрачные дни. Дом Союзов. Морозы. Очереди. С замиранием сердца мы входим опять в зал, чтобы в последний раз посмотреть на лицо нашего товарища и руководителя:

У гроба твоего, о, Ленин,
Наша память доныне на страже стоит,
И рабочая кровь течет быстрее
При имени твоём, Ленин!

Всматриваясь глубже в жизнь пролетариата, задумываясь над тем, какая культура, какая литература нужна пролетариату и ближе ему, Бехер ищет новых форм выражения. Стих его становится агитационно простым, красочным, как плакат. Таково впечатление от сборника «Труп на троне». Встречается в нем и прочувствованная, красивая лирика, но редко.

Переход Бехера к прозе знаменует собой тоже попытку поисков новых форм для пролетарской литературы. В прозе написан его большой, тоже конфискованный, роман «Люизит» — о роли химической войны в будущих боях гражданской войны. Здесь дан реалистический образ современной Германии, ее реакция, желтое мечанство, половинчатость социал-демократии и рядом с этим изображена самая реальнейшая «утопия» будущей империалистической, превращающейся в классовую, войны, где главную роль играет газовая война. Описания действия газов в войне соответствуют самым новейшим научным данным. Утопические, хотя и карающие современное общество, романы обыкновенно терпелись буржуазным обществом. — Но тема, затронутая Бехером, слишком животрепещуща и близка, чтобы ос-

таться безопасной для существующего строя в Германии.

Близкой по смыслу к роману «Люизит» является повесть «Банкир едет по полю битвы», где изображена послевоенная веселящаяся буржуазия, которая едет смотреть, как диковинку, бывшие поля битвы, восторгается теми ощущениями, которые им доставляют опустошенные местности, траншеи, которые, ради сенсации и прибылей предприимчивых хозяев гостиниц, сохраняются в том устрашающем виде, какими они были во время войны. Этими местами несчастья, где погибло несметное количество людей, начинают спекулировать, чтобы удовлетворить искание острых ощущений все видевшего, отупевшего банкира²⁾.

В то время, как большой роман «Люизит» не везде выдержан по форме, — Бехер, привыкший писать стихами, часто выходит из рамок эпики, переходя в форму, близкую к стиху. Повесть «Банкир едет через поле битвы» в этом отношении выдержана, в ней нет стихотворно-философских длиннот и читается она с захватывающим интересом.

Бехером написано еще несколько коротких повестей в прозе. Недавно весной 1927 года он выпустил сборник стихов «Голодающий город».

Сборник этот можно назвать синтезом новых достижений формы и содержания, содержания с устойчивой пролетарской идеологией. Эти стихи лучшее, что написано Бехером. В них ясная простота и художественное благозвучие формы и вполне современная тематика рабочей жизни и событий на фронте пролетарской борьбы. Слишком яркая, ораторская плакатность, которая отмечена выше, исчезла, тем не менее, чувствуется большая уверенность, большая прочувзованность в этих стихах. В первом стихотворении «Длинна дорога» автор говорит о том, что он с теми, кто на собраниях, на работе бурно кричат: «Довольно!», что он с поработенной массой.

Весь сборник можно подразделить на темы:

¹⁾ Поэма «У гроба Ленина» имеется в русском переводе.

²⁾ Перевод «Люизита» и «Банкир едет по полю битвы» — имеется на русском языке.

Первая — отдельные, важные для рабочего движения, события, как забастовка английских горнорабочих, события в Шанхае и Парижская Коммуна.

Английский горнорабочий, который, согнувшись в темноте, выкапывает уголь, дающий свет, продумавши и больно прочувствовавши поражение забастовки, говорит с угрозой: «Но подождите! В следующий раз!». Особенно удачным является стихотворение «Буря в Шанхае» — «Ветер пошел по Шанхаю, с Юга идет буря, английским военным постам за проволочными заграждениями не до смеха...»

Вторая тема — о современном городе. Но это не тот город, который он описывал в первый период своего творчества, не тот город, где все хаотично, где не находят места разочарованный богемец. Это город веселящейся и зарабатывающей буржуазии с одной стороны, и город голодающих, трудящихся — с другой. Этот каменный, голый, голодающий город и занимает поэта. По городу бродят безработные, пустыми глазами смотрят на огромные рекламы, на обилие света. Холодные камни, мокра сырость, темно в рабочем квартале, где много желаний, не находящих удовлетворения. А сытому и ночью тепло и вольготно в городе. Город для него — чаша удовольствия, красоты, источник богатства и радостей.

Но безработица, которая унижает, давит людей, заставляя их уныло бродить по мостовым, приютам, — может стать лавиной. Она может привести в движение массы, те массы, которые организовано работают на фабриках, которые только немногим лучше обеспечены, чем безработные, у которых хлеб тоже тверже камня, которые уже в понедельник должны себя спрашивать о том, на что жить целую неделю, но которые все же представляют собою массу, а масса — пробуждающаяся масса — это сила.

Третья тема сборника — отдельный рабочий, его жизнь. В этом отношении изумительно правильным и художественным является стихотворение «Камень». Здесь перед глазами проходит жизнь рабочего, его думы о голоде, о том, как может еще человек смеяться

после того, как он познал голод, познал холод в ночи, вдвоем и в одиночку. Это делает человека камнем — твердым, не требующим ничего от голодного города.

Но и камни могут заговорить, могут вырасти в горы и сдвинуться с места. И то, что будет построено из этого камня, будет тверже времени.

Следует выделить стихотворение, посвященное смерти Есенина. Есенин — поэт старой деревни, которая угасает, задыхается, как сам Есенин. Растет новая деревня, менее мечтательная, но более благоустроенная, с тракторами, с новыми методами работы. Не зная русской деревни, Бехер все же правильно уловил дух Есенина и старой деревни и тот новый дух, который крепнет в деревне.

Автобиографическим является стихотворение «Мечтатель». Автор оглядывается на весь свой путь мечтателя и приветствует свое вращение в жизнь реальную, жизнь действия, жизнь ясную и механическую, но ставящую определенные задачи и требующую их разрешения. Бездейственные мечтатели, утописты и поучители не нужны и должны погибнуть.

Таков литературный и общественный путь Бехера. После долгих поисков, колебаний и переживаний он твердо и в ногу пошел с пролетариатом. Мы должны учесть этот путь, эти ошибки и оценить ту работу, которая проделана Бехером.

Теперь мы с уверенностью можем сказать, что связь Бехера с пролетариатом не временное увлечение и не чудачество характера, как думают некоторые из бывших друзей поэта. Бехер идет уже твердой поступью по нашему пути, продуманно и убежденно. Об этом мы можем судить по его работе.

Летом этого года Бехер выступал свидетелем на процессе издателей, выпустивших и распространивших конфискованную книгу Бехера «Люизит». Судья спросил Бехера: «Может быть, представленные в романе рабочие с их вредными идеями — не реальны, может быть, это поэтическая фантазия, выдумка? Это смягчило бы вину, так как человек может быть одержим разными фантазиями...».

Бехер на это ответил, что его рабочие не выдумка, что так думает о своем правительстве и республике весь рабочий класс Германии. Он говорил, что, если государство, власть признает существование рабочего класса, то оно должно признавать за ним право чувствовать и мыслить. Писатель эти чувства и мысли может излагать в своих произведениях. Если же это запрещается законом, тот же закон должен установить, что рабочего класса нет, что о нем писать нельзя, что нужно писать только о сытом и довольном мещанине. Эта речь Бехера тоже включена в обвинительный акт предстоящего процесса.

В то же время, как многие из бывших единомышленников и соратников божем-

ской среды с годами остепенелись, стали приличными мещанами и с улыбкой оглядываются на «дурачества молодости» вспоминая те времена, когда в «Романском кафе» в последний раз занимали по 50 пфеннигов¹⁾, Бехер сознательно оценил и отошел от своего прошлого и стал скромным функционером германской коммунистической партии, что тоже ставится ему в вину в теперешнем судебном процессе против него, — который будет разбираться в Лейпциге, в ближайшие недели.

¹⁾ В газете «Литературная Жизнь» (Die Literarische Welt), № 42 от 21 октября 1927 г., появились воспоминания нескольких интеллигентов под заглавием «Когда мы еще занимали по 50 пфеннигов (Als wir uns noch 50 Pfennig pumpten)».

„ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ САККО И ВАНЦЕТТИ“¹⁾

Д. Фримен

В памяти каждого американского рабочего с развитым классовым самосознанием под пеплом прошлого тлеют неугасимые угольки воспоминаний, чреватых воспламеняющейся разрушительной силой. Гэймаркетские казни, кровавая бойня в Колорадо и Централли, расправа с Томом Муни, — воспоминания об этих — а также о сотне других — эпизодах классовой борьбы обнажают для американского рабочего во всей ее недвусмысленной откровенности бесчеловечность и несправедливость существующего общественного строя.

Эпизоды эти и живая о них память с течением времени превращаются в величественные предания, которые становятся достоянием последующих поколений рабочих, несущих очередную смену в единой борьбе за свободу. И хорошо, что это так. Хорошо, что память класса сохраняет от забвения и обветшания значительные страницы своего прошлого. Пусть американский рабочий хранит в памяти судьбу

¹⁾ Юджин Лайонс. — «Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти». Интернациональная издательская кампания. Нью-Йорк.

Франка Литтля и Джо Хилла¹⁾ и не устает рассказывать о ней своим детям. Еще бережнее следует ему пронести через свою жизнь и передать молодым поколениям памятную повесть о Николае Сакко и Бартоломео Ванцетти.

* * *

В недавнем прошлом Америки не найдется, пожалуй, другого эпизода, который с такой чудовищной выразительностью выпятил бы наружу костяк капиталистического строя, как это сделало узаконенное убийство Сакко и Ванцетти. В свете этого исторического происшествия был как бы произведен нелицеприятный смотр и суровая проверка всем общественным элементам современной Америки. Промышленная и финансовая олигархия и идущие у них на поводу суд, печать, просветительные учреждения, полиция и армия, патриотические общества и министерство юстиции; тепловато-умеренные

¹⁾ Джо Хилл — единственно подлинно пролетарский поэт Америки, активный участник революционного движения, казненный в 1915 году.

бюрократы из Американской Федерации Труда (A. F. of L.); беспомощно запутавшиеся представители честного либерализма и те, либерализмом которых пользуются как удобной маской; все рабочее движение Америки с его правой, левой и центром, — анархисты, социалисты и коммунисты; представители свободных профессий, деятели искусства и, наконец, пассивная обывательская масса, — все классы и сословия, все группы, как в самой Америке, так и вне ее, в свете этого судебного дела, прогремевшего на весь мир, обнаружили свою истинную сущность, выступили в обнаженном неприкрашенном своем естестве.

Таким образом, жизнеописание Сакко и Ванцетти приобретает значение не только как повесть о двух случайных представителях авангарда рабочего класса, павших жертвой бесчеловечной мести капиталистического государства, оно неожиданно становится изображением всей современной капиталистической цивилизации. И вместе с тем эта повесть так безыскусственна и проста, что ее затрудняешься пересказать. Бесчисленные резолюции, воззвания, юридические сентенции, газетные статьи, листовки, демонстрации, следовавшие друг за другом в течение последних семи лет, естественно, затемнили ее суровые очертания; между тем, в неприкрашенной правдивой передаче она приобретает глубину и силу мистерии. Это повесть о двух сознательных и закаленных в борьбе представителях той безымянной массы, из среды которой капиталистическое государство произвольно выхватывает живые жертвы для вящего укрепления нзыблемости священного принципа неприкосновенности частной собственности.

* * *

Эта повесть в общих чертах знакома нам из неоднократного пересказа, но никогда до этого отдельные ее моменты не излагались с подобной полнотой, никогда еще ее персонажи, облаченные в живую плоть и кровь, не проходили перед нами с такой убедительностью на фоне широко изображенной социаль-

ной перспективы современности. В книге Юджина Лайонса «Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти» мы имеем первое полное и достоверное описание жизни этих двух людей в свете окружающих их условий, со всеми вытекающими из этих условий последствиями.

Ценность этой биографии в значительной мере повышается тем, что Лайонс был посвящен в дело Сакко и Ванцетти с самого его начала. Он знал все его перипетии и пристально следил за его развитием со дня на день уже в то время, когда капиталистическая пресса едва достаивала его нескольких газетных строк и когда им мало занималась даже рабочая печать, не считывавшая по началу всей его значительности. Теперь, с ретроспективной точки зрения, каждая деталь этого процесса приобретает для нас огромное значение. В начале же мало кто предугадывал, что факт лишения свободы двух безвестных итальянцев современным превратится в символическое воплощение классовой борьбы во всем мире. Впоследствии юридическая аргументация затемнила естественную драматическую последовательность событий. Восстановить и закрепить эту первоначальную утерянную связь оказался призванным человек, обладавший всеми необходимыми для этой роли данными: хорошо знакомый с фактической стороной дела, литературно одаренный и наделенный ясным и зрым мировоззрением, он создал труд, имеющий ценность настоящего исторического документа. Щепетильный в воспроизведении действительных фактов и логичный в их расположении рассказ его развивается с драматическим оживлением и захватывающим интересом хорошо скомпанованного беллетристического сюжета.

* * *

Книга начинается с описания детства Ванцетти в вилле Фаллетто, где он жил в «мирной и замкнутой» обстановке в лоне зажиточной и благополучной семьи. Не менее идиллично представлено детство Сакко, выросшего в Торремаджоре в окружении южно-итальянской природы. Юноши вазос мечтают

об Америке — стране великих возможностей. Подобно многим миллионам других европейцев, они, наконец, решаются последовать за своими мечтами, и в один прекрасный день высаживаются у заветных берегов. Они прибывают сюда независимо друг от друга, еще ничего не подозревая друг о друге, и, конечно, не предвидя того, что ожидало их здесь в грядущем. Сакко в это время семнадцать, а Ванцетти двадцать лет.

В великолепной главе, озаглавленной «Чужаки», Лайонс рисует участь, неизбежную для каждого рядового выходца Европы, попадающего в новые для него условия американской жизни. Речь идет о двух итальянцах, попавших в Массачусетс, но их переживания характерны для любого представителя иммигрантской массы в Америке.

«Еще накануне Ванцетти ощущал себя самостоятельной личностью. У него была семья, традиции, он вырос корнями в ту самую землю, на которой стояла родная его сердцу вилла Фаллетто. Был в его жизни какой-то смысл, какая-то преемственная последовательность развития. Но стоило ему ступить на американскую почву, как все это тотчас же исчезло без следа. Здесь он презренный «дога» ¹⁾, «вор» ²⁾, чье имя представляет нелепый набор звуков, чей язык и манеры являются достойной мишенью для записных остряков. Он превратился в фабричное мясо, придаток к машине, в пару анонимных рабочих рук; для своего работодателя он парий, едва ли даже причисляемый к «благородной белой расе».

Нечто аналогичное пришлось пережить и Сакко. Оба пришельца третируются не только местной буржуазией; — даже туземные рабочие, превосходящие их опытом и умением, смотрят на них свысока, как на существа низшего порядка.

Далее автор повествует об «американизации двух иммигрантов»; здесь перед нами опять типический процесс,

характерный для миллионов других пришельцев, которым приходится яростными усилиями завоевывать право на жизнь в стране механизированной промышленности, в стране, которая во всем является полнейшей противоположностью той крошечной полубогадальной деревушке, которая осталась далеко позади в Италии.

* * *

Эта борьба закаляла их, она превратилась для них в школу жизни, подготовив их к дальнейшей деятельности. Мало-по-малу они начинают задумываться над собою и своим положением в окружающем их обществе. Ванцетти изучает историю, философию, поэзию, он погружается в чтение великих художественных произведений, находя в них широкую и углубленную постановку вопросов обыденной жизни. Путем личного опыта, а также с помощью изучения революционной литературы, оба вырабатывают в себе классовое самосознание. Вступив членами в радикальные кружки, они становятся в ряды безыменных бойцов своего класса. Эпическое величие этого неприятельного повествования состоит именно в его типичности, в отсутствии в нем случайных и индивидуальных черт. Сакко и Ванцетти отнюдь не вожди, это простые рядовые в великой армии труда, скромные сподвижники революции, подобно тысячам других революционеров, делающие свою будничную работу в самой гуще рабочих масс. Простые рабочие, они доросли до понимания своего положения и назначения в мире, — вот в чем существо того ореола, который облагораживает скромный облик главных персонажей этого героического повествования.

«Я понял, — говорил Ванцетти, — что классовое самосознание не фраза, выдуманная пропагандистами, что это реальная жизненная сила и, что только те, кто усвоил для себя ее значение, из выючных животных превращаются в разумные человеческие существа».

Но эти вдумчивые рабочие, принимающие участие в борьбе за освобождение своего класса, не представлены действующими в пустоте. Автор книги

¹⁾ Так называют в С. Шт. смуглокожих иностранцев, — испанцев, итальянцев, португальцев.

²⁾ Презрительное прозвище для недавно приехавших в С. Шт.

изображает также и ту обстановку, на фоне которой им приходится жить и работать. Перед нами возникает Новая Англия с ее приходящей в упадок текстильной промышленностью и возрождающейся аристократией янки, которая яростно борется с наплывом иммигрантов и с возрастающей мощью профессиональных союзов. В 1912 году разражается крупная забастовка в Лоренсе. Год спустя мы находим Сакко в качестве сподвижника организаторов забастовки в Милфорде. Ванцетти также попадает в черный список как «проклятый агитатор».

* * *

На этом фоне, изображающем жизнь текстильной промышленности в Новой Англии, с ее забастовками и рабочими волнениями, фигуры Сакко и Ванцетти приобретают облик живых деятельных людей, — в свете этой борьбы их трагическая судьба представляется естественной и почти неминуемой. Активно участвуя в борьбе с тираническим владычеством текстильных баронов, они тем самым становятся в ряды «врагов общества», конечно, общества капиталистического. Настанет день, когда его достойный представитель — судья — скажет о них, что «убеждения подсудимых в полной мере соответствуют вменяемому им преступлению».

Но вот Америка вступает в мировую войну. Правительство банкиров и промышленников спускает с цепи целые своры шпионов, которые охотятся за «внутренним врагом». При содействии бюрократов из Американской Федерации Труда радикалы, в особенности те из них, кому вменяется в преступление их иностранное происхождение, травятся, арестовываются и подвергаются высылке. Американские правящие круги одержимы манией «красной опасности». Сакко и Ванцетти оказывают деятельную помощь товарищам, пойманым в сети правосудия, которым инкриминируется составление памфлета, обнаруживающего империалистическую подоплеку войны «за демократию и цивилизацию». Оба добывают средства к жизни упорным ежедневным

трудом: Сакко стал сапожником, а Ванцетти продает с лотка рыбу.

Внезапно их арестовывают. Конечно, им приходит в голову, что полиция набрела на следы их политической работы. Их отношение к капиталистическому строю чересчур недвусмысленно, — разве не может им быть вменено в вину хотя бы «стремление к несправедливому отвержению основ»? Желая выгородить других, они запутываются на допросе и впадают в противоречия. Наконец, выясняется, что они привлекаются по обвинению в ограблении и убийстве в Саут Брэйнтри и Бриджуотер.

Тогда они вздыхают с чувством облегчения. Зная свою невинность, они не сомневаются, что им удастся оправдаться. И, несомненно, их освободили бы, окажись они заурядными обывателями. Но уже в самом начале следствия кровожадные судебские ищейки разноухали и выволокли на свет божий общественный послужной список обоих радикалов, и с этого момента их участь предрешена.

* * *

Дальнейшая их судьба стала достоянием истории, но книга Лайонса приводит целый ряд очень интересных, доселе неизвестных подробностей. Автор выводит на свежую воду лживость и противоречивость показаний свидетелей обвинения. Все это — живые фигуры в его изображении. Перед нами встают во весь рост Тэйер и Кацманн, слабонервная Лола и мальчик, заведомо лгавшие со свидетельской скамьи и отпиравшиеся от своих показаний с тем, чтобы потом точно также отречься от своих противоположаний. Это целая вереница живых лиц: эксперты по оружию, представители защиты — среди них героическая фигура Фреда Х. Мура, губернатор Фуллер и судья Грент и, наконец, сами герои процесса — Сакко и Ванцетти, которые в течение семилетней пытки заточения не отступились от своих социальных убеждений. Далее книга описывает ряд легальных попыток борьбы с несправедливостью суда в виде тщетных апелляций в различных судебных инстанциях: она повествует о

бесчисленных рабочих демонстрациях, прокатившихся волной по всему миру, и о том давлении, которое было в свою очередь оказано правящими сферами для того, чтобы раздавить двух людей, превратившихся в олицетворенный символ восставшего рабочего класса. Эта борьба проходит перед нами шаг за шагом до того последнего момента, когда американский капитал, бросив вызов общественному мнению всего мира, настоял на своем, предав Сакко и Ванцетти насильственной смерти.

«А ведь если бы не это, — говорил Ванцетти судье Тэйеру незадолго до своей казни, — я, быть может, так и прожил бы свою жизнь, взывая на перекрестках к равнодушной и глумящейся толпе. Так, наверно, и пришлось бы умереть никому не нужным, безвестным неудачником. И вот на нашу долю выпала неожиданная удача. Это наше признание, наше торжество. Разве могли мы когда-нибудь в жизни надеяться на то, чтобы сыграть такую роль в борьбе за терпимость, за справедливость, за разумное отношение человека к человеку, как та, которая выпала на нашу долю по воле случая. Наши слова, наши жизни, наши страдания, да что они значат? — Ничто. Но, взяв эти жизни, жизнь са-

пожника и бедного разносчика рыбы, вы придаете им неслыханную ценность. Этот последний момент будет принадлежать нам, — агония превратится для нас в триумф».

Это, пожалуй, лучшее из того прекрасного истинного и мужественного завещания, которое оставили нам Сакко и Ванцетти за семь лет своего заточения. Не менее изумительны их письма, в которых они призывают товарищей на воле продолжать с угнетателями борьбу за дело свободы.

* * *

Повесть «Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти», несомненно, дойдет до рабочих всех стран; в настоящий момент она уже переводится на русский, немецкий, итальянский и др. языки. Книга снабжена фотографиями Сакко и Ванцетти, судьи Тэйера, губернатора Фуллера и других руководящих фигур процесса. В нее вошли также лучшие зарисовки, появлявшиеся в разное время в различных газетах всего мира. Каждый американский рабочий не должен упустить случая познакомиться со столь ясным, волнующим и достоверным изображением замечательнейшего эпизода великой борьбы рабочего класса Америки.

Перевод с рукописи Р. Мостовенко

3. ГРАФИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

(Об одном из уголков культурного фронта).

Вяч. Полонский

I

Искусство гравюры и графики в нашей стране именно в революционные, октябрьские годы выдвинуло плеяду блестящих мастеров. Тем не менее положение этого искусства нельзя назвать блестящим. Привлечь внимание к этому искусству, — не случайно расцветшему в нашей стране в революционные годы, — и ставит своей задачей настоящая заметка.

В поощрении и развитии графических искусств заинтересованы не одни мастера гравюры и графики, как произ-

водственники, но все наше общество, как потребитель произведений искусства. Речь идет о крупнейшей из задач, поставленных эпохой культурной революции: о «демократизации» искусства, о приобщении широких трудовых масс к подлинному художественному творчеству, о распространении художественной культуры. В выполнении этой задачи выдающуюся роль должны будут сыграть именно графические искусства. Надо дать широким массам не «приблизительное» искусство, не подделку под него, и не «дешевое» издание «для бедных», но искусство на-

стоящее, подлинное, первосортное. Надо это «высокое» искусство свести с горных высот ближе к земле. Искусство не должно быть уделом одних только столиц и крупных центров. Оно обязано проникнуть в глухие углы — в деревенскую читалку, в рабочий клуб, в рабочее жилище, в крестьянскую избу. Другими словами, каждодневный быт масс должен соприкоснуться с художественной культурой — такова одна из частных задач культурной революции. В капиталистическом обществе художественная культура была достоянием узких кругов, — в обществе нашем она должна сделаться достоянием всех. И это не «общие» слова, не «прекрасные посулы», а практическая задача дня, к которой следует отнестись всерьез. Оттого мы говорим: нигде в мире не раскрываются перед искусством, перед художественной культурой такие необъятные горизонты, как в нашей стране, где господствует трудящееся большинство. Но не противоречат ли этим горизонтам те конкретные, далеко не удовлетворительные условия, в которых находится искусство в наши дни в Советском Союзе?

II

Мы умеем смотреть правде в глаза. Да, положение искусства в нашей стране сейчас далеко не таково, каким мы его желали бы видеть. Но чего вы хотите от страны, которая всего лишь шесть лет, как приступила к восстановлению своего разрушенного хозяйства, приступила без денежных средств, охваченная фактической финансовой блокадой, без какой бы то ни было помощи извне, исключительно силами своего собственного, израненного хозяйственного организма? Шесть лет — какой ничтожный срок! А разве мало сделано за это время? Революция разрушила буржуазный культурный слой, питавший искусство. Но она же создает новый культурный слой, который будет его питать, который уже «питает» его, правда, в степени, еще не достаточной. Но ведь это только «сегодня», дайте срок: «завтра» будет лучше, а «послезавтра» — со-

всем хорошо. Художественная культура еще не стала предметом «первой необходимости» в Республиках нашего Союза. Национальные меньшинства только-только вовлекаются в культурную революцию. Грамотность в нашей стране еще не сделалась всеобщей, хозяйственное благосостояние недостаточно велико, чтобы в бюджете рабочего и крестьянина были расходы на «искусство». Но ведь благосостояние масс растет, а вместе с ним растут и потребности. Наступит время, оно не за горами, — когда в нашей стране появится такой массовый «спрос», у нас объявится такой огромный «рынок» для предметов искусства и культуры, — какой не снился даже мечтателям, и какой немислимо представить в капиталистической стране. Мы не будем иметь «мecenатов», индивидуальных потребителей искусства, но зато мы будем иметь потребителей в лице государственных и общественных организаций, профсоюзов, клубов, различных объединений. Дайте срок — человечество увидит, какие превосходные перспективы художественному творчеству открывает наша страна, где господствует не буржуазное меньшинство, а трудящееся большинство.

Но этот расцвет — в проекции. А практическая задача, стоящая перед нами сегодня?

Она заключается в том, чтобы поднять культурно-художественный уровень масс, развивать их вкус, обогащать их знания, прививать культурные привычки, вызывать художественное творчество масс.

При осуществлении этой задачи искусство гравюры и графики призвано сыграть несравненную роль. Именно потому, что среди других высоких искусств — искусство гравюры и графики ближе других способно подойти к мало квалифицированному, отсталому культурно человеку и сказать ему все, что оно призвано сказать с помощью художественных средств.

III

Демократизация искусства — процесс сложный. Венец его в разветвлянии художественного творчества самих

масс. Пути же демократизации многообразны. Необходимо в первую очередь приблизить искусство к народным массам, облегчить им доступ к произведениям искусства, уничтожить его недоступность. Это значит — открыть музеи, галереи и прочие хранилища для всеобщего обозрения, принимая в то же время необходимые меры для уничтожения условий, препятствующих массам, во-первых, пользоваться открывающимися возможностями, и, во-вторых, мешающих им правильно понимать искусство. К мерам второго порядка относится создание благоприятных материальных и иных условий для занятий искусством, подъем общего и художественного образования, распространение художественных знаний.

Но все эти меры, вместе взятые, не смогут преодолеть одной особенности, которая будет препятствовать произведениям искусства быть всенародно доступными: уникальности. Как бы ни были благоприятны условия для художественного образования народных масс в Советском Союзе, как бы ни были доступны наши музеи и галереи всем желающим, — жителям нашей страны останутся недоступными произведения, хранящиеся в Лувре, в Мюнхене, в Вене, в Дрездене, в американских музеях. Величайшие произведения искусства существуют в единственных экземплярах. Имеется лишь один подлинник, доступный ничтожному меньшинству человечества, и никакая «демократизация искусства» не сумеет преодолеть этой роковой черты, создающей непреодолимые трудности для его «всенародности». Можно, разумеется, создать множество копий и рассеять их по свету. Но это будут копии, и никакая усовершенствованная репродукция произведений живописи не может заменить подлинника. Это свойство изобразительных искусств и ставит непреодолимые препятствия их «демократизации».

Но развитие художественной культуры требует, чтобы зрению масс были предоставлены все же образцы подлинного искусства. Для развития художественного вкуса масс необходимо, чтобы они часто и без затруднений могли

соприкоснуться с произведениями искусства, не испорченными механическим воспроизводством. Одними посещениями музеев, очень малочисленных в нашей стране, и не более доступных иному гражданину нашего Союза, чем парижский Лувр, художественной культуры не поднимешь, не воспитаешь массового вкуса. Музейные произведения неподвижны, — надо найти подвижные произведения искусства, которые могли бы идти к массам сами, которые вошли бы в житейский обиход массового зрителя, сделались бы спутником его быта, украсили этот быт, придали бы ему художественный элемент, играли бы «воспитывающую, культурническую роль в тех самых местах, где массы ведут борьбу за существование и за культуру. В поисках такого поистине демократического искусства мы и наталкиваемся на гравюру. Из всех искусств — искусство гравюры наиболее демократично, т. е. способно, не теряя своих достоинств подлинного и высокого мастерства, быть максимально подвижным, и, поддаваясь механическому воспроизведению, преодолевать те препятствия, которые ставят распространению искусства пространство.

Здесь необходимо внести некоторую ясность. Коллекционеры утверждают, что и гравюра — уникальна. Коллекционеры и ценители гравюры собирают обычно первые, «авторские» оттиски, считая именно эти ручные первые эстампы подлинниками, заслуживающими высоких оценок и т. п. Но не трудно видеть, что именно момент коллекционерства, элемент соперничества заставляет «любителей» ценить эти «первые» оттиски. Нельзя, разумеется, спорить, что эстамп, отпечатанный автором на ручном станке, под внимательным и любовным наблюдением, может достигать таких эффектов, которые трудно получить при машинном печатании. Но эти тонкости не уничтожают того факта, что гравюра, выполненная художником на металле, дереве или линолеуме, при тщательном механическом воспроизведении, под наблюдением хорошего специалиста, — теряет чрезвычайно мало по сравнению с подлинником. Ни одно из произведений искусств не поддает-

ся воспроизведению с такой художественной точностью, как гравюра. При современных способах печатания, при полной возможности с помощью гальванопластики воспроизводить авторский оригинал, при новейших печатных машинах можно художественное воспроизведение гравированных произведений делать с такой изумительной точностью и силой, что только тончайшие знатоки смогут, да и то с помощью вооруженного глаза, открыть какие-нибудь различия между оттисками первыми и последними. Автор этих строк имел случай видеть на Всемирной выставке в Париже в 1925 г. такие образцы механически воспроизведенных гравюр однотонных и цветных, а также офортов и литографий, которые были совершенно не отличимы от первого «авторского» оттиска. Новейшие художественные издания Европы говорят о таком прогрессе техники именно в области воспроизведения гравированных оригиналов, что только заядлое и психопатическое коллекционерство может настаивать на «уникальности» искусства гравюры. Это и дает нам основание утверждать, что, даже при современной репродукционной технике, художественная гравюра является самым могущественным, единственным из высоких искусств, которое обладает наибольшими качествами демократизма. Гравюра — поистине демократическое искусство, доступное всем, подвижное, не застывающее в музейных залах, но способное распространять свое влияние безгранично. Оно преодолевает пространства, разрушает ограниченность музейных хранилищ, не пассивно, но активно, не ждет зрителя, но ищет его, идет к нему навстречу, привлекает к себе, берет его в плен. Договоримся, что гравюрой мы будем называть изображения, вырезанные ручной мастером на металле, дереве, линолеуме, или ином материале. Офорт является особым видом гравюры. Отличительные особенности гравюры, как искусства, могут быть применены и к офорту. То же самое, хотя и с некоторыми оговорками, можно сказать о литографии: исполненный ли на камне самим мастером, или воспроизводимый,

с помощью литографских чернил, и переведенный литографом, рисунок художника по своим свойствам также бесконечно близко подходит к гравюре. И, наконец, — книжная иллюстрация; обложка, рисунок пером, карандашом, словом, все то, что украшает и заполняет сейчас сверх шрифта книгу, — не являясь искусством гравюры в точном смысле, очень близко подходит к гравюре. Но различия здесь уже столь значительны, что этот род изображений обозначается суммарным термином графика. Гравюра и графика — родные сестры, из которых гравюра, в этом никто не сомневается, более благородного происхождения. Механические способы размножения графических произведений, фототипия, автотипия и др. — даже в лучших своих образцах — уходят иногда очень далеко от оригинала художника. Только некоторые графические произведения, сделанные техникой, близкой к гравюре, поддаются точному воспроизведению. И лишь гравюра, при условии точной и художественной печати, сохраняет в максимальной степени свои художественные достоинства. Это не мешает, разумеется, графике, наряду с гравюрой, быть огромным художественно-просветительным средством.

Гравюра и графика, одна в большей, другая в меньшей степени, являются могущественными средствами распространения художественной культуры. С помощью гравюры и графики, пользуясь всеми возможностями, от уличного плаката до книжной иллюстрации, можно в огромном масштабе воспитывать вкус массового зрителя, прививать ему умение «видеть» произведение искусства, развивать художественные потенции, дремлющие в рабочем и крестьянине, украсить их жилище, вдохнуть им любовь к искусству, заинтересовать их, — поднимая массовую художественную культуру, тем самым привлекая массы к активному участию в развитии искусства. Искусство в массы — это, ведь, и значит ввести искусство в обиход каждодневной жизни, сделать его неустранимым спутником быта. Лозунг, не так давно бывший мод-

ным, — «искусство в производстве», — лозунг чрезвычайно ценный и своевременный, — является лишь частью дела. Не только в производстве, но чтобы оно пропитало воздух, которым мы дышим. Есть еще огромные области воздействия на сознание масс, куда настоящее искусство и не пыталось проникнуть. Никто не сомневается в художественно - воспитательной роли плаката, журнальной и книжной обложки. Но разве такую же точно, только в большей степени, роль не играет, напр., папиросная коробка? Или конфетная обертка? Или обертка для мыла, или поверхность других предметов массового потребления?

Я знаю, иные усмехнутся: папиросная коробка — в качестве средства для поднятия художественной культуры. Но повторяю: да, и папиросная коробка. Ведь именно здесь, в области массового потребления, и господствует ужаснейшая пошлость, загрязняющая и отравляющая массовые восприятия. А ведь эта пошлость играет идеологическую роль, она воспитывает вкус массы. Иной раз не можешь понять, чем объясняется успех отвратно - мещанских образцов в живописи. Только вспомнив о конфетной обертке, начинаешь постигать, где корни массовой безвкусицы. Но думаете ли вы, что в массах не происходит никакой «агитации» за определенную «эстетику»? На самом деле агитация идет, влияние безвкусицы внедряется, неискушенный глаз приучается к ужасающим зрительным впечатлениям, которые становятся привычными, делаются тем, что называют общим уровнем вкуса, вкусом большинства. Неискушенному зрителю нравятся рисунки, не слишком удаленные от его привычных представлений: но привычные представления и лежат в основе вкуса.

Мы имеем, таким образом, огромную и девственную область, куда должно быть продвинуто настоящее искусство. Таким искусством и могут стать гравюра и графика. Они имеют все данные, чтобы сделаться организаторами, агитаторами и пропагандистами подлинного демократического искусства. Тек-

стильная промышленность, обойные фабрики, наркомпочтель, паркомфин, издательская промышленность, табачная, пищевкусовая и т. д. и так далее — необозримые области, в какие должно устремиться искусство, чтобы вытеснить пошлятину, поднять художественный уровень, ликвидировать художественную безграмотность. Это можно сделать только в стране Советов, только на почве завоеваний Октября, потому что ни один народ в мире не вступил в полосу культурной, т.е. такой революции, которая поставила своей задачей перевоспитать миллионные массы, поднять их к подлинному искусству и развить в них еще не окрепшие, но пробудившиеся творческие потенции. Октябрьская революция открыла невиданные возможности для расцвета наук и искусств. А в деле приобщения масс к искусству — искусствам графическим должно принадлежать первое место.

А много ли делается у нас в этой области?

IV

Не будем хвастать: делается очень мало. Общие представления на этот счет еще настолько темны, что я не убежден, не вызывают ли недоуменное пожатие плеч даже среди самих «мастеров» гравюры и графики мои слова о «папиросной коробке», как одном из орудий культурно - просветительного воспитания масс. В самой среде наших «мастеров» существуют представления об искусстве, как о чем-то комнатном и музейном: от того-то «улица» и оказывается завоеванной эстетическими проходцами, бездарностями и невеждами, которые «потрафляют» невзыскательному обывателю, и тем самым поддерживают такой уровень «общественного» вкуса, при котором подлинное и тонкое искусство должно лечь спать.

В области «массовой продукции» искусство (я говорю о настоящем искусстве) не имеет почти что никакого применения. Наши художники не принимают участия в украшении массовых предметов быта, — а именно здесь открываются широкие возможности граверам и графикам.

Но они не завоевали даже полиграфической промышленности. Они не занимают должного места даже в продукции наших издательств. Обложка, правда, завоевана. Это очень культурное достижение. Внешность нашей книги, ее «платье» делается художниками. Можно спорить о достоинстве тех или иных мастеров, о большей или меньшей высоте достижений нашей книжной обложки, наконец, о «стиле» ее, — но самого факта завоевания обложки мастерами графики и гравюры отрицать не приходится. Но обложка — всего лишь один из элементов книги. К тому же элемент, играющий служебную роль и погибающий в процессе книжного обращения. Следом за обложкой должна идти иллюстрация и вообще художественная книга. В этой области делается до смешного мало. Достаточно указать, что замечательнейший гравер наших дней, мастер, которым мы вправе гордиться, Алексей Кравченко — вот уже много лет не может издать великолепных гравюр своих к Гофману: «Повелитель Блох». Эта серия гравюр, приводящая в восхищение необычайностью работы, тонкостью и остротой мастерства, являющаяся одним из высочайших достижений современной гравюры, — эта серия таятся где-то в недрах одного из наших издательств. Насколько нам известно, эти гравюры мастера, выросшего в революции, увидят свет в ближайшее время за границей. А будут ли они напечатаны «дома», — неизвестно. Издательства поглощены узким меркантилизмом в погоне за «ходкой» книжкой и не желают интересоваться книжными работами Алексея Кравченко. Можно было бы привести много примеров того, каким малым вниманием наших издательств пользуется гравюра, вообще, необычайно расцветшая именно в годы революции, она должна бы, казалось, встретить самое сочувственное отношение. К сожалению, этого нет.

Граверы голодают, — даже признанные мастера, а молодежь, имеющая призвание к этому искусству, забрасывает его и берется за работу, менее свойственную ее талантам. Ни одно из наших искусств в эпоху революции не выдвинуло таких блестящих масте-

ров, как искусство гравюры. Это искусство влачит жалкое существование, не имея возможности прорваться к потребителю, правда, пока весьма ограниченному. И мы стоим перед опасностью постепенного замирания этого искусства, если политика наших издательств не придет ему на помощь.

Первая роль в этом деле принадлежит, разумеется, Государственному Издательству. Покровительство искусству гравюры и графики никогда не стояло перед Госиздатом, как сознательно поставленная задача. Обзорение художественных изданий Гиза говорит об этом весьма убедительно. Мы не имеем еще иллюстрированной художественной книги. Исключение представляет детская книга: с радостью можно констатировать, что здесь у Госиздата имеются большие достижения. Детская иллюстрированная книга у нас сейчас представляет большое художественное явление: культурная роль ее в деле воспитания детского вкуса — несравненна. Но ведь не только воспитанием детского вкуса должен заниматься Госиздат. А воспитание вкуса широких масс? А поднятие художественной культуры среди крестьянского, рабочего и вообще массового читателя? А поддержка высочайших и тончайших достижений искусства гравюры, как таковых, хотя бы эти достижения — пока — имели обращение только в узком кругу высококвалифицированного читателя? А покровительство искусству книги вообще, без успехов которого немыслимы успехи книжной техники? Все эти задачи должны быть поставлены перед нашей издательской политикой. Не боясь впасть в преувеличение, я скажу, что именно в руках Госиздата — будущее искусства гравюры и графики в нашем Союзе. Если Госиздат не поможет этому искусству занять подобающую ему роль в полиграфической промышленности, — никто ему не поможет.

Госиздат должен возродить художественную иллюстрированную книгу. Должна быть создана художественная массовая книга. В наши дни возрождается интерес к классикам: мы будем в скором времени иметь дешевое издание классических произведений —

необходимо эти народные издания выпустить иллюстрированными. Необходимо, затем, попытаться бросить в обращение гравюру, не связанную с книгой. Потребность в украшении жилищ очень велика — кому же неизвестно, что стены рабочих квартир, деревенские избы, избы-читальни украшаются портретами вождей, эпизодами революционного прошлого, очень плохо выполненными, наряду с безвкуснейшими и пошлейшими образцами старого лубка, слеографиями и выдранными из старых журналов картинками? Необходимо призвать искусство к созданию массовых произведений, потребность в которых несомненна. И здесь роль Госиздата — исключительна. Он должен вымести из страны антихудожественную макулатуру, которая сейчас еще господствует. Вместо разговоров — «искусство в массы» — надо двинуть это искусство в массы. Но в отличие от разговоров, которые мыслят сближение

искусства и масс исключительно в виде организации экскурсий для посещения музеев и выставок — необходимо бросить искусство в массы, связав его с оформлением предметов каждодневного обихода, — не оставив без внимания ни одной возможности, будь то книга, афиша, почтовая марка, денежный знак, открытое письмо, папиросная коробка, метр ситца, дешевенькие обои или стенное украшение. Еще раз повторяем — речь идет не только о том, чтобы поддержать искусство гравюры и графики, за которым — будущее, но еще о том, чтобы с помощью этого искусства поднять массовую художественную культуру, разбудить еще не пробудившиеся силы и вовлечь их в художественное творчество. А одним из первых шагов в этом направлении и является популяризация искусства гравюры и графики, одного из прекраснейших искусств, созданных человечеством.

4. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАРЕК

По книгам, журналам и газетам

Фрол Скобеев

Новое у классиков

В № 5—6 «На Литературном Посту» некая О. Пойманова в статье «Религиозная маска Пушкина» так цитирует отдельные стихи его «Молитвы»:

Отцы-пустынники и девы непорочны!
Чтоб сердцем возлетать во области за-
очной...

И нежит падшего неведомою силой...

Между тем, эти стихи читаются так:

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области за-
очны...

И падшего свежит неведомою силой.

* * *

Ужасный факт

В судебном отделе № 137 «Вечерней Москвы» читаю:

«Удар пришелся по виску. Щербаков упал. Тогда она безудержно стала

бить молотком по голове до тех пор, пока молоток не слетел с ручки... Он скончался»...

Бедный молоток. Можно сказать — безвинно пострадал... От малограмотности рецензента.

* * *

В „Степи“ заблудился

В книге В. Львова-Рогачевского «Очерки по истории новейшей русской литературы» читаем:

На стр. 35.

«... Гаршин прочел... появившийся в «Русской Мысли» рассказ А. П. Чехова «Степь».

На стр. 38.

«... его (Чехова) произведение превратилось... «в какую-то степную энциклопедию», как произошло с его первою крупною вещью, напечатанной в

1888 году в «Северном Вестнике» («Степь»).

По Львову-Рогачевскому выходит так, что свою «Степь» Чехов напечатал одновременно и в «Русской Мысли» и в «Северном Вестнике», но мы можем заверить читателя, а вместе с ним и Львова-Рогачевского, если он этого не знает, что Чехов одной и той же вещи в двух разных изданиях, как это делают некоторые современные авторы, не печатал.

* * *

Он махает

В стих. «Их демонстрация» Вас. Лебедев-Кумач в № 24 «Крокодила» (1927) пишет:

«Глядит и ласково махает (!) им рукою».

Ах, тов. Лебедев-Кумач, напрасно вы махаете на грамматику!

* * *

В ямбах запутался

Как утверждает М. Беккер в статье «В поисках пролетарского эпоса» (журн. «Октябрь» кн. V, 1927):

«Торжественно и уверенно возвещает Доронин четырехстопным ямбом:

Облеза спаситель древний
У папертных ворот.
Не та уж ты, деревня,
И голос твой не тот.

Между тем ямб этот не четырехстопный, а трехстопный.

Положение Беккера ничем не лучше положения Онегина: тот не отличал ямба от хоря, а Беккер в ямбах запутался. Так за сто лет, прошедших со дней Онегина, многие, в том числе и Беккер, ничему не научились.

* * *

О плавании

«Чудовищные автобусы «Крымкурсо» шоятся здесь как дельфины на поверхности моря»... (?)—так описывает в «Вечерней Москве» (№ 139) некий М. свое путешествие по Южнобережному шоссе Крыма. Но до моря этот М., очевидно, еще не доехал, так

как в этом случае, если автобусы Крымкурсо действительно подобны дельфинам, он бы давным-давно плавал, только не на поверхности.

* * *

Дела китайские

В № 19 журн. «Красная Панорама» (1927) под снимком «К событиям в Китае» была дана подпись:

«Войска национальной армии в переполненных вагонах едут на фронт».

Но в № 24 журнала редакция сообщает, что вместо этой подписи следует читать:

«Войска генерала Сун Чан-фана, разбитые под Шанхаем, бегут преследуемые национальными войсками».

Очевидно, редакция «Красной Панорамы» в китайских событиях разбирается слабо и в этом случае, как говорят китайцы, «мала-мала наврала», опомнившись только через четыре номера.

* * *

Не верь глазам своим

Вообще «Красной Панораме» с подписями иллюстраций не везет. Так, в № 24 этого журнала под снимком знаменитой одесской лестницы было указано, что наверху ее виден памятник основателю Одессы де-Рибасу, но в следующем № журнала (25) дана весьма лаконичная поправка, которая предлагает вместо слова «де-Рибасу» читать «Ришелье».

Козьма Петрович, ознакомленный мною с этими грустными обстоятельствами, предлагает товарищам из «Красной Панорамы» под каждой подписью в той или иной иллюстрации помещать его афоризм:

Не верь глазам своим

* * *

Печь со спицами

В стих. Б. Ковынева «Призыв» («Веч. Москва» № 165, 1927) между прочим читаю:

Уж на заводах, взгляни,
Кружатся спицы натоплен-
ной печи... (?)

Но что это за печь со спицами и не приспособлена ли она для вязания чулок — автор, к сожалению, так и не раз'яснил.

* * *

Все изменилось под нашим зодиаком

П. Н. Столпянский в своей книге «Санкт-Петербург-Бурх, ныне Ленинград» (изд. Лепгубпрофсовета, 1927), между прочим, пишет:

«Вечерело... закат окрасился яркими тонами золота, багрянца и перламутра... Величавое солнце быстро скользило к з е п и т у»... (?! стр. 125).

К сожалению, т. Столпянский позабыл указать, что при таком странном положении солнца

... удивленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать, или вставать.

* * *

Роман без вранья, но...

В «Романе без вранья» («Прибой», 1927) А. Мариенгоф на стр. 49 об одном своем знакомом рассказывает:

«... он... сердчал... и с горя... напивался до белых риз».

Между тем, сведущие люди говорят, что до белых риз не напиваются, а напиваются до белых слонов и до положения риз.

Столь сильно действует на Мариенгофа не только алкоголь, но даже алкогольная тема.

* * *

Невероятная точка

В отделе «Трибуна Октября» (журн. «Октябрь» кн. I, 1927) редакция, печатая две заметки о повести М. Сивачева «Бадаханы», в примечании указывает:

«В ближайших №№ будет помещена точка зренья редакции».

Какая же это «точка», если она разползется на несколько номеров? Клякса это, товарищи!

* * *

Пишут хорошо, но непонятно

«... Валя будет мыться над тазом... И жаться, поднимая к плечам холямки пчел» (?! Ю. Олеша «Зависть», «Гр. Новь», 1927, кн. VII, стр. 92).

Прочел эту фразу Козьме Петровичу, а он и говорит:

— Чудно пишут эти молодые: непонятно нам, старикам...

Но я его успокоил:

— Ах, Козьма Петрович, я не старик, а тоже ни черта не понимаю.

* * *

Художества Полтавского

Чужден Ил. Полтавский, когда вольно и плавно пишет в «Вечерней Москве» обо всем, что принесут чернила ему на перо. Однако Гоголевский Днепр более плавно катит свои волны, чем излагает свои мысли Полтавский. Так, в № 222 «Вечерней Москвы» он пишет:

«... аппарат самодержавия... работает на полный ход» (?!).

Но, тов. Полтавский, даже гнилой аппарат самодержавия так безграмотно не работал.

* * *

Собак вешают

В анонимном предисловии к Бунинским «Снам Ганга» (Гиз 1927) некто, излагая содержание одного из рассказов, сообщает:

«Помещик... приказывает у давить собак и повесить их на деревьях парка» (стр. 5).

Увы, в Бунинском рассказе («Последний день») собак не давили, а только вешали, и автор предисловия, очевидно, рассказа этого не читал, полагая, что за собак с него не спросится. Спросится, дорогой товарищ! Читайте то, о чем пишете.

* * *

Республика между пальцами

Замечательно из'ясняются в «Женском Журнале»! Вот, например, некий

Иоаким Минаев, желая обучить читательниц работе на пишущей машине, описывая 10-пальцевую систему, говорит (№ 5 «Женского Журнала», 1927):

«Трудовая республика царит между пальцами» (?!).

Таким образом, даже глядя между пальцами, почтенный Иоаким Минаев рассмотрел трудовую республику, при том еще «царящую» (?!).

Вот зоркий глаз и варварский язык.

* * *

5. УЕЗДНЫЕ ОЧЕРКИ

Путешественник

1

Осенняя ночь на Волге. Глухой поздний час.

Скупо белеют на горных откосах городские дома, шумно, с гулом и плеском, проплывают буксиры, унося в голубую тьму одинокие скитальческие огни. Холодно серебрятся легкие ветви звезд. И ярко, свежо сияет над полями заволжья оранжевый лунный серп, напоминающий ломтик дыни.

По заволжским полям, по их передрогшим дорогам поскрипывают колеса, дико ржут лошади, — из дальних деревень едут в город, на ярмарку запахнутые в тяжелые овчины мужики, везут мраморную капусту и бирюзовые огурцы, сладко дымят махоркой, сутуло и мерно ступая за раскачивающимися возами.

Утром они спускаются к Волге, страшно студеной, землянично-мглистой и тихой, раскидываются табором по золотистым пескам, круто и сочно посыпанным палевой солью мороза.

Быстрый белый пароход залиvisto гудит, подбегая к голубой пристани, за парходом летят крупная, алая рябь, и в этой ряби тает, качается отраженный сахарный город, — старый, уездный, видевший некогда лисьи татарские шапки и картинные литовские палаша.

В городе, на площади уже по-праздничному шумно... Магазины еще не открыты, но около палаток с витыми пряниками и восковыми «китайскими» орехами уже собираются кучки народа, и плывет над площадью тот сдержанный человеческий гул, по которому издали узнается разгульный ярмарочный базар.

Подвижный, бойкий парень в гусарской мерлушковой куртке ловко играет яблоком перед проходящей девицей.

— Яблочков первоклассных не позволите?

Девица останавливается, и продавец, с хрустом расколов яблоко, размашисто подносит ей половину на острие перламутрового перочинного ножа.

— Свежо, как ваше личико!

— Пирожков с мясными фаршами, — проталкивается сквозь толпу румяная баба, неся над головой плетеную корзину, прикрытую старым стеганым одеялом.

— Литые перстеньки, сережки, застежки, — скороговоркой выговаривает серебрянник из села Красного, бородастый, остроглазый мужик в высоком белом «малахае».

Солнце то заходит в русые облака, то лучисто золотит шумную площадь, весело, юношески-высоким дискантом заливается перевозный пароход, и свежий ветер, несясь из заволжских лесов, холодно и вкусно пахнет палыми листьями. Свежий, бодрый осенний день!

День еще только начинается. Певучий ярмарочный говор еще впереди.

Пока не открылись лавочки и магазины, много народа толчется, сидит за столиками в трактире, в невысоких комнатах, украшенных аравийскими пальмами и решетчатой клеткой под потолком, где томится, грустит о чудесных Канарских стровах чесучовая, как осенний липовый листок, птичка.

В трактире есть «сладкозвучный» орган, пока безмолствующий; на площади, в самом дальнем ее углу, примыкающем к кладбищенской роше,

есть карусели, пока тоже молчаливые, затянутые облачным брезентом в крупных разноцветных заплатах. У карусели — груды мальчишек, ждущих того счастливого часа, когда они, забравшись наверх, пойдут, туманно покачиваясь, за огромными деревянными спицами, а потом, — в награду, — быстро и шумно понесутся на шалом, сказочном скакуне.

— Дяденька, скоро откроется самokat? — спрашивают они хором вылезающего из-под парусины гармониста в начищенных лаковых сапогах и синих казачьих шароварах.

— Скоро! — отвечает гармонист, — вон, начинают открывать магазины...

Магазины быстро затопляются толпой. Покупают все: и раскрашенные, нежные на ощупь, ситца, и готовые платья (модные женские «саки» с венгерскими нашивками, щегольские кожаные тужурки), и чайную посуду — «семейные» чайники в ярких мордовских разводах, и скрипучие шагреневые «гамашки», и ароматные сладости, в изобилии рассыпанные по цветистым прилавкам.

Государственные магазины, преобладающие здесь, как и в каждом советском городе, заметно пополнились товарами. ГУМ, большое двухсветное здание, украсил свои витрины ярким венком из батиста, кооперативы загрузили их мешками сахара, пшеница и соли.

Частные лавки, где торгуют предприимчивые, хитрые люди, где с прежней ловкой расторопностью движутся услужливые приказчики, на вид значительно скромнее, однако продукты, не имеющие в государственных магазинах, здесь обычно находятся.

Среди частных торговцев есть и прежние, пышнобородые, в ватных картузах и теплых валенках-чесонокках, но еще больше молодых, одетых с незатейливой простотой, — бобриковый френч и яловочные сапоги, — из старых и опытных приказчиков, из опытных мастеров-кустарей.

Вот этот человек с одутловатым лицом, кудряво-опушенным «уланскими» баками, — владелец игрушечно-нарядного бакалейного магазина, — около пятнадцати лет был в этом самом магазине расторопным и усердным «малым»: носился с мокрой щетинистой метлой,

а по вечерам, когда подвыпивший хозяин заставлял его «ублажать» свое тосковавшее сердце, — шел «в присядку», по-женски качая плечами и дробно-напевая стыдливым бархатистым баритонем старинную плясовую песню.

Теперь хозяин, почти восьмидесятилетний старик, страшный, заросший огромной бородой табачного цвета, тяжело опирающийся на рогатый можжевеловый посох, заходит иногда в магазин своего бывшего слуги, долго пьет кирпичный чай с алебастрово-крепкими кусочками сахара и, благодаря за угощение, кланяется поясным великопостным поклоном.

Напротив, в магазине, где красуется над входом золотая женская туфля и армейски-начищенный сапог, торгует бледный человек в темной плюшевой шапочке, говорящий церковным, певучим и сладеньким голоском.

И он долго служил у своего хозяина — молодого купца, щедро и пышно проматывавшего золотое наследие дедов, всячески угождал ему, хотя частенько и запуская пропахшую воском руку в тяжелый магазинный ящик, до краев наполненный приятным матовым серебром...

Дальше, в центре площади, шумит частный трест «Содружество», объединивший прежних уездных «королей торговли», возглавляемых крупнейшим местным богачем, который с достоинством носит средневеково-рыцарскую, выхоленную «эспаньолку» и добротный голубой полшубок, когда-то, после Февраля, украшенный алым шелковым лепестком. Этот красивый «породистый» старик, пользовавшийся огромным успехом на гимназических святочных балах, был большим и убежденным либералом, сладко дремавшим после обеда под уютный шорох «Русских Ведомостей»...

Другой старый либерал, — иного характера и оттенка, — торгует «писчебумажными принадлежностями», — лавка его находится на углу главной, раньше Московской, а теперь Советской улицы, в собственном, только что отстроенном, доме.

В его доме большие, светлые комнаты, итальянски-широкие окна, два дубовых книжных шкафа и радио-

трубка в кабинете хозяина, мраморная раковина умывальника в прихожей, чистейшая ванна с ослепительными зеркалами — в нижнем, тропически-жарком земляном этаже.

— Прочно, удобно и практично, — говорит хозяин, проводя по комнатам своего гостя, губернского журналиста, который задерживается у книжных шкафов и долго любуется видом с веранды, выходящей в сад, — за садом, в просветах румяной листвы, великолепно белеют солнечные городские дома...

«Как, однако, он сумел сколотить такой дом», — думает гость, смотря на хозяина, блистающего сплошь золотыми зубами и неяркой, бледно проглядывающей на висках, седной.

— Дом у меня удачный, — рассказывает хозяин, как бы угадывая мысли гостя, — и, главное, выстроен почти без денег.

Он, оказывается, продал старую, негодную — по его выражению — «хибару», стоящую на краю города, заранее сдал верх будущего дома зубному врачу, получив плату вперед за десять лет, — и вот странствует по просторным комнатам, слушает печальную арию Игоря на сцене Большого театра, шуршит по вечерам страницами мудрой энциклопедии.

Во время разговора он вдруг извиняется перед гостем, — «простите», вежливо говорит он, чуть наклоня голову, — и негромко кричит в открытую дверь:

— Параша, ах дела с самоваром?

— Самовар готов, — отвечает, появляясь в дверях, жена, — невысокая, гладко причесанная женщина, с широким деревенским лицом, в простом, гороховом ситцевом платье.

И он переводит гостя в столовую, усаживает его в покойное плюшевое кресло, сам садится за самовар. В столовой, как и во всех комнатах, просто и «как уратно»: небольшой резной «буфет», светлые соломенные шторы, над столом некричащее «панно», две гравиры, изображающие фрукты и малиновых фазанов с раскинутыми крыльями. А на столе голубоватые граненые стаканы, крылатые вазочки с печеньем, по-уездному вкусный пирог с

блинами, фаянсовый чайник под кружевной вязаной салфеткой, — все прочное, крепкое, чистое, сверкающее.

За чаем хозяин рассказывает о себе, о своей жизни, — рассказывает он чуть иронически, покусывая черный, почти смоляной, ус, — с явным и видимым удовольствием...

И гость, слушая его, думает:

«Да, да, несомненно, талантливый и умный мужик»...

Этот крепкий, пятидесятилетний мужик, сидящий перед ним, родился и вырос в деревне, в поле, — в детстве был подпаском, в ранней молодости — грузчиком, разгружал барки с пахучим тесом и меловыми мучными мешками, а затем неожиданно стал торговать газетами, — ходил по городу с кожаной сумкой через плечо, читал урывками те немудрые книжки с размаляванными обложками, что читали сотни русских самоучек.

Постепенно сумка сменилась книжной лавкой... гость представил шмльную и легкую лестницу из книжных полок, тепло железной печки, белый, зимний день за окнами... лавка превратилась в магазин, в магазин сгали заходить студенты и реалисты в темно-синих шинелях, говорили о литературе, приносили рукописи.

Хозяин магазина, ставший уже издателем газеты, принимал рукописи, говорил:

— Пойдет, — две копейки за строку... деньги не задерживаем.

Первая местная газета имела в городе и уезде широкий успех, редактировал ее талантливый поэт, Миша Горбатов, — сколько таких неведомых талантов погибло в российской провинции! — несчастный и милый туберкулезный юноша, с подчеркнутой традиционностью носивший траурную рубашку, высокие сапоги и длинные, небрежные, синевато-темные кудри.

Иногда газета неожиданно прекращалась, — и редактор, и издатель записывали: редактор по-интеллигентски — истерично, с покаянными импровизациями, со слезами под десно табачной гитары, а издатель — с мужицкой тяжестью, с беспашашным буйством, с многодневной летаргией в земском «изоляторе»...

Бледный поэт уже давно пропел свои земные строки, написав за несколько часов до смерти:

Я умру на заре, — только солнце начнет
Золотисто-пурпурные сети плести, —
Встречу с тихой улыбкой последний восход,
И скажу еле слышно: прости!..

И давно не пьет хозяин, во время революции или разгружавший попрежнему пахучие барки, или служивший корректором, а в удобный момент снова ставший за прилавок, чтобы с великой настойчивостью «приколачивать» разглаженный бумажный рубль крепкой медной копеечкой...

— Я живу скромно, надеюсь не набога, а на свою голову, — бронзово улыбается он, допивая шестой бокал крепчайшего чая.

Гость, оглядываясь, нигде не видит ни одной иконы, припоминая, что на одном из шумнейших диспутов он слышал трезвую антирелигиозную речь своего собеседника. Припоминается гостю и другое, — рассказы работорговцев у «издателя» журналистов о том, как он, издатель, «эксплоатировал» их, держа на «полном пансионе», как его жена, хитрая и злая Прасковья Сергеевна, посылала бледного поэта в лавку... за спичками, заставляла ставить самовар.

И, прощаясь, гость снова думает:

«Тип, несомненно, любопытный, стоящий»...

II

Солнце уже прошло половину недлинного осеннего дня, ярмарочный базар в разгаре.

Уже давно гудит, рокочет гулкая машина в трактире, звенят глиняные свистушки с огненной петушиной головой, плачет-заливается гармония, слепяще расписанная жестяными уборами, и с испанской беззаботностью вздрагивает бубенчиковый бубен цвета замазки в ловких руках дикой русской Карменситы.

Грустно поет, вспоминая забытые бессарабские степи, одинокий шарманщик. На пыльном ковре колеблется тонкий, похожий на змею акробат. Роскошный бразильский попугай молчаливо сторожит таинственный ларец из воскового кипариса.

Старая цыганка, волоча по мостовой павлиний хвост юбок, лукаво смущает стыдливых девиц:

— Положи на ручку, я судьбу скажу!

Хромой парень, потряхивая улыбающимися картонажами, зазывающе кричит:

Московская новинка —
Живая мурзилка...

И, заставляя приплясывать, бить в ладоши картонную куклу, басовито возвышает голос:

Арригинальный подарок детям,
Молодым людям,
Девицам
И прочим лицам...

В пролете расхлынувшей толпы, мелко, боком, трусит некрупный каштановый медведь, — его ведет на огромной тяжелой цепи парень-сергач в щегольски заломленной папахе, в новых рубчатых лаптях, с длинным индейски-загорелым лицом.

— Мишух, плясни трепачка, — говорит мужик из толпы, осторожно касаясь выгнутой спины зверя.

Зверь быстро оборачивается назад, мотает крутой, лобастой балкой и, раздувая шагреневые ноздри, тянется к мужику, — тот дразнит его пустой, хлебно-пахучей, зеленоватой бутылкой.

За медведем вьется лента визжащих ребятишек.

Сизо-обветренный охотник из заволжья медленно движется в толпе, густо обвешанный пуховыми, крапчатыми рябчиками.

И весь день свистяще кружат над толпой лазурные голуби с прохладно белеющими крыльями, и пароходы гудят у берегов по-скитальчески тревожно, по-осеннему долго и грустно — прощально.

На Волге продают капусту, — огородник, подбрасывая пергаментно-хрустящий вилок, говорит с улыбкой: «Сахарная!» — продают рыбу, неуклюжих, тяжелых лещей, матово-пятнистых, скользких стерлядок. На берегу — огромным кочевьем разбросались распряженные повозки телеги, кое-где под телегами бледно сияют костры, — мальчишки, оставленные при лошадях, пекут под замшевым пеплом крупную

взвешенную картошку, — пахнет кругом дегтем, дымом, славным, осенним днем!

Немало повозок раскидано и во дворе старого купеческого особняка, здесь же, около берега, на краю базарной площади. Над воротами особняка старая вязь дедовских времен: «Добро пожаловать», в особняке, в высоких покоех, когда-то сплошь заставленных зеркалами и скорбными византийскими ликами, — деловитая чистота, звон чайных стаканов, масса мужичьих лиц. Здесь Дом Крестьянина, скромная гостиница и при ней агит-театр. На сцене — урожай в образе древнеславянского Деда, девушки в лентах, подносящие ему свежий каравай, величающие его тихими и ласковыми песнями, рядом с девушками — городской рабочий, изображающий Прядалог, а в стороне — мрачный кулак с хищным, орлиным носом...

Под окнами дома лотошники с янтарными вафлями, продавцы «воздушных» шаров, тонко дымящиеся палатки, где с треском жарят румяные, масляные, легкие «пышки». Тут же, в сторонке, несколько книжных лавочек, несколько новизнок, затерявшихся среди тяжелейших монументов Салиаса, Мордовцева, Крестовского. Однако в этих безотрадных бумажных грудях можно найти иногда дорогой и редкий алмаз — какую-нибудь «Тетрадь размышлений щастливого мудреца», прелестный томик в блеклой молочной парче, или издававшийся когда-то на перевозских берегах «Уединенный Пошехонец», наивный старомодно-жантильный журнал, украшенный гравюрами, изображающими женственного купидона и мужественную Диану с тяжким римским котлетником.

А по соседству с книжными лавочками прохаживается некий «франт» в старой, сдвинутой на бекрень столичной фетровой шляпе. «Франт», близко подходя к прохожему, подвыгившему мужику или молодому человеку с перекинутой через плечо срезковой тросточкой, ернически играет бровью и таинственно шепчет:

— Карточек пахабных нежезательных?..

Глухо и тяжело ухает барабан, радужно и жалобно поет инвалид, пе-

ловко протягивающий изувеченную руку, бодро, звучно ржут лошади, — на лугу, за кладбищенской рощей, великим скифским становищем раскинулся конный базар. Лошади, — и атласные, и сизые, в крупных вишневых пятнах, и траурные, с маслянисто-высушенными гривами, — сверкают, косят влажными маслянами глаз, беспокойно переступают статными точеными ногами и иногда кружат по лугу широкой казачьей рысью, нервно вздрагивая под каблуками седока.

Смуглые, смоляно-бородые цыганы, щеголяющие гарусными платками на шее, зорко присматриваются к лошадям, пылливо оглаживают их гривы, долго, искоса, смотрят зубы и долго, лстя и ругаясь, длинно сплевывая через тонкие поджатые губы, торгуются с хитрыми и молчаливыми мужиками.

Мимо, вдоль кладбищенской ограды, льется все тот же человеческий поток, — тянется на ярмарку мастеровая слобода «Поповка», — женщины с детскими на руках, их мужья, портные или сапожники, все по-праздничному нарядные, в плиссированных юбках, в широких матросских штанах. А на кладбище голубеют церковные главы, с милой беззаботностью пересыщаются синицы, белеют мраморные памятники, гладкие дубовые кресты, мирно, просто, никого не пугая, — и мирно отдыхают, закусывая пряниками и колбасой, кучки прохожих на сухих заросших могилах.

Ярмарочный шум кажется откуда-то далеким, нестройным, гложущим, — а этот шум в наступающих сумерках достигает своей предельности, своей особенно певучей нестройности.

Звоняше кружатся карусели, слепят их стекларусная бахрома, покачиваются легкие шары лунного цвета, мчит-ся куда-то сказочная деревянная колница, и баюкающе подрагивают просторные, широкие колыбели на недвижных, нетревожащих цепях.

Щеголеватый юнша в синей девичьей толстовке показывает, улыбаясь, своей спутнице на освободившуюся глубокую качалку.

— По-моему, принципы диалектического материализма не препятствуют поездке на карусели?

Спутница мнется, смущается, оправляет румяную повязку на голове, считает что-то с чернильного рукава кожаной куртки.

— А я, право, не знаю...

Юноша продолжает шутить:

— Я думаю, что ваша классовая сознательность останется непогрешимой?

Девушка соглашается, опускается в качалку, пряча лицо в высокому воротнике куртки... Рядом с ней садится невозмутимый спутник, продолжающий свою «принципиальную» беседу.

Мужик-бородач ловко вскакивает на коня и, весело разглаживая лучезарную бороду, по-мальчишески заодно подмигивает двум улыбающимся девицам.

— Ишь, старый дурак,—ворчит его жена, злая и обиженная баба, тонко поджигая ядовитые, бледные губы.

— А ты, бабка, не ругайся, а радуйся, — наставительно смотрит на нее бледный, прыщавый парень, — гляди, он прыгает, как козел... молодится...

Вокруг каруселей, по всей площади, почти до самых кладбищенских ворот, тянутся шатры с самоткаными пучежскими полотнами и вяземскими сластями, а среди них балаганы, лотереи, бешеные лодки, скрипящие, падающие вниз, качели.

Много ножей и колец скатывается, не задевая цели, с расписной балаганной стены, много игольчатых пуль бьет из длинного пистолетного дула в раскруженное, алое пятно, манящее зрителей дремлющей на полке гармонией или важно серебреющим тульским самоваром.

И звучно щелкают в «тире» выстрелы монтекристо, — красивой легкой винтовочки...

Стреляет «дама с собачкой», женщина-спортсменка, всегда водящая с собой великолепного, шелково-пушистого сеттера-ирландца. Она привычно, плавным охотничьим движением вскидывает винтовочку, мягко нажимает на спуск, и, вместе с хлопком выстрела, шумно перевертывается картонный заяц, вертятся, гудят жестяные мельничные крылья. После же последнего, самого трудного выстрела, широко распаивается лиловая пирамида, — и кокетли-

во появляется вдали картина, на которой изображена обнаженная женщина с черепаховым зеркальцем в руках.

— Bravo, молодец, мадам! Дострелялась бабочка до дела...—шутят в толпе, через которую спокойно проходит, сдерживая нервничавшую собаку, довольная дама в серой куртке с меховыми отворотами, в картинно-альпийской шляпке туристки.

На подмостках балагана появляются артисты, напоминающие о бродячих комедиантах древней Италии,—бритый, строгий юноша с большими холодными глазами, изумленная девушка в бархатных туфлях, с кружевной шалью на плечах,—русские Арлекин и Колумбина, толстый старичек-комик, похожий на католического монаха, мечтатель с пепельными кудрями, тихо плачущий на скрипке.

В другом балагане—старинный лубок: хрипящий «петрушка», великорусски-разряженные боярышни в блистающих кокошниках и, рядом, плясунья с крахмально-вымытыми плечами, боксер в полосатом трико, тупой и ражий детина с перекошенным ртом.

— Граждане, касса открыта... продажа билетов свободна, — кричит, кривляется комик под меланхолический плач скрипки.

— Интереснейшее представление,—раздельно выговаривает хозяин соседнего балагана, благообразный и чинный папаша, показывая на ходячие плечи нарядной, смеющейся плясуньи.

Страшно глядит выпуклыми глазами изображение женщины-паука на дверях палеоптикума. Над входом в зверинец одиноко грустит марабу, и подвижно прыгает вертлявая обезьянка в юбочке балерины. Парусиновый купол цирка огромно возвышается над площадью,—вечером цирк соберет шумное множество людей, которые с восторгом будут хлопать и наезднице, танцующей на крупе ошалелой лошади, и оперному рыжему «гудошнику», и притворно-страстной схватке «борцов-профессионалов», особо выделяя стройного, оливково-смуглого грузина классической красоты...

И все пестрее, все праздничнее ярмарочный шум,—понемногу близятся сумерки, лучисто тонет опаловое солнце

за кладбищенской рощей, карусели сказочно озаряются ожерельями огней, и бледными, розовыми лепестками качаются сторожевые бакены на волжских волнах...

* * *

В сумерки от городской пристани отваливает небольшой быстрый пароход...

Пароход, переполненный народом, часто и долго гудит, останавливается почти у каждого селения, тихо и мирно лежащего на прибрежных равнинах в багрянце заката, в золоте прощальных осенних лесов. На пароходе разноцветная теснота, хоровая девичья песня,—девки поют протяжно, старинно, как на капустниках,—и все тот же яблочный запах, аромат хрустальной волжской осени. За бортами парохода, по сторонам, синий покой вод, полутемные берега, на берегах—фабрики, пламенные сети и соты огня, великий гул горячей и масляной стали.

Около фабрик призрачно белеют в полутьме пахнущие тесом строения,—воздвигаются новые рабочие поселки,—а за фабриками, по пустынным горным скатам, темнеют огромные земляные норы,—здесь целыми днями звенит и поет серебряная, острая кирка, уходящая в каменную приволжскую глубину на поиски драгоценного фосфорита.

И отходит, туманится, тает позади неярко озаренный город.

В старом городе в этот час все еще шумно и людно, вверх по Советской улице, мимо ярмарочной площади, несутся, с резиновой упругостью бьют

о мостовую извозчицы лошади, текут озабоченные людские потоки.

В этот час из города уходит, уносится поезд—в даль, в темноту, в ночь.

Поезд, как и пароход, переполнен народом, но здесь не поют песен,—мирно беседуют, сидя на вздрагивающих полках, острожно дремлют у окон.

За окнами неясно плывут леса, бегут, катятся, обвисают на деревьях ранние звезды, и рассыпчато трубит паровоз, мгновенно стихающий на полустанках. На полустанках высыплют мужики, идут по звонким дорогам в молчаливые деревни, в свои соломенные логовища, в убогие избы, напоминающие о древней Руси, о легендарных временах Гостомысла...

Паровоз снова гудит, крепко и сильно вздрагивает, порывисто дышит рубиновым жаром,—мчитя и мчитя в даль.

Люди, дремлющие в вагонах, увидят наутро белизну и синеву столицы, ее узорное, каменное великолепие, а здесь, за полустанками, над древней лесной равниной, опять будет стоять звонкая осенняя тишина, будет негромко, с грустью и лаской, играть на берестяном рожке смуглый подпасок, и сладко будет пахнуть смолой, вялыми листьями, поздними ягодами—туманным, синим бисером, рассыпанным по моховым болотам...

Но и эта тишина—непрочна: по моховым болотам уже целое лето звенит переключка рабочих голосов, стучат лопаты, рокочут, бурлят, жадно ворошат черничную муть земли железные чудовища, извлекающие торф и творящие Свет.

Гор. Плес, сентябрь 1927 года.

Книжное обозрение

1. „ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ“. №№ 1—6 за 1927 г. Д. Горбова.— 2. А. УЛЬЯНСКИЙ. Пришедшие издалека. А. Лежнева.— 3. Л. ПАСЫНКОВ. Голубой цветок. Як. Бенни.— 4. ИВАН ВОЛЬНОВ. На рубеже. Виктора Гольцева.— 5. А. ЧАПЫГИН. На лебяжьих озерах. Н. Замошкина.— 6. Б. ЭЙХЕНБАУМ. Литература. Л. Якобсона.

«Печать и Революция». Журнал литературы, искусства, критики и библиографии №№ 1—6 за 1927 г. ГИЗ. М.—Л. Стр. 240 + 240 + 240 + 240 + 252 + 252. Тир. 4.000—4.500 экз. Цена отд. книги 2 руб.

«Печать и Революция» — бесспорно один из культурнейших наших журналов. Более того, это единственный большой журнал, который дает серьезную проработку всех вопросов культуры, волнующих широкие круги квалифицированной советской интеллигенции. Другие «толстые» журналы либо отводят главное место художественной литературе, отодвигая теоретический материал, по необходимости, на второй план, либо обслуживают почти исключительно специалистов в той или иной области культуры. В отличие от них «Печать и Революция» вот уже семь лет держит культурного советского и партийного работника в курсе всех выдающихся явлений в области литературы, искусств, философии, наук о природе и об обществе, давая о них систематические обзоры, монографические статьи и тщательно проработанную критическую библиографию. Тем самым журнал заполняет существенный пробел в нашей журналистике и входит в состав советской периодической печати неотъемлемой частью. К этому необходимо добавить,

что, благодаря умелому руководству, журналу удалось сгруппировать вокруг себя и крупных партийных работников, и теоретиков-марксистов и ряд виднейших специалистов.

К этому нужно прибавить исследовательскую молодежь из Раниона, Ком-академии, Гахна, Института Красной Профессуры. Это обстоятельство как нельзя более содействует компетентной осведомленности журнала во всех сколько-нибудь значительных областях «идеологической надстройки» и живому интересу поднимаемых проблем.

Переходя к содержанию 6 книг журнала, вышедших в 1927 году, мы видим в них ряд чрезвычайно ценных статей и богатый библиографический отдел.

Сперва о библиографии: в 6 книжках помещено около 500 рецензий о книгах по разным отраслям знания. Число это нельзя не признать значительным, если принять во внимание, что далеко не все книги, выпускаемые на рынок, нуждаются в рецензировании со стороны такого журнала, как «Печать и Революция». Библиография здесь больше, чем где бы то ни было, должна отбирать из всей книжной продукции лишь то, что является в каком-либо отношении примечательным. Не только книжные работники в узком смысле слова (издатели, редакторы, работники книгораспространительных аппара-

тов), но и специалисты разных областей, заинтересованные в том, чтобы их коллективное творчество в науке или искусстве вызывало критическое рассмотрение, не могут не прислушиваться к авторитетным оценкам и разборам «Печати и Революции». Перед нами не библиография в узком смысле, но критическая библиография.

В 6 книгах журнала помещены статьи по следующим вопросам:

- 1) Политика и общественные науки — 12 статей.
- 2) Вопросы печати — 7 статей.
- 3) Литература — 32 статьи.
- 4) Искусство — 17 статей.
- 5) Науки о природе — 1 статья.
- 6) Психология — 1 статья.

Наиболее обширно, таким образом, в статейном отделе представлены вопросы искусства и литературы.

Отдел искусств в журнале представлен богато и включает целый ряд весьма ценных и, что особенно важно, систематически-обзорных статей. При отсутствии специального журнала по искусству — этот отдел в «П. и Р.» следует признать вполне уместным.

Не уступая отделу искусств в качественном отношении, отдел литературы превосходит его количеством статей почти вдвое. Темы их разнообразны и в подавляющем большинстве случаев увлекательны. История литературы — русской (4) и иностранной (2), теория литературы (4), материалы (4) и, наконец, статьи о современной литературе — русской (10) и иностранной (8) — таков обильный и разнообразный итог 6 книжек журнала в этой области. Расшифровав эти цифры, мы приходим к заключению, что и здесь наиболее ценна та группа статей, в которую путем систематических обзоров внесено больше всего последовательности. Несколько случаев подбор статей по истории литературы: Свободов — «Из ранних заметок Горького-публициста»; Цявловский — «Письма Пушкина в издании Госиздата»; Черняк — «Новая легенда о Пушкине» (о книге Вересаева «Пушкин в жизни»); Фриче — «Проблема русского романтизма» (о ряде работ последнего времени, связанных с этой проблемой).

Наиболее ценной группой статей по вопросам литературы является в «П. и

Р.» та, где отчетливость линии осуществляется с наибольшей полнотой в виде руководящих статей, статей дискуссионных и обзоров. Это именно статьи по методологии литературы и статьи литературно-критические. Именно здесь, наряду с такими же статьями по искусству, — главная ценность журнала (как бы ни были любопытны работы на другие темы, помещаемые на его страницах). Такие работы, как ст. Фохта — «Проблематика современной марксистской истории литературы»; Лелевича — «О формальных влияниях в пролетарской поэзии»; Вяч. Полонского — «На пути к единому литературному фронту», — дают — каждая — исчерпывающее развитие некой острой темы в области литературной политики (Вяч. Полонский), методологии литературоведения (Фохт), или определенного литературного течения (Лелевич). Именно такого характера статьи должны, как нам кажется, составлять главнейший фонд журнала во всех его отделах. Именно в них журнал более всего разрешает основную стоящую перед ним задачу: ориентировать читателя в основных злободневных вопросах культуры путем информационно-критических обзоров определенного ряда явлений и увязки этого ряда со всем комплексом идей нашей строительной эпохи.

На этом основном фоне приобретают особое значение статьи дискуссионного характера. Им, быть может, следовало бы уделить даже больше внимания, поскольку дискуссия является одной из самых динамичных форм уяснения предмета (впрочем, не лишенной своих недостатков). Следует отметить, что уже перечисленные статьи литературного отдела являются, в сущности, дискуссионными, и это чрезвычайно повышает интерес к ним. Этой же дискуссионной закваской отличаются: статья-обзор Дивильковского — «Юн-сектор литературы» (о комсомольских поэтах и прозаиках); критические этюды А. Лежнева — «И. Сельвинский и конструктивизм» и «Человек и его горести» (о Вс. Иванове, Лидине, И. Соколове-Микитове); статьи: Мустанговой о Михаиле Булгакове, Красильникова о Б. Пастернаке, Горбачева о Н.

Тихонове, В. Полонского о повести Машкина («Луна с правой стороны»), Пакентрейгера — «По следам зверя» (о творчестве Вс. Иванова).

В этот же ряд становятся и такие статьи этого отдела, как статья Н. И. Замешкина — «К вопросу о творчестве гениев и безумцев» (где очень значительная проблема находит продуманное освещение), и чрезвычайно любопытная (при всей спорности) «дискуссионная» статья Арватова — «О формально-социологическом методе», которую следует разглядывать, как ответ на некоторые положения статьи Фохта.

Меньше последовательности в отделе критических статей по иностранной литературе. Об этом приходится пожалеть, тем более, что «Печать и Революция» — едва ли не единственный журнал, имеющий возможность уделять иностранной литературе внимание. И здесь, впрочем, мы видим ряд интересных очерков. Наилучше освещена французская литература: статьи Песиса — «Писательские настроения в современной Франции» и Риза-Заде — «Достоевский и современная французская литература» значительны и с фактической и с исследовательской стороны. Непосредственно к теме о писательских настроениях во Франции относится и любопытная статья Ж. Дюамеля — «Писатель и события», а также его автобиография.

Заканчивая характеристику литературного отдела журнала, отметим очень интересную статью Нечкиной — «Капитал Маркса, как художественное целое» и отдел литературного архива, где помещены материалы по Тургеневу из Онегинского Архива, письма Толстого к Фету и т. д.

Цельно выдержан в журнале отдел статей, посвященных вопросам печати. Этюды Смирнова-Кутаческого — «Язык и стиль современной газеты» и Дивильковского — «Профиль «Правды» к десятилетию Октября», любопытные наблюдения Шафира над «разоблачительными приемами «Правды» в 1917 году», построенная на интересном материале статья А. Наеимовича — «О «стенгазетном юморе» и литературно-критический портрет Л. Сосновского-

фельетониста, сделанный Журбиной, — таков материал этого отдела. Как видно из одного перечня статей, отдел этот далек от всякого академизма. Темы его волнуют почти злободневной остротой. К этому основному — боевому — материалу примыкают: обстоятельный обзор В. В. Попова — «Литература по полиграфическому искусству за десять лет» и проект Вольпе и Рейсера — «К вопросу о принципах издания полного собрания сочинений В. И. Ленина».

Из наук об обществе полно представлена история. Журнал ведет специальные обзоры: исторических журналов (Клевенский и Пионтковский), литературы об Октябре (Пионтковский), о Парижской Коммуне (Р. Авербух). Далее, ряд статей представляют собой отклики на те или иные выдающиеся события международного значения: П. Преображенский — «Пуанкаре против Извольского», Брагинский — «Из литературы об английской стачке». Солидные обзорные статьи посвящены значительным явлениям внутренней жизни нашей страны. Таковы: «Обзор литературы по вопросу режима экономики» Вад. Смушкова, «Комсомольский быт, как он есть» Ипполита, «Комсомол на переломе» С. Камрада. Интересно сообщение К. Самарцева об эмигрантском житье-бытье («По ту сторону грани») и т. д.

Следует признать, что и в общественном отделе журнал избрал правильную линию. Ввиду колоссального разнообразия вопросов, выдвигаемых жизнью в этой области (от комсомольского быта до политики империализма включительно), погоня за всеохватывающей полнотой была бы здесь едва ли уместна. Метод откликов — обобщенных и продуманных, — к которым прибегает журнал, гораздо лучше разрешает стоящую перед ним задачу держать своего читателя в курсе всех важнейших явлений и углубленно ориентировать его в разветвляющихся процессах нашей сложной эпохи.

Нельзя не отметить прекрасную внешность журнала и то обилие от лично выполненных иллюстраций, которое делает его художественный отдел не только средством теоретиче-

ского ознакомления с вопросами искусства, но и своего рода музеем наглядных пособий, четких, убедительных и к тому же находящихся перед глазами во время чтения статьи.

В заключение нужно установить, что журнал «Печать и Революция» избрал правильный путь к разрешению стоящих перед ним задач, — путь, по которому журнал должен идти и в дальнейшем.

Опыт, накопленный журналом за целый ряд лет, и положение его, как единственного критико-библиографического органа с широко поставленным отделом статей и обзоров — обеспечивают ему успех.

Д. Горбов.

А. Ульяновский. — «Пришедшие издалека». Рассказы. Изд. «Прибой». Стр. 163. Ц. 1 р. 10 к.

Рассказы Ульянского имеют все, в сущности, одного и того же героя, хотя называется он почти каждый раз по-разному. Это — солдат, возвращающийся в разгар революции на родину, — с приключениями и опасностями. Эти приключения и странствия его по российским просторам, охваченным пожаром гражданской войны, и составляют содержание рассказов. В них много общего. Повторяются даже такие подробности, как то, что герой похож на еврея (что доставляет ему добавочные затруднения и неприятности). Таков Прошка в «Возвращении», Трын в «Западне», Николай в «По водам».

Герой Ульянского — ни большевик, ни белый. Это — человек, нечаянно попавший в водоворот событий и пассивно отдающийся их течению. Он всюду является действующим лицом «поневоле» и потому, несмотря на все приключения, выпадающие на его долю, скорее может быть назван наблюдателем, а не участником событий. Такое положение «героя» имеет для писания свои неудобства, но и некоторые преимущества. Пользуясь такими «нечаянностями» приключениями и «сторонним» положением героя, можно было бы дать широкую картину той эпохи (герой играл бы только роль сюжетного стержня, как, напр., в «Солдате Швейке»

Хашека). Автор этого не сделал. Он пишет живо, не шаблонно. Он наблюдателен и дает ряд характерных, запоминающихся штрихов и людей (мадам Шлосс, Ривка из «Западни», «смелый лавочник», искатель приключений и «атаман» берлины Семен и др.). Но то, что у него было и что он хотел сказать, он разбил на ряд рассказов (иногда полуочерки) с ограниченным полем действия и в значительной степени повторяющие друг друга. Это в сильнейшей мере притупляет их действие. Почти каждый рассказ в отдельности и свеж и остер. Взятые вместе, они подавляют друг друга сходством.

Но недостатки книги Ульянского не мешают ей все же быть интересной. Если к тому же принять в расчет, что рассказы эти написаны, по всей видимости, автором молодым, то они начинают звучать, как определенное обещание.

А. Лежнев.

Л. Пасынков. — «Голубой цветок». Роман. ГИЗ. М.—Л. 1927. Стр. 292. Цена 2 руб. 25 к.

Разглядеть и раскрыть подлинную близость к нам современного Востока, внятно рассказать о перекличке судеб и целей его с нашими судьбами и целями — благодарная задача для современного писателя. Книга Л. Пасынкова — первый опыт романа о настоящем Востоке, романа почти совершенно освобожденного от традиционных штампов «колониальной» литературы, обременяющей по сей день и читательское воображение и издательскую совесть, если только последняя существует в природе.

Аул Ахты; селение Борч, затерянное среди скал, меж крутизной и небом; джарах (врач) и дочь его Хаджа — девушка, рванувшаяся из грозного и душного царства кровной мести, безрадостного труда, власти и суеверий стариков, окаменелых, как скалы, среди которых они родились... Горец Кериб и искусный шарлатан, лжец и мошенник местер Джебрайл из Аварии, соревнующий в мошенничествах с акробатом — бродягой по восточным базарам; наконец, новые люди Востока (особенно Закарья), для

которых революция поистине явилась вторым рождением. Вот мир, изображенный автором.

Рассказ о наивных и трагических поисках редкого и драгоценного «голубого цветка» — кандалаша, придающего необыкновенной нежности окраску коврам, переплетенный с повестью о любви Хадижи и Кероба, служит лишь занимательной фабульной основой, которая позволила Л. Пасынкову с большим и убедительным разнообразием показать быт горного Дагестана. Центром романа является трудная жизнь и смерть Хадижи — ее напряженные поиски выхода из заколдованного круга, в котором вращается жизнь восточной женщины. Тут автор нашел суровые краски и слова, рожденные не только дарованием, — жаром сердца.

Л. Пасынков удачно сочетал романтическое обличье Востока с его реальным содержанием, и имеющиеся в его книге некоторые композиционные излишества легко могут быть оправданы трудностью задачи и новизной — для русской литературы — самого жанра. Стилистически роман несколько обременен восточными словами, а иногда (правда, редко) и неудачно построенными фразами.

Двенадцать неплохих рисунков А. Силина оживляют опрятно изданный текст.

Як. Бенни.

Иван Вольнов. — «На рубеже».

Рассказы. 1912—1914 г.г. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1927 г. Стр. 232. Тир. 7.000 экз. Цена 1 р. 80 к.

Читатели давно уже знакомы с творчеством Ивана Вольнова. Это — писатель, несомненно, одаренный. Он пишет уверенно, ровно, но не очень ярко. Язык его — простой, не лишенный образности. Он не создает плохих, достойных «ругани» вещей, но ему не удастся и поразить читателя, глубоко взволновать его душу, потрясти чем-нибудь неожиданным.

Рецензируемая нами книга, куда вошел ряд старых рассказов Вольнова и повесть «На отдыхе», отличается всеми этими достоинствами и недостатками.

Основной темой служит эпоха социальной и политической реакции, наступившей вслед за революцией 1905 года. С несомненной выразительностью и знанием действительности изображает он мрачную картину подавления крестьянских восстаний, разгул палачей-черносотенцев, стремящихся уничтожить все свежее, молодое, рвущееся к свободе и справедливости. Мы видим настоящих, невыдуманных людей, идущих каторжным путем, страдающих в тюрьмах, в обстановке, разлагающей волю, убивающей мысль и человеческое достоинство. Хорошо, что Вольнов создает свои произведения на реальной, фактической основе. Например, под именем Глазкова-костоправа (рассказ «Осенью») выведен известный своей жестокостью царский тюремщик Головкин.

Удачен рассказ «Давыд», в котором изображается человек, обреченный на бесприютное, одинокое существование. В разработке подобных тем сказалась неподдельная сердечность и жалость автора к обиженным судьбой. Он любит создавать контрасты между мерзкой жизнью, которую волей-неволей ведут люди, и непорочной жизнью природы. Что бы ни творилось на свете, все-таки каждой весной снова будет таять снег, ручьи залюют в оврагах, нежной зеленью зазеленеют лес и топки луговины. Очень любит Вольнов весну, и очень хорошо удаются ему эти небольшие лирические отступления.

К числу недостатков Вольнова относится неумение иногда закончить свое повествование. Например, рассказ «Осенью», обрываясь чуть ли не на полслове, приводит читателя в недоумение. Можно было бы, например, заключить этот рассказ в «раму», дать соответствующую «концовку». Аналогичную «недоделанность», тематическую незавершенность мы находим и в «Детях нужды».

Виктор Гольцев.

А. Чапыгин. — «На лебязьих озерах». Повесть. Изд. «Круг». М. 1927 г. Стр. 252. Ц. 1 р. 75 к.

Повесть начинается так: в лесном северном краю появляется некий ба-

рин, которого преследует во сне (а может быть, и наяву?) мужик с ножом. Барин в тревоге и злобе. Над ним повисло преступление страшного социального смысла, преступление барства. По соседству с бариним живет пьяница-охотник, лесной человек, который дом барина ненавидит, «как живое существо»... Общественный смысл повести и заключается в этом противопоставлении озлобленного, «окостеневшего в грехах» и блуде барина простому человеку. Противопоставление не сразу чувствуется. Основной замысел как бы завуалирован сложной фабулой и множеством мотивов. Среди этих мотивов есть один — мотив греха и покаяния, — который переходит у А. Чапыгина в мистико-символическое изображение жизни. Встречи барина со старцем, с лебедушкой-Надехой и др., видения смерти, пытка одиночества и пр. — в этих сценах сон и явь почти неразделимы. Почему же А. Чапыгин, художник-реалист, прибег к этому способу изображений? Отчасти это объясняется временем (1916 г.) написания повести, когда в литературе еще не был изжит символизм, когда барство было полно предчувствиями гибели и окрашивало свои предчувствия в мистические тона.

А. Чапыгин, следуя этой манере, замечательную по своей колоритности фигуру последнего барина, — кстати сказать, не новую в русской литературе, — осложнил «тайнами», которые затуманили барина, сделали его и с литературной стороны смутным. К тому же — совсем неожиданно — барин сходит со сцены, убитый Цапаяем, человеком с ножом, мстителем за социальную «обиду». Смысловая нагрузка, возложенная писателем на барина — эстета, чернокожника, циника и т. д., оказалась не по плечу ни тому, ни другому. Пожалуй, главному герою повести не достает биографии, которая сняла бы покров таинственности с него. И тем не менее чапыгинский барин, несомненно, содержит в себе главные литературные (ницшеанско-уальдовские, мистико-эротические) черты героя своего века.

Таинственному незнакомцу-барину противопоставлен в повести реальный мир угрюмого севера. Охотник Ваган — фигура совершенно эпическая, хотя и зараженная сомнениями, испорченная нищетой. Разбойник Цапай — исконный персонаж народного «справедливого» злодея. Картины охоты, ярмарки, пьянства и др. полны житейского смысла и красоты. Эта двуплановость и даже двойственность (здоровая народность и интеллигентский мистицизм) делают из повести произведение, хотя и оригинальное, но не вполне социально-устойчивое.

Душевная жизнь героев раскрыта в повести не полно, так как писатель пользуется не психологическим методом изображения, а штриховым, плоскостным. Но в иных случаях, когда, например, изображается жизнь природы и человека среди природы, — этот метод действует неотразимо сильно. Все страницы произведения насыщены народно-языковыми красотами и материалами народных поверий, которые А. Чапыгин искусно и целесообразно перелицовывает в материал собственно-литературный. Книга, действительно, открывает читателю мир, где «лес и дол видений полны...» (из Пушкинского эпиграфа к повести).

Н. Замощкин.

Б. Эйхенбаум. — Литература. Теория. Критика. Полемика. Раб. из-во «Прибой». Л. 1927 г. Стр. 302. Тир. 3.000 экз. Цена 3 руб.

Большая часть статей, вошедших в сборник, уже печаталась в других изданиях. Таковы: «Путь Пушкина к прозе», «Лев Толстой», «Ораторский стиль Ленина», «Судьба Блока», «В ожидании литературы» и др. В свое время они подвергались самой разнообразной оценке, а некоторые из них (например, статья «Как сделана «Шинель» Гоголя») долго служили предметом ожесточенных споров и дискуссий. Поэтому, вряд ли целесообразно было бы возвращаться к их анализу в короткой рецензии. Главный интерес сборника — в тех весьма немногих работах, которые здесь печата-

ются впервые: «Теория формального метода»¹⁾, «Лесков и современная проза», «О камерной декламации», «Литература и кино». Из них первая приобретает по самой теме своей совершенно исключительный, злободневный интерес.

Перед лицом «нового поколения» и «новых сложных вопросов», возникающих в связи с методологическим кризисом «формальной школы», один из наиболее выдержанных ее представителей считает своевременным подвести итоги своим достижениям. Как бы в ответ на несмолкаемые упреки, напр., в доктринерстве и методологическом фанатизме, автор «бьет отбой», указывая, что «никакой готовой системы или доктрины у «формалистов» не было и нет». Оказывается, что для них «характерен» не «формализм», как эстетическая теория, и не «методология», как законченная научная система, а только «стремление к созданию самостоятельной (!) литературной науки на основе специфических свойств литературного материала». Но, как известно, аналогичное «стремление» в меньшей мере одухотворяет и лучших представителей социологич. метода, и потому далеко неясно, что же остается «характерного» именно для данной школы. Повидимому, лишь тот особый смысл, который проф. Эйхенбаум вкладывает в понятие «самостоятельная литературная наука». «Вместо обычной, — пишет он, — ориентации на историю культуры, или общественности, на психологию или эстетику и т. д. у «формалистов» явилась характерная (!) для них ориентация на лингвистику». Этим, пожалуй, легко объясняется самое возникновение у нас формального метода, но для читателя остается непонятным, почему смену «ориентации» мы должны классифицировать, как «стремление к созданию самостоятельной литературной науки»? Главное

¹⁾ Эта статья появилась еще в 1926 г., только на украинском языке, в журнале «Червоныи Шлях», № 7—8.

же, автор не сумел или не хотел объяснить читателю, почему даже после крушения старых методов, на смену которым явился «формализм», последний необходимо должен и в дальнейшем играть первенствующую роль, несмотря на то, что мы имеем уже в настоящее время научно разработанный универсальный метод (социологический), который стремится разрешить и чисто формальные проблемы...

Не удивительно поэтому, что вся книга в целом и особенно анализируемая программная статья производят впечатление далеко не цельное, незаконченное, даже несколько двойственное.

С одной стороны, едва ли не большая часть тех принципиальных положений, которые автор излагает, как отличительные для данной школы, в действительности наукой давно установлены и, между прочим, положены в основу современного социологического литературоведения.

Но, с другой стороны, именно это обстоятельство наш автор особенно старательно замалчивает, и, продолжая сражаться с какими-то «ветряными мельницами», с методами акад. Котляревского, Овсяннико-Куликовского, Айхенвальда, которые уже почти не применяются, он, повидимому, искренно убежден, что косвенно наносит уничтожающие удары и социологическому методу...

Каково же после этого приятное изумление читателя, когда он неожиданно узнает в конце статьи, что и для «формалистов» (!!) центральная проблема истории литературы это — изучение литературы, не как явления языка, а как социального явления.

Чем объяснить такую явную неувязку между началом и концом статьи? Повидимому, такова уж «кривая» методологической эволюции проф. Эйхенбаума, которую все же нельзя не приветствовать, так как раньше или позже она неизбежно приведет к социологизму.

Лев Яковсон.

Содержание журнала „Новый Мир“

ЗА 1927 ГОД¹⁾

Романы, повести, рассказы:

1. **Аросев, А.** Две республики, повесть. X—66, XII—75.
2. **Большаков, Конст.** «Роза Ветров», рассказ. V—99.
3. **Вересаев, В.** Из детских лет, воспоминания. IV—88, V—113.
4. **Гладков, Федор.** Старая секретная, повесть. I—7, II—34, III—28.
5. **Гладков, Федор.** Пьяное солнце, повесть. VIII—22, IX—41.
6. **Губер, Бор.** Известная Шурка Шапкина, рассказ. VI—67.
7. **Евдокимов, Иван.** Борки и Овражки, рассказ. II—128.
8. **Иванов, Вс.** Листья, рассказ. IX—5.
9. **Караваева, Анна.** Голубая заводь, рассказ. XI—158.
10. **Катаев, Валентин.** Гора, рассказ. VIII—62.
11. **Лидин, Вл.** Белые ночи, рассказ. I—123.
12. **Лидин, Вл.** Отступник, роман. IV—5, V—5, VI—83, VII—93, VIII—101.
13. **Макаров, А.** Торжество Арлекина, рассказ. XII—146.
14. **Малашкин, Сергей.** Записки Анания Жмуркина, повесть. VI—38, VII—33.
15. **Мстиславский, С.** На крови, главы из романа. IX—78, X—102.
16. **Низовой, Павел.** Повесть о любви. V—59.
17. **Никандров, Н.** Знакомые и незнакомые, повесть. II—79.
18. **Никифоров, Георгий.** Степанида, рассказ. IV—79.
19. **Новиков-Прибой, А.** Ухабы, повесть. I—76.
20. **Пильняк, Борис.** Очередные рассказы. 1. Олений город Нара. III—58.

21. **Пильняк, Борис.** Очередные рассказы. 2. Поокский рассказ. III—64.
22. **Пильняк, Борис.** Китайская повесть. VI—5, VIII—69.
23. **Пришвин, Михаил.** Любовь, роман. I—131.
24. **Пришвин, Михаил.** Нерль, рассказ. VI—31.
25. **Пришвин, Михаил.** Зеленая дверь, роман. XI—85, XII—38.
26. **Романов, Пант.** Большая семья, рассказ. VII—79.
27. **Серафимович, А.** Дора, отрывок из романа «Борьба». XII—28.
28. **Сергеев-Ценский, С.** Живая вода, рассказ. IV—67.
29. **Сергеев-Ценский, С.** В грозу, повесть. IX—106, X—32.
30. **Соколов - Микитов, И.** Танакино счастье, рассказ. II—69.
31. **Соколов - Микитов, И.** Глушаки, рассказ. V—48.
32. **Соколов - Микитов, И.** Матросы, из «Морских рассказов». XI—110.
33. **Тихонов, Ник.** Рассказ с примечанием. VII—63.
34. **Толстой, Ал.** Василий Сучков, рассказ. I—48.
35. **Толстой, Ал.** Древний путь, рассказ. III—5.
36. **Толстой, Ал.** Хожение по мукам, роман. VI—5, VIII—5, IX—22, X—5, XI—41, XII—5.
37. **Федорченко, Софья.** Народ на войне. III—82, IV—106, VI—119.
38. **Шагинян, Маризтта.** Вахо, рассказ. X—136.
39. **Ширяев, Петр.** Цикута, повесть. IV—36.
40. **Шишков, Вяч.** Пурга, повесть. II—5, III—105.
41. **Яковлев, Александр.** Семка, рассказ. XII—120.

¹⁾ Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские—страницу.

П о э м ы :

42. Данилов, Мих. Пост на Чорохе. XI—190.
 43. Пастернак, Бор. Лейтенант Шмидт. II—29, III—22, IV—30, V—39.
 44. Сельвинский, Илья. «Уялаевщина», отрывки из поэмы. I—72.
 45. Сельвинский, Илья. Бриг «Богородица морей». X—26.
 46. Сельвинский, Илья. Ход коня. XII—67.
 47. Уткин, Иосиф. Милое детство, гла; ва из поэмы. XI—82.

С т и х и :

48. Александровский, В. В старь. II—127.
 49. Александровский, В. Тише, сердце! Не бейся так звонко... VI—66.
 50. Алтаузен, Джек. Кремлевская стена. IX—138.
 51. Алымов, Сергей. Порог Китая. II—140.
 52. Алымов, Сергей. Здесь, в Китае... VII—100.
 53. Асеев, Ник. Песня. I—130.
 54. Багрицкий, Э. Контрабандисты. III—56.
 55. Багрицкий, Э. Бессонница. V—56.
 56. Багрицкий, Э. Папиросный коробок. XII—35.
 57. Безыменский, А. Из цикла «Люди». 4 стихотворения. V—96.
 58. Безыменский, А. Всенародное покаяние. XII—160.
 59. Берендгоф, Ник. В пути. VIII—68.
 60. Бродский, Д. Баллада о маяке. V—58.
 61. Бродский, Д. Осенняя поэма. X—146.
 62. Василенко, Вл. Ночь. VIII—59.
 63. Герасимов, Мих. Все чаще я завод весильный. VII—91.
 64. Герасимов, Мих. Зимнее. VII—92.
 65. Голодный, Мих. Поэту. VI—65.
 66. Голодный, Мих. Приднепровье. VIII—136.
 67. Голодный, Мих. Песня голодных. IX—77.
 68. Голодный, Мих. Романтическая ночь. X—64.
 69. Голодный, Мих. Песня борцов. XII—119.
 70. Данилов, Мих. Шинель. I—122.
 71. Данилов, Мих. Матросская песнь. VII—29.
 72. Дементьев, Ник. Как птицы, которые все покидают. IV—87.
 73. Дружинин, Павел. Ярмарка. II—126.
 74. Дружинин, Павел. Весенние стихи. V—98.
 75. Дружинин, Павел. Песенка. VIII—60.
 76. Жаров, А. О садовнике и о плодах. I—164.
 77. Жаров, Ал. Стихи от бессонницы. III—77.
 78. Жаров, Ал. Гибель Пушкина. IV—122.
 79. Зарудин, Ник. Полюнь. I—119.
 80. Зарудин, Ник. Русак. I—120.
 81. Зарудин, Ник. Петухи. V—107.
 82. Зарудин, Ник. Мой цветок. V—108.
 83. Зарудин, Ник. Песнь о лосе. IX—76.
 84. Кирсанов, С. Германия. III—132.
 85. Кирсанов, С. Лирика. V—111.
 86. Клычков, С. Врага я зорко чую за собой... I—121.
 87. Кольчев, Осип. Званка. VIII—18.
 88. Кольчев, Осип. Котовский в Баварии. XI—186.
 89. Лавров, Л. Спят глаза татарником... IV—104.
 90. Малахов, Сергей. Путешествие по Москве. V—127.
 91. Малашкин, С. Ямбы. I—71.
 92. Мандельштам, О. Цыганка. VI—80.
 93. Наседкин, В. Этот облак в отдаленьи... X—135.
 94. Ней, Евгений. Бронза. VI—81.
 95. Ней, Евгений. Лейтенант Глан. VI—82.
 96. Ней, Евгений. Письмо в Италию. IX—139.
 97. Орешин, Петр. Черная смородина. II—76.
 98. Орешин, Петр. Под метель. II—77.
 99. Орешин, Петр. Простите, гречневые дали... II—77.
 100. Орешин, Петр. Хозяйка. IV—85.
 101. Орешин, Петр. Песня. IV—86.
 102. Орешин, Петр. Снежная гармоника. VII—90.
 103. Орешин, Петр. Прибой. XI—144.
 104. Орешин, Петр. Песня морского вала. XII—159.
 105. Панфилов, Евг. Белые ночи. IV—105.
 106. Петровский, Дм. Память. IV—65.
 107. Петровский, Дм. Под шум волны ваш шум пишу... VII—130.
 108. Петровский, Дм. Восстание поэмы. VIII—21.
 109. Приблудный, Иван. Напоминание. III—79.
 110. Приблудный, Иван. Хитрая сказка. VII—61.
 111. Радимов, П. Утро. X—101.
 112. Радимов, П. Ночь на Волге. X—101.
 113. Радимов, П. Коромысла. XII—158.
 114. Раджественский, Всеволод. Баллада будней. XII—37.
 115. Садофьев, Илья. Неугомонь. III—80.
 116. Саянов, Виссарион. Ночь в Трокадеро. IV—76.
 117. Саянов, Виссарион. Норд. VI—30.
 118. Светлов, М. Я в жизни ни разу... IV—64.
 119. Светлов, М. Перед боем (пять стихотворений). IX—17.
 120. Семеновский, Дм. Только б нежностьюлучиться. VI—79.
 121. Скуратов, Мих. Песня горемыки. V—109.
 122. Соловьев, Бор. Рябина. V—55.
 123. Соловьев, Бор. Осенняя листва. IX—20.
 124. Тарловский, Марк. Путь. VIII—61.
 125. Тихонов, Ник. Из «Туркестанских стихов». II—68.

126. Тихонов, Ник. Приглашение к путешествию. VI—37.
 127. Уткин, Иосиф. Двадцатый. I—45.
 128. Уткин, Иосиф. Барабанщик. I—46.
 129. Уткин, Иосиф. Крымские ночи. I—47.
 130. Ушаков, Ник. Фруктовая весна предместий. III—21.
 131. Ушаков, Ник. Мой соловей. X—65.
 132. Ушаков, Ник. Эстония. XII—118.
 133. Шамоу, П. Песенка. VI—118.
 134. Шведов, Я. На вечерке. II—78.
 135. Шведов, Я. Гребенка. VIII—137.
 136. Юрий, Мих. Ваку—Тифлис. VII—31.
 137. Эркин, Евсей. Песня. III—104.

Письма, воспоминания, материалы:

138. Антонов-Овсеенко, В. В 1917 году, из воспоминаний. XI—70.
 139. Иоффе, А. А. Брест-Литовск, воспоминания. VI—137.
 140. Киселев, А. С. Воспоминания к десятилетию февральской революции. III—136.
 141. Полонский, Вяч. Фурманов (из воспоминаний). IV—133.
 142. Помяловский, Н. Г. Из неизданной переписки (с примеч. В. Гиппиуса). V—129.
 143. Тургенев, И. С. Письма к П. В. Анненкову (с предисл. и примеч. П. Е. Щеголева). IX—155.

Статьи и очерки:

144. Аболтин, В. По советскому Сахалину, очерк. III—208.
 145. Адалис. Под Арааратом, очерк. V—199.
 146. Алымов, С. Порхающие полотенца (в китайском театре). IV—186.
 147. Арсов, А. «За живой и мертвой водой» (о книге А. Воронского). XI—209.
 148. Безыменский, А. На чистоту (вынужденный ответ Лефу). II—196.
 149. Беркова, К. Н. О. В. Аптекман. XI—194.
 150. Бирик, А. С крыльцы сельсовета, очерк. I—240.
 151. Блажко, С. проф. О переменных звездах. III—201.
 152. Браудо, Евг. Бетховен, как явление культуры. IV—152.
 153. Брук, Б. По амурским равнинам, очерк. XI—231.
 154. Вересаев, В. Заметки о Пушкине. I—185.
 155. Вересаев, В. О книжной пыли, о комплиментах Рузвельта и о двух великих русских революциях. XII—204.
 156. Виленский-Сибиряков, Вл. Америка на мировой арене. VIII—184.
 157. Воронский, А. Заметки о художественном творчестве. VIII—160, IX—177.
 158. Гольцев, Виктор. О преодолении лирики в творчестве Блока. V—134.
 159. Городецкий, С. О критике. III—181.

160. Грюнберг, С. Экспрессионизм и поэзия экспрессионизма. I—225.
 161. Грюнберг, С. Из немецкой литературы. VI—181.
 162. Губер, Бор. Заговенье, очерк. VIII—190.
 163. Гуревич, Г. Я., проф. Основы рационального питания. VIII—147.
 164. Далин, С. По деревням и городам китайским, очерк. IX—193. X—205.
 165. Дерман, А. Замечательная книга. II—205.
 166. Дерман, А. По поводу языка книги Станиславского. VII—190.
 167. Дивильковский, А. Чубаровская бактерия. IV—173.
 168. Дивильковский, А. Сорная трава бюрократизма. VIII—176.
 169. Долинский, М. Адриатическая проблема. VI—189.
 170. Замошкин, Н. Изобилие эпохи. VI—174.
 171. Запровская, А. Иоганнес Бехер. XII—218.
 172. Ильинский, И. Новый закон о семье и браке. II—146.
 173. Иоффе, А. За рубежом (путевые впечатления). V—190.
 174. Калинин, М. И. Десять лет СССР. XI—5.
 175. Каржанский, Н. Под часами, очерк. II—214.
 176. Козлов, П. Мертвый город Хара-Хото. I—236.
 177. Красильников, Виктор. А. Новиков-Прибой. V—168.
 178. Куллэ, Р. Синклер-Льюис. V—173.
 179. Куллэ, Р. Цветные в литературе. XI—213.
 180. Кушнер, Б. Берлин, очерк. II—221.
 181. Кушнер, Б. Движение вещей, очерк. XII—189.
 182. Лежнев, А. Иосиф Уткин. VII—169.
 183. Лежнев, А. О «Разгроме» Фадеева. VIII—169.
 184. Лелевич, Г. Илья Сельвинский. III—191.
 185. Лелевич, Г. «Улялаевщина». X—194.
 186. Луначарский, А. «Ревизор» Гоголя-Мейерхольда. II—187.
 187. Лундберг, Е. Леонард Франк, как представитель реализма. X—201.
 188. Марголин, С. Жюль Ромэн. IX—186.
 189. Марнов, П. Театральная жизнь Москвы. I—229.
 190. Обручев, С. От Якутска до Индигирки, очерк. IX—210.
 191. Оксенов, Ин. Писатель и критик. III—185.
 192. Пакентрейгер, С. Лирика ума (М. Светлов). X—198.
 193. Перегудов, Ал. Гуслица, очерк. VI—194.
 194. Полонский, Вяч. Критические заметки. О Бабеле. I—197.
 195. Полонский, Вяч. Критические заметки. О рассказах Сергея Мадьякина. II—171.

196. **Полонский, Вяч.** Критические заметки. Об Артеме Веселом. III—160.
197. **Полонский, Вяч.** Критические заметки. Блеф продолжается. V—147.
198. **Полонский, Вяч.** Критические заметки. Художник и классы. IX—169.
199. **Полонский, Вяч.** Критические заметки. Шахматы без короля (о Пильняке). X—170.
200. **Полонский, Вяч.** В. И. Ленин об искусстве и литературе. XI—145.
201. **Полонский, Вяч.** Графические искусства и культурная революция. XII—227.
202. **Преображенский, П.** проф. Нескромности лорда Берти. V—185.
203. **Пурецкий, Б.** Из восточных литератур. Поэтическое творчество афганцев. IV—141.
204. **Путешественник.** Уездные очерки. XII—236.
205. **Радек, Карл.** Лариса Рейснер. II—161.
206. **Радек, Карл.** Новый этап в китайской революции. III—146.
207. **Радек, Карл.** Демократические миниатюры. IV—125.
208. **Рогинская, Ф.** Древне-русское искусство перед судом берлинской прессы. IV—168.
209. **Романов, Пант.** К движению или неподвижности. III—177.
210. **Сабанев, Л.** Письма из Франции. Музыкальный закат Европы. I—217.
211. **Сандомирский, Герман.** Книга смерти. XI—223.
212. **Серебрякова, Г.** Женщины эпохи французской революции. I. Теруань-де-Мерикур. VIII—138.
213. **Скобеев, Фрол.** Литературный дарек. II—211, V—162, VII—188, XII—233.
214. **Смирнов, Ник.** Заметки о крестьянских писателях. I—223.
215. **Смирнов, Ник.** На озаренной земле (творчество И. Соколова-Микитова). IV—158.
216. **Смирнов-Кутаческий, А.** В щелоках и кислотах, очерк. VII—193.
217. **Стеллецкий, Игн.** Неолитическая азбука. IV—181.
218. **Троцкий, Л.** Культура и социализм. I—166.
219. **Тугендхольд, Я.** Новые книги по искусству. III—198.
220. **Федин, К.** Об искусстве и критике. III—174.
221. **Ферсман, А.,** акад. Состояние и перспективы развития производительных сил СССР. IX—141.
222. **Фрид, Я.** Шарль-Луи Филипп. IV—166.
223. **Фрид, Я.** Панаит Истрати. VII—180.
224. **Фримен, Д.** Жизнь и смерть Сажко и Ванцетти. XII—223.
225. **Фриче, В.** Искусство Мамоны. II—202.
226. **Штейн, Бор.** Международная экономическая конференция. VII—132.

227. **Штейнман, Зел.** «Сфинкс» говорящий. VI—184.
228. **Щеголев, П. Е.** Последний рейс Николая Романова. VI—147, VII—144.
229. **Щеголев, П. Е.** Пушкин и мужики. X—149, XII—162.
230. **Якубовский, Г.** Ранний Пруст. III—195.
231. **Якубовский, Г.** Летопись царской войны. IV—163.

Книжное обозрение.

- Акульшин, Родион.** Развязанные снопы. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1927. Стр. 111. IV—203. Борис Анибал.
- Александровский, В.** Подкованные годы. Стихи. Изд. «Совр. Россия». М. 1926. Стр. 60. III—223. А. Лежнев.
- Алексеев, Глеб.** Иные глаза. Рассказы. Изд. «Круг». М.—Л. Стр. 216. IV—202. Н. Замошкин.
- Антокольский, Павел.** Третья книга. Изд. Моск. Цеха Поэтов. М. 1927. Стр. 48. VIII—204. И. Поступальский.
- Арсеньев, К.** В дебрях Уссурийского края. Изд. «Книжное Дело». Владивосток. 1926. Стр. 464. III—222. Ник. Смирнов.
- Афраемев, Н.** Беспокойные. Повесть. Изд. Моск. Т-во Писателей. М. 1927. Стр. 180. IX—220. Виктор Красильников.
- Барканов, М.** Повесть о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. ГИЗ. М. 1927. Стр. 128. IX—221. Виктор Красильников.
- Белых, Г. и Пантелеев, Л.** Республика Шкид. Повесть. Рис. Н. Тырсы. ГИЗ. М.—Л. Стр. 320. VI—206. Н. Замошкин.
- Берендгоф, Николай.** Стихи о городе. Изд. «Всероссийского Союза Поэтов». М. 1927. I—253. М. Зенкевич.
- Большаков, Конст.** Стоночь. Роман. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1927. Стр. 315. V—206. Борис Анибал.
- Бражнев, Евгений.** В дыму костров. Главы из книги. Изд. «Круг». 1926. Стр. 170. IV—204. Д. Фибих.
- Вассерман, Якоб.** Семья. Роман. Пер. с нем. З. Вершининой. ГИЗ. М.—Л. 1927. Стр. 312. VII—206. Н. Эйшишкина.
- Вашенцев, Сергей.** Поединок. Изд. «Сегодня». М. 1927. Стр. 156. VIII—202. Валентина Дынник.
- Венус, Георгий.** Самоубийство погулая. Рассказы. ГИЗ. 1927. Стр. 196. VIII—201. Виктор Красильников.
- Волков, Михаил.** Байки Антропа. Вторая книжка. Изд. Моск. Т-во Писателей. М. 1927. Стр. 190. V—204. Арк. Глаголев.
- Вольнов, Иван.** На рубеже. Рассказы. 1912—1914 гг. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1927. Стр. 282. Тираж 7.000 экз. Ц. 1 р. 80 коп. XII—247. Виктор Гольдечер.
- Голичер, Артур.** Мятельный Китай. Пер. с нем. М. С. Живова, с предисл. В. Д.

- Виленского-Сибирякова. ГИЗ. М.—Л. 1927. Стр. 155. X—223. С. Алымов.
18. **Губер, Борис.** Соседи. Изд. «Недра». М. 1927. Стр. 157. IV—201. С. Пакентрейгер.
19. **Гумилевский, Лев.** Харита. Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1926. Стр. 232. **Его же.** Черный яр. Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1926. Стр. 192. II—235. А. Р. Палей.
20. **Деготь, В.** Под знаменем большевизма. Записки подпольщика. Изд. об-ва политкаторжан. М. 1927. Стр. 165. VIII—207. Феликс Кюн.
21. **Демидов, Алексей.** Вихрь. Роман. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 446. I—249. Ник. Смирнов.
22. **Дмитриев, Т.** Зеленая зыбь. Роман. Изд. Моск. Т-во Писателей. М. 1927. Стр. 285. V—207. Як. Бенни.
23. **Дорогойченко, А.** Большая Каменка. Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1927. Стр. 316. III—224. С. Алымов.
24. **Евдокимов, Иван.** У Трифона-на-Корешках. Изд. «Пролетарий» (1927). Стр. 243. VII—203. Борис Анибал.
25. **Жаров, Александр.** Рост. Стихи. ГИЗ. 1927. X—222. М. Рудерман.
26. **Жид, Андре.** Фальшивомонетчики. Роман. Перевод и предисловие А. А. Франковского. Изд. «Academia». Л. 1926. Стр. 625. II—236. Борис Анибал.
27. **Заяицкий, Сергей.** Ваклажаны. Повесть. Изд. «Круг». М. 1927. Стр. 299. XI—236. Арк. Глаголев.
28. **Зоценко, Михаил.** О чем пел соловей. Сентиментальные повести. ГИЗ. М.—Л. 1927. Стр. 192. VI—205. А. Р. Палей.
29. **Иванов, Вс.** Тайное тайных. Рассказы. ГИЗ. 1927. Стр. 191. **Его же.** Дыхание пустыни. Рассказы. Изд. «Прибой». 1927. Стр. 169. VIII—198. Ник. Смирнов.
30. **Иванов, Петр.** Сухая гильотина. Роман. Изд. «ЗИФ». 1927. Стр. 286. II—234. Г. Якубовский.
31. **Карпов, Михаил.** Пятая любовь. Роман. Изд. «Пролетарий» (1927). Стр. 481. VIII—201. Арк. Глаголев.
32. **Касаткин, Ив.** Лесная быль. Рассказы. Изд. 4-е, дополн. изд. Моск. Т-ва Писателей. М. 1927. Стр. 253. VII—205. Н. Замошкин.
33. **Катаев, Валентин.** Растратчики. Повести и рассказы. Изд. «Прибой». 1927. Стр. 272. IX—218. Ник. Смирнов.
34. **Кириллов, Владимир.** Голубая страна. Вторая книга стихов. ГИЗ. М.—Л. 1927. Стр. 96. XI—238. И. Поступальский.
35. **Клейнер, Исидор.** Театр Мольера. Анализ производственной деятельности. Предисловие Вл. Филиппова. С 32 таблицами в тексте и на отдельных листах. Изд. Гос. Ак. Худ. Наук. М. 1927. Стр. 138. VII—207. П. Марков.
36. **Клычков, Сергей.** Серый барин. Изд. «Пролетарий», Харьков. Стр. 264. III—219. Н. Замошкин.
37. **Козырев, Мих.** Дотошные люди. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1927. Стр. 188. VII—205. А. Р. Палей.
38. **Колосов, М., Кочетков, Д., Шубин, Г.** Молодняк. Сборник рассказов. Изд. «Молодая Гвардия». 1927. Стр. 312. III—220. Виктор Красильников.
39. **Коробов, Яков.** Петушиное слово. Повесть. ГИЗ. 1927. Стр. 242. X—224. А. Шафир.
40. **«Круг».** Литературно-художественный альманах. Книга 6-я. Изд. «Круг». 1927. Стр. 252. IX—217. Ник. Смирнов.
41. **Крутиков, Д.** Старый хмель. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1926. I—252. Валентина Дынник.
42. **Крутиков, Д.** Целина. Повесть. Изд. Моск. Т-во Писателей. М. 1927. Стр. 190. VI—204. Виктор Гольцев.
43. **Лавренев, Б.** Рассказ о простой вещи. Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 107. IX—222. Борис Анибал.
44. **Лазарев, Вл.** Крепкий сон. Рассказы. Изд. Моск. Т-во Писателей. 1927. Стр. 128. IX—219. Як. Бенни.
45. **Левидов, Мих.** Простые истины (о читателе, о писателе). Изд. автора. М.—Л. 1927. Стр. 242. XI—239. Фрол Скобеев.
46. **Лидин, Вл.** Пути и версты. Изд. «Прибой». 1927. Стр. 187. VIII—200. Н. С.
47. **Лубочкин, Е. М. и Д. Н.** Душа животных и человека. ГИЗ. 1926. Стр. 160. IV—207. А. Б. Залкинд.
48. **Ляшко, Н.** Доменная печь. Собр. соч. том. 6-й. Изд. «ЗИФ». М. 1927. Стр. 124. IV—199. Виктор Красильников.
49. **Ляшко, Н.** В разлом. Повесть. Изд. «ЗИФ». М. 1927. Собр. соч. том 4-й. Стр. 128. VIII—200. Виктор Красильников.
50. **Майоров, Иван.** Два берега. Повесть. Изд. Моск. Т-во Писателей. М. 1927. Стр. 190. IX—219. С. Пакентрейгер.
51. **Малахов, Сергей.** Песни у перевоза. Стихи. Изд. «Молодая Гвардия». М. 1927. Стр. 55. XI—239. М. Рудерман.
52. **Москвин, Николай.** Кошачий характер. Рассказы. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1927. Стр. 152. IV—203. Виктор Красильников.
53. **«Московский пушкинист».** Вып. I. (1837—1927). Статьи и материалы под ред. М. Цявловского. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1927. V—208. Л. Гроссман.
54. **Насимович, А.** Топор. Рассказы. Изд. Моск. Т-во Писателей (1927). Стр. 189. XI—237. А. Р. Палей.
55. **«Недра».** Литер.-худож. сборники. Книга II. Изд. «Недра». М. 1927. Стр. 239. VII—202. Арк. Глаголев.
56. **Низовой, П.** Крыло птицы. Повести и рассказы. Изд. Моск. Т-во Писателей. 1926. Стр. 255. II—234. Анна Шафир.

57. **Низовой, П.** Золотое озеро. Рассказы. Собр. соч. Том IV. Изд. «Зиф». 1927. Стр. 232. XI—236. Виктор Краси́льнико́в.
58. **Никитин, Николай.** Могила Панбурлея. Рассказы. Изд. «Пролетарий». (1927). Стр. 210. VI—204. Борис Анибал.
59. **Новиков-Прибой, А.** Собр. соч. Кн. 4. Женщина в море. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1926. Стр. 292. I—250. Н. Замошкин.
60. **Орешин, Петр.** Людишки. Повесть. Гиз. 1927. Стр. 214. X—219. Д. Горбов.
61. **Пасынков, Л.** Голубый цветок. Роман. Гиз. М.—Л. 1927. Стр. 292. Ц. 2 р. 25 к. XII—246. Як. Бенни.
62. «Печать и революция». Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. №№ 1—6. 1927. Гиз. М.—Л. Стр. 1.472. Тир. 4.000—4.500 экз. Ц. отд. книги 2 руб. X—243. Д. Горбов.
63. «Письма Александра Блока к родным». С предисл. и прим. М. А. Бекетовой. Изд. «Academia». Л. 1927. Стр. 370. XI—240. Виктор Гольцев.
64. «Последние дни колчаковщины». Сборник документов. Центрархив. Материал подготовлен М. М. Константиновым, с приложением ст. А. А. Ширямова. Гиз. М.—Л. 1926. Стр. 232. IV—206. А. В. Шестаков.
65. «Русская проза». Сб. статей под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Вопросы поэтики. Непериодическая серия, издаваемая отделом слов. Искусств. Г. И. И. Вып. VIII, изд. «Academia». Л. 1926. Стр. 261. IV—205. Лев Якобсон.
66. «Русский романтизм». Сборник статей под ред. А. И. Белецкого. Материалы и исследования по истории русской литературы XIX в. 1-е Изд. «Academia». Л. 1927. Стр. 150. VIII—205. В. Перверзев.
67. **Савинков, Б.** Воспоминания террориста. Изд. «Пролетарий». Харьк. (1926). Стр. 373. II—238. С. Басов-Верхомянцев.
68. **Садофьев, Илья.** Простей простого. Стихи и поэмы. Изд. «Недра». Стр. 140. III—223. А. Лежнев.
69. **Светлов, М.** Ночные встречи. Изд. «Молодая гвардия». 1927. Стр. 62. VIII—203. С. Пакентрейгер.
70. **Свирский, А.** В дни бесправия. Изд. «Пролетарий». Стр. 220. VII—204. С. Пакентрейгер.
71. «Сегодня». Альманах худож. литературы, критики и искусства. Кн. первая. Кооп. Изд. Писателей «Сегодня». М. 1926. Стр. 138. I—251. Борис Анибал.
72. «Сегодня». Альманах художественной литературы, критики и искусства. Книга вторая. Кооперат. Изд. Писателей «Сегодня». М. 1927. Стр. 176. VI—203. Арк. Глаголев.
73. **Семенов, Сергей.** Рождение раба. Сборник П. Гиз. М.—Л. 1927. Стр. 303. IV—201. А. Р. Палей.
74. **Семенов, Сергей** Наталия Тарпова. Изд. «Прибой». Стр. 283. X—220. С. Пакентрейгер.
75. **Серафимович, А.** Собрание сочинений. Том XI. Чудо. Гиз. М.—Л. 1927. Стр. 337. IV—199. Виктор Гольцев.
76. **Сивачев, М.** Балаханы. Повесть. Изд. «Новая Москва». 1926. Стр. 103. III—221. С. Пакентрейгер.
77. **Стонов, Дм.** Сто тысяч. Рассказы. Изд. «Молодая Гвардия». М.—Л. 1927. Стр. 198. IX—221. Арк. Глаголев.
78. **Сытин, Александр.** Брат идола. Изд. «ЗИФ». Стр. 143. V—205. А. Лежнев.
79. **Тверян, Алексей.** Передел. Роман. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1927. Стр. 276. V—204. Виктор Краси́льнико́в.
80. «Творческая история». Исследования по русской литературе (Пушкин, Грибоедов, Достоевский, Гончаров, Островский, Тургенев). Сборник статей под ред. Н. К. Пиксанова. Изд. «Никитинский Субботники». М. 1927. Стр. 248. IV—205. Л. Гроссман.
81. **Тихонов, Николай.** Поиски героя. Стихи 1923—1926. Изд. «Прибой». 1927. Стр. 94. IX—223. И. Поступальский.
82. **Толстой, Алексей.** Древний путь. Рассказы. Изд. «Круг». Стр. 181. VI—202. А. Лежнев.
83. **Ульянский, А.** Пришедшие издалека. Рассказы. Изд. «Прибой». Стр. 163. Ц. 1 р. 10 к. XII—246. А. Лежнев.
84. **Ушаков, Николай.** Весна Республики. Изд. «Молодая Гвардия». 1927. Стр. 101. XI—236. С. Пакентрейгер.
85. **Федорович, Вит.** Спор с господином. Изд. «Круг». М. 1927. X—222. Г. Якубовский.
86. **Фроленко, М. Ф.** Записки семидесятника. История - революционная библиотека журнала «Каторга и ссылка». М. 1927. Стр. 339. IX—223. М. Клевенский.
87. **Хайт, Давид.** Бурьян. Повесть. Изд. «Недра». М. 1927. Стр. 95. III—220. Як. Бенни.
88. **Харгрэв, Джон.** Редактор Харботл. Роман. Перевод с английского А. В. Кривковой. Ред. Евг. Ланга. ГИЗ. 1926. Стр. 332. II—237. В. Гоффеншефер.
89. «Центросибирцы». Сборник под ред. В. Д. Виленского-Сибирякова, Н. Ф. Чужака-Насимовича и П. Ф. Щелока. Изд. «Моск. Рабочий». 1927. Стр. 158. II—239. Г. Рыклин.
90. **Чапек, Карел.** Старая веселая Англия. Перевод Н. Н. Деми. ГИЗ. М.—Л. Стр. 95. III—224. Галица Серебрякова.
91. **Чалыгин, А.** На лебяжьих озерах. Повесть. Изд. «Круг». М. 1927. Стр. 252. Ц. 1 р. 75 к.—XII—247. Н. Замошкин.
92. **Чужак, Н.** Правда о Пугачеве. Опыт литературно-исторического анализа. Изд. Весомая. Общества Политических Каторжан. М. 1926. Стр. 80. I—255. И. Макаров.
93. **Чуковский, К.** Некрасов. Статьи и материалы. Изд. «Кубуч». Л. 1926. Стр. 395. I—254. Арк. Глаголев.

94. **Шагинян, Мариэтта.** Избранные рассказы. Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 191. V—206. Виктор Гольцев.

95. **Шильдкрет, К.** Скованные годы. Роман. Изд. Моск. Т-во Писателей. Стр. 224. II—233. Виктор Гольцев.

96. **Шишков, Вяч.** Тайга. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1927. Стр. 223. IV—200. С. Пакентрейгер.

97. **Шувалов, С. В.** Семь поэтов. Историко-литературные и критические статьи.

Изд. «Никитинские Субботники». М. 1927. Стр. 209. VIII—206. Г. Лелевич.

98. **Эйхенбаум, Б.** Литература. Теория. Критика. Полемика. Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 302. Тир. 3.000 экз. Ц. 3 р. XII—248. Л. Якобсон.

99. **Эркин, Евсей.** Август. Стихи. Кооп. Изд. Писателей «Сегодня». М. 1927. Стр. 74. VII—204. М. Рудерман.

100. **Явич, Август.** Путь. Роман. Изд. «Круг». 1927. Стр. 384. VI—202. С. Пакентрейгер.

НАМЕЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ (ЯНВАРСКОЙ) КНИГИ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ: Л. Леонов. Провинциальная история (повесть).—Пант. Романов. Новая скрижаль (роман).—Н. Огнев. Дневник Кости Рябцева (повесть).—А. Эрлих. Зимние дни (рассказ).—Ал. Толстой. Хожение по мукам (роман).—Б. Пильняк. Рассказ.—Вл. Лидин. Обычай ветра (рассказ).

СТИХИ и ПОЭМЫ: Б. Пастернака, М. Светлова, С. Клычкова, Д. Петровского, П. Орешина и др.

СТАТЬИ и МАТЕРИАЛЫ: Отрывки из неизданной повести Н. А. Некрасова.—Письма М. Горького к М. Коцюбинскому.—В. Вересаев. Заметки о Пушкине.—Вяч. Полонский. Критические заметки.—А. Воронский. О художественной правде.

ДОМА и ЗА ГРАНИЦЕЙ: Статьи и заметки Ник. Смирнова, П. Павленко, Р. Акульшина, Н. Галкина, Б. Анибала и др.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.